



Георгий Демидов  
Чудная планета

memoria  
memor



# MEMORIA



Георгий Демидов

Чудная планета

*Рассказы*

Москва  
Возвращение  
2008

**Демидов, Георгий**

Д30 **Чудная планета** : рассказы / Сост., подгот. текста, подгот. ил., В.Г. Демидовой. Послесл. М. Чудаковой – Москва : Возвращение, 2008. – 3?? с. ISBN 978-5-7157-0219-7

Георгий Георгиевич Демидов (1908–1987) родился в Петербурге. Талантливый и трудолюбивый, он прошел путь от рабочего до физика-теоретика, ученика Ландау. В феврале 1938 года Демидов был арестован, 14 лет провел на Колыме. Позднее он говорил, что еще в лагере поклялся выжить во что бы то ни стало, чтобы описать этот ад. Свое слово он сдержал.

В августе 1980 года по всем адресам, где хранились машинописные копии его произведений, прошли обыски, и все рукописи были изъяты. Одновременно сгорел садовый домик, где хранились оригиналы.

19 февраля 1987 года, посмотрев фильм «Покаяние», Георгий Демидов умер. В 1988 году при содействии секретаря ЦК Александра Николаевича Яковлева архив был возвращен дочери писателя.

Некоторые рассказы были опубликованы в периодической печати в России и за рубежом; во Франции они вышли отдельным изданием в переводе на французский.

«Чудная планета» – первая книга Демидова на русском языке. «Возвращение» выпустило ее к столетнему юбилею писателя.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

## Воспоминания об отце

В моем детстве и юности отца не было, как не было его у большинства детей моего поколения. Война и тов. Сталин так основательно потрудились в этом направлении, что слово «папа», такое родное и необходимое каждому ребенку, у меня, да и у всех ребят, меня окружавших, не вызывало никаких эмоций. Для меня отец был скорее книжным персонажем, чем живым человеком. Поэтому и вопросов «кто? где? почему?» ни у кого на протяжении всей моей дошкольной и школьной жизни не возникало. Нет и нет. Ни у кого нет.

Впервые о том, что у меня есть отец и он жив, я узнала по дороге в детский сад летом 1945 года. Я хорошо помню этот день. Дорога в детсад шла через заброшенное старое кладбище, сплошь заросшее кустами сирени. Нас, ребятшек со всего двора, по очереди отводила и забирала чья-нибудь мама. В этот день была очередь моей. Она шла по тропинке и все время перечитывала какое-то письмо, а мы ошалело носились вокруг. Потом она вдруг ухватила меня за платье, притянула к себе и сказала: «Твой отец жив, только об этом не надо говорить!» — и заплакала. Я, кажется, перепугалась, но потом в детском саду весь день пританцовывала и всем повторяла: «У меня жив папа!» Как можно не говорить, когда есть папа!

Вечером мама опять читала письмо. Писала женщина, врач, которая в больнице на Колыме делала папе операцию, лечила его и, узнав его историю, без его согласия решила написать нам. (Уже будучи взрослой я узнала ее имя — Анна Леонидовна Новикова.) Мама написала отцу, но ответа не получила.

Я же довольно быстро обо всем забыла — в шесть лет долго не переживают.

А через год-два, где-то в 1947—1948 году (точно не помню), пришло второе (и последнее) известие об отце. Как-то мама вернулась с работы сама не своя, взяла меня за руку, и мы с ней поехали куда-то на трамвае — по моим тогдашним представлениям очень далеко. Потом долго шли, искали какой-то дом. Мама молчала, и

мне было страшно. Кажется, это была окраина — почти деревенская, заросшая травой улочка, покосившийся домик. Помню, как закрипела калитка. Какая-то старуха наспустила (она мне потом долго снилась по ночам в виде ведьмы), провела в полутемную комнату, в глубине которой из вороха тряпья на кровати на нас смотрел очень бледный (мне он показался белым) человек с огромными глазами. Маме пришлось меня успокаивать, так как я очень испугалась. Меня усадили к окну на табуретку, сунули что-то в руки, а мама долго шепталась с тем человеком и все время плакала. Потом этот человек чиркнул спичкой и поджег какую-то бумажку. А мама перестала плакать и как будто окаменела. Мы и домой так вернулись, молча. И еще долго мама была такой. Я, кажется, даже шкодить меньше стала и вообще с этого времени стала ей много помогать по дому, хотя она специально меня об этом не просила.

Уже через много лет я узнала, что это было первое и единственное послание отца с Колымы с извещением о втором десятилетнем сроке и требовании (именно требовании, а не просьбой), чтобы мама официально от него отказалась и жила спокойно. Надежды выйти оттуда живым у него не было. Даже посылку, которую мама отправила, невзирая на его запрет, он вернул обратно. Такой уж он был человек. Решал раз и навсегда, как отрезал. И никогда своих решений не пересматривал.

А потом была еще и телеграмма о его смерти. Как оказалось, отправленная им самим. Мама и ей не поверила. Но мне ничего не сказала. Через много лет, когда я уже была взрослой, в своем первом письме ко мне отец написал: «Бедная моя дочурка! Я был тогда в страшной дали, по сравнению с которой Ухта (Ухта — город на севере Коми, в котором Г.Г. Демидов жил и работал с 1954 по 1972 год. — В.Д.) чуть ли не пригород Харькова, в огромной и мрачной стране — тюрьме. Я не надеялся когда-нибудь выйти из этой тюрьмы. Был уверен, что погибну в ней, мне показалось, что я только немного опережаю события, прикидываясь мертвым. (Речь идет об отправленной им телеграмме о своей смерти. — В.Д.) Делал я это для того, чтобы избавить тебя и маму от своего существования, которое я считал для вас вредным. В отношении тебя это мне удалось с помощью твоей мамы. Ее же мне обмануть не удалось...» (Письмо к дочери от 15.10.1956 года.)

Но это потом, а тогда я была слишком мала, чтобы принимать участие в этих переживаниях. Как зверек ощущала мамино состояние, но, конечно же, ничего не понимала. И больше никогда ни одного слова об отце я не слыхала от мамы до самого 1956 года. От мужа она не отказалась, хранила все его документы, включая диссертацию,

все это возила с собой в эвакуацию и обратно и молчала. И я не спрашивала.

Став постарше и помня, что отец, кажется, жив, я строила совершенно фантастические планы его розыска. Но ни с кем и никогда этими планами не делилась. Лишь один раз, окончив школу и подавая документы в институт, я спросила у мамы, что написать об отце. Она подумала и сказала: «Пиши — погиб на фронте». И все.

И лишь когда стало известно о «закрытом письме» Хрущева, она заговорила. Рассказала обо всем. О том, как в обеденный перерыв побежал отец в паспортный стол выполнять какую-то формальность (так было предписано в повестке) и больше не вернулся. О том, как пришли за ней ночью и со мной, пятимесячной, увезли в харьковскую холодногорскую тюрьму, втолкнув в битком набитую камеру. И как я своим «упрямым демидовским характером» (мамино выражение) спасла и ее и себя, проорав две недели без перерыва «благим матом» на всю тюрьму. Видимо, мои вопли надоели всей охране, и маму выпустили под расписку «докормить до года», а потом, похоже, «потеряли». Она больше двух лет боялась устроиться на работу, чтобы о ней не вспомнили. (В той неразберихе вполне можно было «потерять» одного человека из миллиона арестованных. Факт остается фактом — о нас с мамой забыли!)

В Харьков из Лебедина переехали родители отца, купив на окраине домишко, и мы все вместе кое-как жили. Почти перед самой войной друзья помогли маме устроиться на работу в институт, с которым она и эвакуировалась в 1941 году.

Родители отца остались в Харькове, так как тяжело болела бабушка. Она вскоре умерла, а деда немцы расстреляли, когда помогал он нескольким бойцам выбраться из города во время окружения Харькова немцами. Он так и лежал посреди улицы вместе с этими солдатами. И немцы запрещали к ним подходить, а потом ночью свезли куда-то сами — даже могилы его нет.

Обо всем этом мама узнала от бывших соседей, вернувшись в 1944 году из эвакуации.

Ничего об отце мне мама не говорила, чтобы, не дай Бог, я, воспитанная «родной советской школой», не подумала о нем плохо. Должно было пройти столько лет, чтобы я оценила тот «тихий героизм», который она проявила. Мне кажется, что ее мужество было ничуть не меньшим, чем мужество и стойкость отца, перенесшего весь ужас колымских лагерей.

Когда начались процессы по реабилитации, маму вызвали в Военную прокуратуру, сообщили, что отец жив, что его дело пересматривается, и дали его адрес. Так мы узнали друг о друге. Мне было



19 лет, когда отец впервые приехал к нам и сразу же стал для меня самым умным, самым интересным, самым главным человеком в жизни.

Эрудирован он был необычайно, очень много знал и умел. Был прекрасным рассказчиком и великим спорщиком. Говорить он мог на любую тему, познания его были очень обширны, юношеская любознательность никогда его не покидала, и вокруг него всегда собирались интересные люди. Обладая умом настоящего ученого, где бы он ни находился, в любых самых тяжелых жизненных ситуациях, он глубоко анализировал окружающее и, рассказывая об увиденном и пережитом, давал точную оценку событиям. Уже тогда он начал устно обкатывать свои рассказы.

К сожалению, почти двадцатилетняя отцовская каторга родителей не сблизила, а отдалила. Папа жил в г. Ухте, мы в Харькове и ежегодно ездили в гости друг к другу — то он к нам, то я к нему.

«Одиночество в какой-то степени удалось мне, да и то с помощью советской власти...» — написал он мне много лет спустя.

Обо всем, что с ним произошло после ареста в феврале 1938 года, я узнала уже от него. Судил его Военный трибунал, получил он восемь лет, статья 58-10, и в сентябре этого года был уже на Колыме. Делал все — добывал руду, мыл золото, стрелял моржей и т. д. В июле 1946 года получил второй добавочный срок — 10 лет. Итого — 18 лет. Почти документально его пребывание на Колыме описал Варлам Тихонович Шаламов в рассказах «Иван Федорович» и «Житие инженера Кипреева». С ним отец провел в Центральной лагерной больнице почти два года. Он на самом деле «изобрел» заново электрическую лампочку, организовал и запустил электроламповое производство — в тех условиях вещь почти немыслимая. И, когда в награду за всё сделанное, вместо обещанного досрочного освобождения он получил коробку с «лендлизовским» американским костюмом, то швырнул ее в президиум торжественного собрания со словами «Я чужие обноски не ношу!» За что и получил те добавочные 10 лет.

В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Юность» № 12 за 1988 год, В. Т. Шаламов писал, что «одним из самых достойных людей, встреченных им на Колыме, был харьковский физик Г. Г. Демидов...».

В конце 40-х — начале 50-х годов по колымским лагерям разыскивали выживших ученых-физиков и вывозили их в Москву для работы над атомным проектом. Попал под это распоряжение и Г. Г. Демидов. В письме к жене в 1956 году он написал: «...В 1951 г. меня в порядке чрезвычайной спешки отправили в Москву — “аллур три креста”. Это было одно из самых ужасных путешествий, которое мне пришлось перенести. Оказалось, что я затребован...

4-м спецотделом МВД как физик-экспериментатор. Но Главное Управление упустило, что зачётами и скидками мой срок сокращён на несколько лет и истекает буквально через пару месяцев. Поэтому я оказался непригодным для целей этого почтенного учреждения и меня снова швырнули в лагерь добивать срок и выходить на положение ссыльного. Но отправили меня уже не обратно на Колыму, а на север республики Коми в Инту.

Весной этого года, в порядке почти полной ликвидации института административных ссыльных, мне был выдан паспорт. Права по этому паспорту (ст. 39 — ограничение права на места проживания, прописку, работу и т. д.) близки к правам евреев вне черты оседлости в старое время. Говорят, впрочем, что теперь строгости стали меньше. Вряд ли я, однако, смогу одолеть свое самолюбие и просить, чтобы мне разрешили временно прописаться. Если меня не реабилитируют, я, вероятно, никогда из этих или подобных мест не выеду. Политический горизонт сейчас очень мрачен. Барометр полицейских мероприятий может резко упасть, и мои шансы на благополучный исход разбирательства могут сильно уменьшиться...»

В те годы надежды на благополучную и быструю реабилитацию у отца почти не было. Он даже пытался шутить по этому поводу: «...У нас в ходу мрачная шутка — “юмор висельников” — реабилитации бывают двух родов — посмертная и предсмертная». И, к сожалению, оказался провидцем. В марте 1957 года он отправил маме очень тоскливое письмо: «...сегодня я получил извещение Главной военной прокуратуры, что оснований для моей реабилитации нет. Проклятый политический флюгер сработал...»

Отец был реабилитирован только в марте 1958 года, после повторного обращения в Главную военную прокуратуру.

Из справки Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 20 марта 1958 года № 003 — 28/38: «Дело по обвинению Демидова Георгия Георгиевича, до ареста — 28 февраля 1938 года — доцента Харьковского электротехнического института, пересмотрено Военной коллегией Верховного Суда СССР 4 марта 1958 года.

Приговор военного трибунала Харьковского военного округа от 28 сентября 1938 года, определение Военной коллегии от 23 октября 1938 года, приговор военного трибунала войск МВД при Дальстрое от 26 июля 1946 года и определение округа от 23 октября 1946 года в отношении Демидова Г.Г. отменены и дело прекращено».

Вот так просто, без всяких лишних эмоций, без реверансов и извинений за двадцать самых лучших, полноценных и продуктивных лет человеческой жизни, отнятых у отца. Да и не только у него. Уже в 1966 году он мне написал: «...Главное, о чем я сожалею, это

что не успел своевременно сделать то, что осталось на куций и неполноценный остаток жизни. Когда при мне начинают ахать по поводу того, что совершил тот или иной большой человек за свою жизнь, я невольно сопоставляю это с тем, что попусту совершил я. И попусту не по своей вине. Но все это теперь — просто досужие размышления».

Папа был очень сильным и гордым человеком. Талантлив был удивительно. Свой первый патент на изобретение получил в 1929 году в возрасте 21 года. Разнообразие его интересов всегда поражало. С третьего курса физико-химического факультета Харьковского университета его забрал академик Ландау к себе в лабораторию. Когда его однокурсники защищали дипломные работы, он защитил кандидатскую диссертацию. По мнению специалистов, отец подавал очень большие надежды как ученый-физик. Арест и восемнадцатилетняя каторга на всем этом поставили крест. Но даже за колючей проволокой он не мог обойтись без научного творчества — изобретал, создавал, организовывал. А в благодарность получил дополнительный срок.

Когда я впервые приехала в Ухту, на центральной площади среди портретов стенда «Лучшие люди города» висел и портрет Г.Г. Демидова с подписью «Лучший изобретатель Коми АССР». О нем много писали газеты. Но и он в это время уже начал пробовать писать.

Когда-то отец сказал мне, что еще на Колыме поклялся выжить во что бы то ни стало, чтобы описать этот ад. Свое слово он сдержал и взялся за перо.

Писалось трудно — ночами, по воскресеньям, за счет всех видов отдыха. О себе говорил: «Грустно быть “вечерним” и “воскресным” писателем...» Когда отец понял, что писательство стало главным делом жизни, он попытался все свои внутренние творческие силы переключить только на эту работу. Нам с мамой написал: «...Мне мое творчество обходится очень дорого. Я неизбежно дохожу до болезни, хотя далеко еще не развалина. Начинаю плохо спать, теряю аппетит. Все спрашивают: “Что-нибудь случилось?” Я мог бы ответить: “Да, случилось. Совсем недавно. Нет еще и тридцати лет. И случилось не только со мной”. В своей основной профессии я работаю с большим трудом. Впервые в жизни понял, что такое труд без вдохновения. Стараюсь перейти на рабочую должность. По крайней мере, не будет мучить совесть, что я не могу уже быть тем, кем был — инженером, ученым, способным сделать то, чего не могут многие другие. Теперь мне хвастать можно. Я говорю о покойном инженере... Покойном инженере и еще не родившемся писателе? Ведь неизданный писатель это что-то вроде внутриутробного существа,

эмбриона. Утешает только возможность рождения и после смерти. Поэтому я не думаю, чтобы тебя нужно было просить беречь все, что попадает тебе от меня в моих рукописях. Случиться-то может всякое...»

И ещё на эту тему: «...О том, что я занимаюсь писательством, ты знаешь давно. Знаешь и то, что теперь у меня есть уже обработанные вещи, которые распространяются подпольным способом, как во времена Грибоедова. Шансов на их напечатание почти нет, и ничего в этом направлении я и не предпринимаю. Пусть это останется наследством, с которым поступят, как с макулатурой или с “документом эпохи”. Я пишу потому, что не могу не писать. Это отнимает у меня все время и силы. Я предпринял большие усилия, чтобы проделать карьеру по нисходящей. Я больше уже не начальник цеха, не главный специалист республики, не начальник конструкторского бюро, а просто конструктор. Но я и от этого охотно бы избавился и стал бы сторожем или обходчиком на какой-нибудь линии. Важно остаться при одной умственной нагрузке. Двойной мне не потянуть. Кроме того, я, как старый конь, могу и увлечься интересной конструкторской или исследовательской темой. А мне теперь это ни к чему. Внешне у меня все как и было. Чувствую, впрочем, что начал стареть. Поэтому и спешу. До пенсии еще далеко, да и возможно, что советская власть лет на пять передвинет возрастной ценз. Надо же ей предоставлять пенсии товарищам бывшим “операм”, тюремным надзирателям, трибунальщикам и прочим заслуженным заплечных дел мастерам в тридцать пять – сорок лет. Чтобы не “серчали”. У нас таких много. Ждут они, не дождутся своего часа. Я на них иду с пером и с этой вот машинкой, а надо бы с топором!..» (Из письма к жене 1961 года.)

А вот отрывок из письма к В.Т. Шаламову, написанного 30 июня 1965 года: «...Один из здешних руководителей общества писателей Коми сказал, что я страдаю “чесоткой”, которую, видите ли, надо прятать от людей. Он имел в виду, конечно, “писательский зуд” – понятие тоже не из высоких. Сам он – бездарный чиновник от литературы, один из экземпляров многотиражного издания современных булгаринных.

Мне трудно судить насколько имеет смысл моя писательская работа. Вероятно, только тот, на основе которого мышь обязательно грызет что-нибудь, чтобы только сточить зубы. Надежды быть напечатанным у меня, конечно, нет никакой. Впрочем, нет и особой тяги к этому. И все же “гонорары” за писательскую деятельность я получаю неофициально в виде теплых писем от иногда совсем незнакомых людей и, конечно, в виде дружеских похвал. Мои офици-

альные гонорары — это доносы, окрики, угрозы, прямые и замаскированные...»

Его пробовали уговорить изменить тематику, предлагали членство в Союзе писателей, большие тиражи. Специально приезжал в Ухту полковник КГБ из Москвы, целую неделю читал, душевно разговаривал и уговаривал писать на другую тему. Отец категорически отказался, а мне написал: «...Слишком тупое у меня политическое обоняние, чтобы держать нос по ветру. И плохо клюю на приманку в виде дешевой славы и гонораров писателя типа “чего изволите?”»

И вот тогда началось... Его портрет был снят с центральной площади, упоминать о его заслугах категорически не рекомендовалось. За всеми, кто бывал у него, была установлена слежка.

Выйдя на пенсию, отец поселился в Калуге. По пятнадцать-шестнадцать часов в сутки сидел за пишущей машинкой. Его произведения ходили в «самиздатовских» списках, несколько раз ему предлагали переправить их за границу, но он был против, считая, что эти произведения важнее для нашего читателя.

Понимая, что находится под пристальным вниманием КГБ, отец пять экземпляров своих сочинений (машинописных и переплетенных) отдал друзьям в другие города на сохранение. Один такой комплект — пять больших томов с дарственной надписью — был у меня. В августе 1980 года одновременно по всем этим адресам в нескольких городах были произведены обыски, и все отцовские рукописи арестованы. Забрали все до последней строчки, не осталось ни одного черновика. После такого удара он уже не оправился, и в феврале 1987 года папы не стало.

Летом 1987 года я обратилась к секретарю ЦК Александру Николаевичу Яковлеву с просьбой помочь вернуть арестованный архив. В июле 1988 года рукописи отца были мне возвращены.

Всего лишь через три года после его смерти официальный рецензент издательства «Советский писатель» Вл. Коробов напишет: «...Георгий Демидов — имя совершенно неизвестное в литературе, но это отнюдь не просто бывший интеллигентный узник, оставивший свои мемуары о сталинских лагерях (их уже немало опубликовано и на выходе в свет еще десятки). Это именно писатель, прозаик с божьим даром. Когда бы литературная судьба была бы к нему более милостива, мы бы имели сейчас художника выдающегося...»

Предлагаемые произведения — лишь небольшая часть отцовского наследия.

*Валентина Демидова*

# Чудная планета

Будь проклята ты, Колыма,  
Что прозвана Чудной планетой!  
Сойдѣшь тут в неволе с ума,  
Возврата отсюда уж нету.

*Арестантская песня*

## Вместо предисловия

«Колымо-Индибирский район особого назначения». Это название читатель не раз встретит в сборнике рассказов и повестей о Колыме Лагерной. В просторечии этот район назывался просто «Колымой», что не совсем правильно. Бассейн реки Колымы являлся, хотя и главной, но всё же только частью обширного края, территорию которого занимает теперь Магаданская область. До середины 50-х годов здесь безраздельно и почти бесконтрольно властвовал «трест строительства Дальнего севера», сокращенно «Дальстрой». Организованный ещё в первой пятилетке, этот «трест» был самой крупной из многочисленных хозяйственных организаций НКВД-МВД, основанных на эксплуатации рабского труда миллионов тогдашних заключенных. Сочетание двух видов казавшихся неисчерпаемыми богатств — золота и неоплачиваемого невольнического труда — вскоре сделало Дальстрой главным поставщиком золота в стране, и он заслуженно получил название ее «валютного цеха». К золоту присоединились затем олово, вольфрам и другие металлы. Распространилась деятельность Дальстроя и на Чукотский полуостров.

С начала 30-х и почти до середины 50-х годов сюда тянулись по Японскому и Охотскому морям — другого пути на Колыму практически не было — «невольничьи корабли» — дальстроевские пароходы, трюмы которых были до отказа набиты будущей подневольной «рабсилой». Большинство из них никогда уже не увидели дома.

Для организации гигантской, даже по масштабам сталинских времён, каторги лучшего места, чем северо-восточный угол Азиатского материка, невозможно было и придумать.

Почти необитаемые до начала бурной деятельности Дальстроя, горы и межгорья угрюмых хребтов с такими же угрюмыми названиями — Гыдан, Тас-Кыстабыт, Уляхан-Кыстай и других были отрезаны от всего мира морями Тихого и Северного Ледовитого океанов и такими же пустынными горами. Истребительская функция сталинской каторги обеспечивалась уже одним только климатом; именно здесь находился мировой полюс холода, рекорд которого был побит только космическими холодами необитаемой пока Антарктиды. Морозов Колымы не выносят даже сибирские породы: ели, сосны, кедры. Их заменяют тут другие растения, умудрившиеся приспособиться и к этим холодам. Особенности рельефа и растительности придают здешнему краю особенный колорит, иногда далеко не такой мрачный, как вид одного из отрогов Тас-Кыстабыта.

Уродливо своеобразным был на Колыме и колорит общественной жизни. До ликвидации «Особого района» всё тут подчинялось его главной функции — края жестокой каторги и вечной ссылки. Дальстрой был как бы государством в государстве, границы которого, помимо естественных преград, охраняли пограничные войска. Въезд сюда, если он не происходил на «невольничьем корабле», разрешался только по особым пропускам, а вольнонаемные, заключившие с Дальстроем трудовой договор, практически отсюда уже не выпускались, Местную «советскую власть» здесь заменяли коменданты НКВД. Не было торговли в обычном понимании этого слова. Почти всё здесь было номерными «почтовыми ящиками», но почтовых ящиков как таковых не было совсем. Уродства эпохи «культы», существовавшие тогда повсеместно, разбухли здесь до гипертрофических размеров. На фоне фактического крепостничества, абсолютного бесправия одних и произвола других в Дальстрое расцвел омерзительный сталинский феодализм местных царьков и подцарьков.

Вот эта-то искаженная почти во всех своих проявлениях жизнь людей на Колыме, ее «лагерного» периода, и составляет главную тему сборника «Чудная планета».



## Дубарь

Унылый звон «цынги», куска рельса, подвешенного на углу лагерной вахты, слабо донесся сквозь бревенчатые стены барака и толстый слой льда на его оконцах. Старик дневаль-ный с трудом поднялся со своего чурбака перед железной печкой и поплелся между нарами, постукивая по ним кочергой:

— Подъем, подъем, мужики!

Все мы, обитатели холодного и обшарпанного барака политических заключенных, «контриков», как нас называли жившие в куда лучших условиях уголовники и лагерные надзиратели, слышали эти ненавистные сигналы утренней побудки не в первый раз, а большинство тут даже не в тысячу первый раз. Да и всё остальное было сейчас обычным, таким же, как и во всяком другом из бесконечной вереницы таких же утр. И это наше привычное, доведенное почти до автоматизма, безропотное подчинение железному распорядку каторги и глухой, но всегда почти чисто пассивный, внутренний протест против него, давно уже воспринимаемый, как тоже ставшая привычной, застарелая боль, и двухэтажные нары «вагонного типа», и сизый полумрак барака.

Люди на каторге всегда расстаются со сном только с мучительной неохотой, так как это самое счастливое из доступных им состояний. Сон не только дает забвение от тусклой и безрадостной действительности, но и возвращает иногда в ползабытый мир «воли». Правда, обрывки смутной памяти о прошлом всегда самым причудливым образом переплетаются с куда более реалистическими видениями настоящего. Но во сне не бывает ни настоящей голодной тоски, ни мучений холода, ни страданий от непомерного мускульного усилия,

постоянно ощущаемого каторжниками наяву. Поэтому они цепляются не только за каждое лишнее мгновение настоящего сна, но и того полусна, который следует непосредственно за пробуждением и обычно продолжается недолго. Однако при сильном желании и некотором усилии эту стадию полусонного оцепенения можно во много раз затянуть.

Каждый, кому с крайним нежеланием приходится подниматься спозаранку, знает, что после такого вставания можно довольно долго двигаться, что-то делать, даже произносить более или менее осмысленные фразы и все-таки еще не просыпаться окончательно. В лагере такое состояние повторяется изо дня в день, каждое утро и на протяжении многих лет. В результате вырабатывается еще одна особенность каторжанской психики, во многом и так отличной от психики свободного человека, — способность едва ли не в течение целых часов после подъема сохранять состояние полусна-полубодрствования. Вольно или невольно заключенные лагерей принудительного труда культивируют в себе эту способность, оттягивая полное пробуждение до крайнего, возможного предела. Зимой таким пределом является выход на жестокий, предраассветный мороз. Но в более теплое время года некоторые лагерники умудряются оставаться в состоянии чего-то вроде сомнамбул и на плацу во время развода и даже на протяжении всего пути до места работы, хотя этот нередко измеряется целыми километрами. Это, конечно, своего рода рекорд. Но в той или иной степени таким образом ведут себя все без исключения люди, осужденные на долгий, подневольный и безрадостный труд. И это даже в том случае, если норма официально дозволенного им ежесуточного сна сама по себе является достаточной.

Вот и сегодня мы привычно сопротивлялись наступлению настоящего бодрствования, не только когда слезали с нар и напяливали на себя свои изодранные и прожженные у лесных костров ватные доспехи, но даже когда протирали глаза пальцами, слегка смоченными водой из-под раковины. Каждый понимал, что с полным пробуждением приходит и отчетливое сознание действительности. А она заключается в том, что очередной из бесконечной вереницы безликих каторжных

дней уже наступил, хотя сейчас только пять утра. И что он будет продолжаться бесконечно долго, пока около семи вечера мы, до изнеможения усталые, заиндеветшие и окоченевшие на жестоком морозе, снова ввалимся в этот барак. И что на протяжении этого дня будет хождение и стояние под конвоем, тяжелая и осточертевшая работа в лесу, окрики и понукания, обзывания «фашистом» и «контриком». Что не раз, наверно, посетит горькое чувство бессилия и та злая тоска неволи, от которой захочется завывать и боднуть головой ближайший лиственничный ствол.

Вообще-то в подобных мыслях и настроениях, если судить о них беспристрастно, проявлялась наша черная неблагодарность своей лагерной судьбе. Ведь мы находимся не в каком-нибудь из страшных лагерей дальстроя «основного производства», а в лагере, обслуживающем сельское и рыболовецкое хозяйство, мечте сотен тысяч колымских каторжников, погибавших на здешних приисках и рудниках, по условиям труда и быта заключенных мало чем отличавшихся от финикийских. Но такой уж человек по самой своей природе. Он редко бывает вполне доволен даже более высоким уровнем жизненного благополучия, чем то, на котором находились мы, заключенные галаганского сельхозлага, приткнувшегося к прибрежным сопкам реки Товуй, почти у самого ее впадения в Охотское море.

Наша ежедневная утренняя война за сохранение свинцовой притупленности чувств и мыслей и сегодня, как всегда, шла с переменным успехом. Пробежка по морозу в столовую за получением утренней хлебной пайки и миски баланды неизбежно отгоняла благодатное оцепенение. Но до выхода на развод обычно оставалось еще некоторое время. Уже в полном «обмундировании» все мы сгрудились у печки, чтобы запастись теплом на время стояния на плацу. И все, как всегда, стоя уснули.

«Цынга» зазвкала снова. Идеально дисциплинированные арестанты должны были, согласно лагерному уставу, «вылетать» на развод уже с первыми ее ударами. Но такие арестанты существуют лишь в воображении составителей этих уставов. Реальные же заключенные, даже в свирепых «горных» лагерях, где за

«резину» с выходом из барака можно схлопотать добрый удар дубинкой, эту «резину» тянут. Особенно, когда на дворе такой мороз, как сегодня. Судя по фонарям вокруг зоны, едва видным сквозь густой туман, и по колючему ощущению в легких, он перевалил сейчас далеко за пятьдесят. Здесь был крайний юг «района особого назначения». «Колымский Крым», как его называли заключенные. Но стоял уже март, время, когда даже в этом «Крыму» солнце поворачивается на лето, а зима на мороз. Для Дальнего Севера эта поговорка часто оказывалась даже более верной, чем для мест, в которых она родилась.

В нашем благодатном лагере дубинка применяется редко, а в руках у теперешнего нарядчика Митьки Савина мы никогда ее не видели. Нарядчик, однако, всюду остается нарядчиком. Вот-вот он ворвется сюда, крепкий, краснорожий парень, и сквозь клубы морозного пара — дверь в барак Митька за собой не закроет — донесется его знакомое:

— А вы тут что, мать вашу так и этак, особого приглашения дожидаетесь?

Но это и будет как раз то ежедневное «особое приглашение», после которого тянуть резину с выходом более нельзя. Оно было здесь почти так же привычным и обязательным, как звон «цынги», вставание, хождение в столовую за хлебом и это вот, унылое стояние у печки.

Митька вбежал, как всегда, стремительно, но дверь за собой почему-то закрыл. И вместо обычной, беззлобной брани — наш нарядчик был мужик неплохой, не чета придуркам-христопродавцам в горных лагерях — мы услышали от него неожиданное:

— Продолжай ночевать, мужики! День сегодня — активированный...

Что ни говори, а лагерь Галаганнах действительно курорт! В летнее время, конечно, и здесь ни о каких выходных не может быть и речи. Но зимой один-два таких дня выпадают почти в каждом месяце. Это, собственно, даже противозаконно, так как в те предвоенные годы свирепость ежовщины в местах заключения еще не была изжита и официально никаких дней отдыха для заключенных не полагалось круглый год. Отступления от этого правила делались только в лагерях подсобного производства, вроде нашего Галаганнаха, в периоды, когда не

было никаких важных работ, да и то имея в виду, главным образом, санаторную функцию этих лагерей. Дело в том, что на здешние легкие, по лагерным понятиям, работы ежегодно отправлялись для поправки уцелевшие дистрофики, «доходяги» с приисков и рудников Дальстроя. Они-то и составляли основную часть мужского населения подсоблагов, подлежащую возвращению основному производству после одного-двух лет «курорта». Если, конечно, дистрофические изменения у этих людей окажутся обратимыми, что было далеко не всегда. Постоянными жителями «до конца срока» здешнего сельхозлага были только женщины, старики и инвалиды.

Ежовско-бериевский запрет на выходные дни для лагеря обходили при помощи объявления их днями общей санитарной обработки, активированными по погодным условиям, как сегодня, или по необходимости произвести крупные внутризональные работы. Это была начальническая «ложь во спасение», но только наполовину. Редкий из таких дней обходился без выхода всех отдыхающих на заготовку дров для лагеря, уборку снега и тому подобные работы. Но это случалось обычно уже после обеда. С утра можно было поспать «от пуза», что и было главной реальной удачей наших выходных дней.

После Митькиного объявления угрюмое молчание в бараке сменилось радостным галдежом, оно было, как всегда, неожиданным. Лагерное начальство опасалось обвинения в запланированных поблажках для заключенных, большая часть которых была здесь «врагами народа». Но продолжался этот галдеж очень недолго, приглашать к продолжению сна дважды здесь никого не приходилось. Торопливо раздевшись, все снова улеглись на свои набитые сенной трухой или древесными опилками матрацы и через каких-нибудь пять минут спали. После «легких» работ на повале и раскряжевке даурской лиственницы, твердой на морозе как дуб и тяжелой как камень, здешние «курортники» могли проспать вот так суток трое, делая перерывы разве что на обед. Впрочем, как уже говорилось, тут действовало еще и наше постоянное стремление «уйти в сон» при всякой, даже малейшей возможности.

Однако на этот раз я уснул менее крепко, чем обычно, и проснулся от дребезжания ведра, неловко опрокинутого дневальным. Лед на оконце пунцово рдел от разгоравшейся над

близким отсюда морем зари. Вот-вот должно было взойти солнце. Значит, со времени сигнала на развод прошло уже часа полтора. Спать можно было еще долго, даже если в обед нас куда-нибудь погонят. Повернувшись на другой бок, я начал приминать слежавшиеся опилки в своем матраце по форме уже этого бока. До нового изменения положения он будет казаться мягким. Я еще продолжал свою возню с неподатливым ложем, когда в барак вошел нарядчик. Вид у Савина был несколько смущенный, как у человека, явившегося с каким-то неприятным или щепетильным поручением, которых добрый малый очень не любил. Для кого-то из жителей барака это не предвещало ничего доброго. Не закончив скульптурной обработки своего матраца, я затих на нем, натянув на голову одеяло.

Посоветовавшись о чем-то с дневальным, Митька пошел по проходу между нарами, пристально и озабоченно всматриваясь в лица спящих людей. Так и есть, он искал подходящий «лоб», а может быть, и несколько «лбов» для какой-то паскудной работенки внутри лагеря, вроде колки дров для кухни, таскания воды с речки или еще чего-нибудь в этом роде. Возможно, что я был не единственным человеком, кого разбудило загремевшее ведро. Но несомненно, что все, так же как и я, еще плотнее закрыли глаза и засопели еще громче. Если уж и необходимо вкалывать в свой, в кои веки выпавший выходной день, так хоть не с утра, по крайней мере!

Нарядчик остановился напротив места Спирина, бывшего колхозника откуда-то из Вятской области. Чуть живого от изнурения, этого мужика привезли сюда прошлой осенью с небольшим этапом таких же доходяг. Как почти все перенесшие тяжелую форму дистрофии, Спирин долго не мог оправиться от животного страха перед голодом. Рискуя заночевать в карцере, он до совсем недавнего времени прятал под матрац куски выпрошенного, а то и украденного, хлеба, съесть который сразу не мог. Теперь, правда, у бывшего доходяги голодный психоз начал уже проходить.

Митька долго дергал спящего за ногу, пока тот проснулся, наконец, и испуганно вскрикнул:

— А? Чего?

— Каши пульман хочешь заработать? Вó такой!

Нарядчик показал руками размер «пульмана», огромной миски, применяемой обычно для кухонных нужд. Какую-нибудь пару месяцев тому назад за такую миску овсяной каши Спирин согласился бы вкалывать до полуночи, даже после полного рабочего дня. На это, очевидно, и рассчитывал Савин. Он хотел найти добровольца на какую-то, по-видимому, довольно тяжелую работу. Но у нарядчика было право и просто приказать любому здесь выйти на любую хозяйственную работу, притом без всякого обещания награды. А если назначенный им зэк начнет упрямыться, позвать дежурного коменданта по лагерю. С тем разговор короткий: или подчиняйся, или садись до утра в кондей! Практически, однако, применять такой способ придурки стеснялись даже в горных лагерях. Какой же ты, к черту, нарядчик или староста, если без помощи надзирателя не можешь совладать с рядовым лагерником?

Тем более неприличным было бы приглашение дежурного в барак смиренных «рогатиков», да еще со стороны, в общем-то, благожелательного к ним и покладистого Митьки.

Однако его расчет на приманку обильной жратвы для недавнего дистрофика тоже, видимо, не оправдывался. Спирин выслушал предложение нарядчика безо всякого энтузиазма, глядя на него хмуро и подозрительно:

— А чего делать-то надо? — Он, впрочем, не совсем еще проснулся. Вместо прямого ответа Савин спросил вопросом:

— Ты на прииске в похоронной бригаде кантовался?

Вопрос, очевидно, был задан в целях более тонкого подхода к главной теме начатого разговора. Но сделан он был явно неудачно, так как вятский нахмурился еще больше:

— Тебе бы такой кант! Говори, что надо?

Никогда не бывший в «лагерях-доходиловках», Митька допустил весьма неловкий ход. Бригады могильщиков, подчас весьма многочисленные, комплектовались из тех, кто уже не годился более для работы на полигоне и сам был кандидатом в «дубари».

Однако и тон ответов нарядчику со стороны недавнего смиренного доходяги был неожиданно грубым и непочтительным. Савин вспыхнул было, но сдержался:

— Могилу, понимаешь, надо вырыть! Сегодня ночью в больнице какой-то штымп дуба врезал...

Худшего предисловия к такому предложению, чем напомирование невольному могильщику об его начальных обязанностях, нельзя было, вероятно, и придумать. Спирин ответил еще более грубо и зло:

— Пустой твой номер! Не буду я никакой могилы копать...

Он снова улегся на своих нарах и демонстративно натянул на голову одеяло. И без того красное лицо Савина побархотало. Слабину почувствовал, чертов штымп! После горного, где за такую непочтительность к нарядчику тут же дрына схватил бы. Смирный был, а теперь смотри, как обнаглел... Митька украдкой огляделся, не видит ли кто его конфуза? Однако храп и сопение вокруг были всеобщими и дружными. Славив кое-как с раздражением и досадой, он опять подергал за ногу несговорчивого вятского:

— Слышь, Спирин! Выпрешь яму — завтра целый день отгула получишь... На работу не погоню, свободы не видать!

Наш благодушный нарядчик корчил из себя этакое «шибко блатного», хотя сидел за мелкую растрату в захудалом сельпо.

Однако даже обещание круглосуточного сна в дополнение к каше не соблазнило Спирина. Он только еще выше натянул на голову свое куцее одеяло, так что оголились ноги. Чтобы закрыть их, вятский должен был поджать свои острые коленки к животу.

— С дежурняком выведу! — вскипел нарядчик.

Однако упрямый мужик повторил, приподнявшись:

— Говорю, пустой твой номер! Не знаешь, что ли, что грыжа у меня на повале объявилась... А не знаешь, так у лекпома спроси!

Савин закусил губу. Он просто забыл, что уже с месяц, как Спирин, хотя он и продолжал числиться в бригаде лесорубов, занимается в лесу только работами «не бей лежачего», вроде сжигания сучьев, отгребания снега от деревьев, спиливать которые будут другие. Грыжа в лагере — это редкостная удача: от нее не помрешь и ни на какие сколько-нибудь тяжелые работы не пошлют даже в горных. Отсюда, конечно, и проскаки-



вает наглое поведение недавно смиренного мужичонки... Махнув рукой, нарядчик отошел от его места и снова принялся шарить глазами по нарам, но теперь уже более решительно и зло. За непочтительность с ним Спирина кому-то, видимо, придется отдуваться. Хмуро поведив глазами вокруг, Савин остановил свой взгляд на мне. Я плотно зажмурил прищуренные до этого глаза, но тут же, почувствовав прикосновение Митькиной руки, открыл их. Было очевидно, что мой сегодняшний выходной пропал.

У меня не было ни спасительной грыжи, ни почтенного возраста, ни даже обыкновенной «слабосиловки». На таких как я в лагере полагалось пахать, и сослаться для оправдания отказа рыть кому-то могилу мне было решительно не на что. При других обстоятельствах можно было бы рассчитывать на свойственное многим деревенским некоторое уважение к образованности. Но сейчас Митька был зол и вряд ли потерпел бы новые препирательства. Поэтому я не стал даже прикидываться, что не знаю в чем дело, а сразу же встал и начал зло натягивать на себя свои драные шмотки, отводя душу руганью. И угроził же черт этого дубаря загнуться именно сегодня! Кстати, кто он такой?

Нарядчик, оказывается, этого не знал. Час тому назад начальник лагеря приказал по телефону нарядить одного из отдыхающих заключенных на рытье могилы. Кто такой этот дубарь и откуда попал в нашу больницу, Митька мог только предполагать; скорее всего, его привезли из какой-нибудь дальней, рыболовецкой или лесной, командировки. Из находившихся в местной больничке заключенных нашего лагеря ни одного кандидата в покойники, как будто, не было.

Смертность в этом лагере была вообще незначительной. В трудовых лагерях она и повсюду была бы ниже обычной, если бы не искусственно созданные условия работы и быта заключенных. На Колыме их косила смерть от изнурения, голода и холода, бесчисленных травм, конвоирских пуль. Там же, где ничего этого нет, лагерники умирают редко. Среди них мало престарелых и совсем нет детей, быстро и решительно пресекаются эпидемии. Прежде бичом заключенных северных лагерей была цинга. Но с тех пор как против нее стали приме-

нять отвар хвои, страшный когда-то «скорбут» почти утратил свое былое значение как фактор смертности даже за Полярным кругом.

Оставалась еще простуда. Но о ней в Галаганнахе мы мечтали как о большой удаче. Если не считать не столь уж частой возможности покалечиться, она была едва ли не единственным шансом покантоваться в бараке или лагерной больнице. Но в том-то и дело, что простуда нас почти теперь не брала. Никто даже не кашлял после целодневной работы в поле или лесу под холодным дождем, нередко вперемешку со снегом, бултыхания в ледяной воде на сплаве, спанья на мокрой холодной земле. Накапливаясь на каких-то внутренних «текущих счетах», всё это проявится потом в виде ревматизма, радикулитов, ишиасов и прочей благодати. А пока что, даже нарочитая пробежка по снегу босиком в одном белье из бани, находившейся в полукилометре от лагеря, не давала никаких непосредственных результатов.

Правда, такая сопротивляемость приходит не сразу. Ею отличаются те, кто уже прошел процесс естественного, так сказать, отбора. Отбор этот начинается уже с тюрьмы и этапа. Здорово мрут лагерники-новички поначалу даже в таких лагерях, как вот этот Галаганнах. От неприспособленности к тяжелому труду, перемены климата, недостатка витаминов, простудных воспалений легких и почек и, наверно, просто от тоски, хотя в официальных документах этот пункт и не значится. Постепенно остаются только те, кто приобрел против всего этого достаточный иммунитет.

Вереницы смертей следовали также после каждого привоза сюда доходяг из горных. Голодное изнурение на определенной стадии приводит к таким изменениям во всем почти организме дистрофика, что ни в каких условиях человек не является более жизнеспособным. К концу каждой зимы все такие были уже на кладбище. Поэтому сейчас не только смертельное, но даже просто серьезное заболевание было в нашем лагере явлением довольно заметным. Однако не только я, но даже лагерный нарядчик ничего о таких случаях не знал.

Злобствуя по адресу так некстати подвернувшегося дубаря, я не заметил сначала, что Савин дожидается, пока я оде-

нусь, даже и не думая подыскивать мне напарника. Может, он уже нашел кого-нибудь в другом бараке? Оказалось, нет, ему приказано послать на кладбище только одного землекопа. Я изумился: как одного? Могила — это здоровенная яма сечением ноль шесть на два метра и два метра глубиной! В долине Товуя, где находится кладбище, грунт — глина вперемешку с речной галькой. Когда такая смесь замерзает, то становится прочней бетона. А мерзлая она сейчас на всю глубину ямы, так как промерзание сверху сомкнулось с вечной мерзлотой снизу. Работы там по крайней мере на две полные дневные нормы для двух землекопов! В одиночку до наступления темноты мне вряд ли удастся выбить могилу в приречной мерзлятине больше чем на третью часть ее должной глубины.

Савин и сам понимал все эти соображения, но на все мои вопросы только пожимал плечами: приказано выделить одного могильщика... Начальник сказал это ясно и добавил, что завтра же этому человеку следует предоставить отгул...

Всё было похоже на какое-то недоразумение. О каком отгуле завтра могла идти речь, если один человек провозится с ямой на кладбище по крайней мере два дня! А если так, то к чему такая срочность? Да и вообще, сейчас зима, и покойник в мертвецкой больницы может ждать погребения хоть до самой весны. Его, конечно, туда уже вынесли. Сегодня воскресенье, и у вольных тоже выходной. Выходной и у нашей спецчасти, которая оформляет умерших лагерников в «архив-три». Займется она этим только завтра, когда дубарь совсем зачехнет. Но без отпечатков пальцев, снятых с уже умершего человека, его в этот архив зачислить нельзя, будь он мертв хоть трижды. Для «игры на рояле» мертвое тело придется отогревать при комнатной температуре больше суток... Получается какая-то чепуха. Может быть, все-таки Савин что-нибудь напутал? А насчет завтрашнего отгула, обещанного якобы начальником, просто соврал для большей убедительности? Но Митька божился, что не врет: свободы не видать! Хорошо если так! А то ведь обещание заключенного нарядчика вовсе не закон для какого-нибудь Осипенко. Это был самый противный из здешних дежурных надзирателей, «комендантов», как их тут называли. Сколько раз уже бывало при утреннем обходе:

– А этот почему в бараке околачивается?

– Отгуливает за вчерашнюю работу, гражданин начальник!

– Ничего не знаю...

Чтобы умерить мое сожаление об оставленных нарах, Митька сказал, когда вдвоем с ним мы выходили из барака:

– Ты особенно не расстраивайся! Этим, – он показал через плечо на дверь, – спать только до двенадцати. С обеда приказано всех на «длясэбные» работы выгонять. Будем от зонного ограждения снег отбрасывать. Вон сколько его навалило...

«Длясэбными» в нашем лагере называли работы, которые мы выполняли летом после четырнадцатичасового рабочего дня, а зимой в такие вот редкие и куцые выходные дни. Надзиратель Осипенко, возмущаясь вялостью, с которой заключенные копошились на этих работах, ругался и говорил:

– Ну, що вы за народ? Для сэбэ и то робить не хочете!..

Так как в сверхурочном порядке нам, чаще всего, приходилось заниматься такими делами, как рытье ям под новые столбы для колючей проволоки, выпрямление покосившейся вышки или ремонт карцера, самое непосредственное отношение к нам которых действительно не вызывало сомнения, то и их прозвали «длясэбными». Заодно прозвище «Длясэбэ» получил и сам Осипенко.

Савин выдал мне лом, кирку и лопату и посоветовал не слишком уж строго придерживаться при рытье могилы ее официально установленных размеров, особенно по длине и ширине. С тех пор как вышел приказ хоронить умерших в заключении без «бушлатов», прежней необходимости в соблюдении полных габаритов лагерных могил более нет. Митька имел в виду «деревянные бушлаты» – подобие гробов, в которых умерших лагерников хоронили до прошлого года. И хотя эти гробы сколачивались, обычно, всего из нескольких старых горбылей, гулаговское начальство в Москве и их сочло для арестантов излишней роскошью. Согласно новой инструкции по лагерным погребениям, достаточно для них и двух старых мешков. Один нахлобучивается на покойника со стороны головы, другой – ног, и оба этих мешка сшиваются по кромке. Даже если труп принадлежит какому-нибудь верзиле, то и такой не

предъявит претензии, если его положат на бок или слегка по-догнут ему колени. С точки зрения могильщика, новую погребальную инструкцию Главного Управления можно было только приветствовать.

Проводив меня через вахту, нарядчик передал мне еще один приказ начальника лагеря: по дороге на кладбище зайти в лагерную больницу и обратиться за чем-то к дежурному санитару. Зачем именно, Савин не знал, но высказал предположение, что в больнице я получу указание, в каком месте кладбища рыть могилу и как ее ориентировать. Дело это серьезное. Могилы заключенных всегда располагаются в строго определенном направлении и наносятся на план, хранящийся в спецчасти лагеря. Завернуть в лагерную больничку труда не составляло, она находилась почти сразу же за его зоной по дороге к кладбищу. Проходя мимо этой зоны и глядя на ее ограждение, заметенное снегом чуть не до высоко поднятых на ногах-раскоряках будок часовых, я подумал, что, может быть, и в самом деле выгадываю, отправляясь сейчас рыть могилу? Если обещание отгула за эту работу и в самом деле исходит от самого начлага, то целодневный сон послезавтра возместит мне потерю полудневного отдыха сегодня. Тем более что работа по очистке зоны от снега тоже не мед и ее хватит до позднего вечера.

Наша больница, небольшой неохраняемый барак, расположилась на самом краю здешнего поселка «вольных». Она была построена до вступления в силу здешних лагерных уставов, основанных на принципе, что заключенный — это или непременно опасный враг народа или неисправимый жулик. Впрочем, в нашем Галаганнахе от сочетания прежнего лагерного либерализма и нынешней суровости случались и куда более удивительные примеры непоследовательности в охране заключенных. На мой стук в дверь больнички вышел дежурный санитар. Я хорошо знал этого хитроватого темнилу Митина. До заключения он был следователем по уголовным делам и отличался удивительной способностью чуть не во всех действиях и поступках окружающих усматривать какой-то мелкий, низменный практицизм.

— С отгулом? — спросил он меня, поздоровавшись.

— Савин говорит, что обещал начальник... — пожал я плечами.

— Тогда тебе повезло! Работенка-то не бей лежачего...

— Это три куба мерзлоты вырубить — «не бей лежачего»?!

— Каких там три куба? Да и сам увидишь! Пошли в морг...

Санитар открыл мелкий дощатый сарайчик, стоявший чуть поодаль от больничного барака и снаружи ничем не отличавшийся от обычного дровяного. Но внутри этого сарайчика, на вбитых в землю кольях, над ней возвышались два узких, сколоченных из горбыля, настила. Они напоминали узкие и высокие столы. Один из этих столов был пуст, поперек другого лежал небольшой сверток, сделанный, по-видимому, из обрывка старой простыни.

— Вот, принимай своего дубаря! — провозгласил Митин, протягивая мне сверток с таким видом, с каким вручают имениннику приятный сюрприз-подарок. — Сегодня ты не только могильщик, но и похоронщик...

Я принял легкий пакет с недоумением:

— Что это?

В белую тряпку было завернуто что-то твердое и продолговатое, напоминающее на ощупь небольшую статуэтку. Поняв, что это, я вздрогнул от неожиданности: мертвый ребенок!

— Одна из нашей жензоны родила ночью, — пояснил довольный моим изумлением Митин. — Прошлым летом на сенокосе нагуляла... Да недоносила месяц, всего часа четыре только и пожил...

Я держал сверток одной рукой на отлете, испытывая к его содержимому чувство невольной брезгливости. Мысль о выкидыше вызвала у меня представление о чем-то уродливом и отталкивающем, а что-то в этом роде было и здесь. Впрочем, трупик несчастного недоноска был сейчас заморожен. Места же на кладбище понадобится для него немногим больше, чем для котенка. Соответственно пустяковой должна быть и глубина могилы. Митин, кажется, прав, и мне сегодня, действительно, повезло. Особенно, если я получу обещанный отгул завтра.

— Допер теперь, почему работенка блатная? — спросил меня довольный Митин. — А то: «три куба»! Тут и половины куба мно-

го будет... — Он взялся за ручку щелястой двери сарайчика. — Вот и всё, дуй теперь с ним на кладбище! Да только не на вольное гляди! Потомственному крепостному на нем не место...

В шутовой форме санитар меня предупреждал, видимо, чтобы я, соблазнившись близостью поселкового кладбища, не поленился тащить трупик на более отдаленное лагерное. Я и не думал этого делать, но шутка Митина навела меня на мысль, что покойный младенец и в самом деле имеет право быть погребенным не на тюремном кладбище.

— А что, разве его в архив три занесут? — сердито спросил я бывшего следователя.

Но он счел за благо сделать вид, что принял мой вопрос за ответную шутку, ослабился и отрицательно покрутил головой:

— В «архив» наш Дубарь еще не годится, на рояле играть не умеет... — Потом Митин посерьезнел и понизил голос, хотя ни в сарае, ни вокруг сарая никого не было: — Между нами... Начлаг с доктором договорились через загс этого рождения не оформлять... В историю болезни роженицы будет записано, что ей произведена эмбриотомия, это когда плод по кускам извлекают, понял?

Я утвердительно кивнул, дело понятное. Больнице не нужен лишний случай «летального исхода» в ее стенах, лагерю — лишнее свидетельство недостаточности строгого соблюдения в нем режима заключения. Любовная связь между лагерниками и лагерницами категорически запрещена. Не должно быть, следовательно, ни одного случая деторождения. Но это в теории. На практике же в смешанных лагерях добиться такого положения невозможно. Поэтому существовало нечто вроде негласного и неофициального предела деторождений на каждую сотню заключенных женщин. Превышение этого предела являлось одним из самых отрицательных показателей работы лагерного надзора, особенно не нравившимся вышестоящему начальству. И не только из ханжеских или чисто тюремных соображений. К ним примешивался еще и бухгалтерски меркантильный интерес. Дело в том, что прижитые в лагере дети воспитывались в специальных приютах, содержавшихся за счет бюджета соответствующего лагерного управления. И как ни

жалки были эти «инкубаторы» для сирот при живых еще родителей, они, требуя известных расходов, ухудшали показатели финансового плана лагуправления со всеми последствиями для премий его руководящему персоналу. Отсюда, в немалой степени, вытекал и интерес лагерного начальства к нравственности своих подопечных. Возможно, что сокрытие появления на свет очередного «инкубаторного» ребенка, в котором участвовал и я, решало вопрос: в пределах ли «нормы» или за этими пределами находятся добродетели безбрачия в нашем лагере, скажем, за текущий квартал.

Когда я, зажав под мышкой пакет с маленьким покойником, взвалил на плечо свои громоздкие инструменты землекопа, Митин, снова оглядевшись и понизив голос, хотя никого кругом по-прежнему не было, сказал еще более доверительным тоном, чем прежде:

— Доктор приказал мне проверить потом, не затуфтил ли похоронщик? Люди, знаешь, у нас всякие. Иной зароет дубарика в снег, а весной может неприятность получиться... Ну, на тебя-то я надеюсь...

Вряд ли ему кто-нибудь давал такое поручение. Просто хитрец делал мне новое замаскированное предупреждение. Этому человеку, возможно, в результате его профессиональной практики, всегда казалось, что если кто-нибудь может злоупотребить своей бесконтрольностью, то он непременно это сделает. В общем-то неплохой, по-своему неглупый мужик, Митин, хотя и довольно благодушно, подозревал всех в плутовстве. Меня это злило и вызывало желание треснуть по ухмыляющейся физиономии санитаря своим свертком. Но я только буркнул:

— Надежда — мать дураков! — и пошел по дороге, ведущей вдоль реки к морскому берегу.

Солнце уже взошло, и время утреннего температурного минимума заканчивалось. Это было видно и по морозному туману, который на берегу уже почти рассеялся. Однако над морем, точнее над прибрежными льдами, он продолжал еще клубиться как дым, образуя подобие рваной розовой завесы. Сквозь эту завесу солнечный диск казался совсем маленьким и густо-красным. Но когда он становился видимым сквозь одну



из ее прорех, то оказывалось, что этот диск огромный, гораздо больше обычного размера, а цвет у него желто-оранжевый, тоже не очень яркий. В зависимости от того, находилось ли солнце за туманом или выглядывало сквозь его прорехи, менялись и длинные тени на снегу. Они становились то черносиними, с резко очерченными краями, то жухловато-серыми и размытыми.

Справа от дороги белел покрытый снегом, широченный здесь Товуй. Его ровную как стол поверхность пересекали местами ломаные линии метельных «заструг». За рекой, на фоне удивительно чистого в этой стороне нежно-синего и холодного неба тонко подчеркивались розоватые контуры за-снеженных сопок.

До моря отсюда было не более полутора-двух километров. На самом его берегу стояли не видные отсюда за поворотом дороги склады соленой рыбы. На лагерное кладбище надо было свернуть, немного не доходя до этого поворота, в противоположную сторону.

Оно расположилось под прибрежной сопкой, довольно пологой со стороны реки, но круто спускавшейся к морю. Другая, почти такая же сопка возвышалась на противоположном краю широкой речной долины. С моря эти два угрюмых конуса служили хорошим ориентиром морякам-каботажникам для ввода по приливу в устье Товуя морских барж, направлявшихся в наш Галаганнах.

Из-за поворота дороги неожиданно показался надзиратель Осипенко, шедший мне навстречу. Бегал, наверно, на рыбные склады проверять, на месте ли сторожа из заключенных. А главное: не гостит ли у них кто-нибудь из приятелей, явившихся сюда с целью стащить или выпросить рыбину? Вряд ли всякий другой из наших лагерных надзирателей поперся бы сюда в такой мороз ради сомнительной возможности кого-то на чем-то изловить, хотя это и входило в их обязанности. Другое дело — Осипенко. Постоянное усердие, иногда не по разуму, всегда отличало этого туповатого вохровского служаку.

То, что он дежурил сегодня, — хорошо. Не будет дежурить завтра, а это увеличивает мои шансы на спокойный отдых.

Однако встречаться с этим болваном «Длясэбэ» мне не хотелось даже сейчас, хотя придраться ему, казалось бы, и не к чему.

Но со своими обычными вопросами: «Куда идешь?» и «Чего несешь?» — он непременно пристанет. И я ускорил шаг, чтобы поскорее свернуть на чуть заметную боковую дорожку на кладбище и избежать неприятной встречи с «Длясэбэ» нос к носу. Но я успел сделать по этой дорожке только несколько шагов, когда услышал его окрик:

— Стой!

Комендант жестом издали приказал мне остановиться и вернуться на дорогу.

— Куда идешь? — спросил он подходя.

Направление пути и мои инструменты могильщика отвечали на этот вопрос достаточно красноречиво. Но мало ли что? Ведь кирку, лопату и пудовый лом арестант может тащить и просто «с понтом», только для отвода надзирательских глаз! В действительности же направляться на вожделенный склад с каким-то подношением для тамошних сторожей. «Недоверие к заключенному — высшая добродетель тюремщика!» — патетически восклицал мой сосед по нарам, бывший учитель истории, перефразируя известное выражение Робеспьера о революционных добродетелях.

Когда я ответил надзирателю, что иду вот на кладбище копать могилу, последовал неизбежный второй вопрос:

— А несешь чего?

А за ним и приказание:

— А ну покажь!

Преодолевая досаду и заранее возникшее отвращение к тому, что я увижу сейчас, я развернул простыню и обнажил верхнюю половину тельца своего покойника.

По моим тогдашним представлениям, все без исключения новорожденные были морщинистыми, дряблыми комочками живого мяса, дурно пахнущими и непрерывно орущими. Смерть и мороз должны были ликвидировать большую часть этих неприятных качеств. Но оставался еще внешний вид, который у недоноска, вероятно, еще хуже, чем у нормального ребенка.

Контраст между этим, ожидаемым, и тем, что я увидел, был так велик, что в первое мгновение у меня возникло чув-

ство, о котором принято говорить как о неверии собственным глазам. А когда оно прошло, то сменилось более сложным чувством, состоящим из ощущения вины перед мертвым ребенком и чего-то еще, давно уже не испытанного, но бесконечно теплого, трогательного и нежного.

Желтовато-розовое в оранжевых лучах полярного солнца, крохотное тельце казалось сверкающе чистым. И настолько живым и теплым, что нужно было преодолеть в себе желание укрыть его от холода.

Голова ребенка на полной шейке с глубокой младенческой складкой была откинута немного назад и повернута чуть вбок, глаза плотно закрыты. Младенец казался уснувшим и улыбающимся чуть приоткрытым, беззубым ртом. Во внешности этой статуэтки из тончайших органических тканей, которые мороз сохранил в точности такими, какими они были в момент бессознательной и, очевидно, безболезненной кончины маленького человеческого существа, не было решительно ничего от страдания и смерти. Я, наверно, нисколько не удивился бы тогда, если бы закрытые веки мертвого ребенка вдруг дрогнули, а его ротик растянулся еще больше в улыбке неосознанного блаженства.

«Дясэбэ» на некоторое время уставился на маленького покойника с каким-то испугом. Потом он сделал рукой жест от себя, с которым произносили, наверно, что-нибудь вроде: «Чур-чур меня!» и, круто повернувшись, зашагал прочь.

А я, несмотря на жестокий мороз, долго еще стоял и смотрел на мертвое тельце. Под заскорузлым панцирем душевной грубости, наслоенной уже долгими годами беспросветного и жестокого арестантского житья, шевельнулась глубоко погребенная нежность. Видение из другого, почти забытого уже мира разбудило во мне многое, казавшееся давно отмершим, как бы упраздненным за ненужностью. Было тут, наверно, и неудовлетворенное чувство отцовства, и смутная память о собственном, рано оборвавшемся детстве. Хлынув из каких-то тайных, душевных родников, они разом растопили и смыли ледяную плотину наносной черствости. Теперь не только грубое слово, но даже грубая мысль в присутствии моего покойника показалась бы мне оскорбительной, почти кощунственной.

Осторожно, как будто опасаясь его разбудить, я снова завернул мертвого ребенка в тряпку и понес свой сверток дальше, на кладбище. Но уже не так, как нес его до сих пор, небрежно и безразлично, а как носят детей мужчины, бережно, но неловко прижимая их к груди. Было очень нелегко тащить в гору по непротоптанному снегу тяжелый, раскатывающийся на плече инструмент. Но я предпочитал доставать из-под глубокого снега то и дело сваливающийся лом, чем подхватывать этот лом рукой, занятой младенцем.

Ближе к кладбищу снег становился всё глубже, так как здесь, на краю долины, выступы сопки задерживали его от сдувания в море. Всё чаще приходилось останавливаться и отдыхать. И всякий раз при этом я отворачивал простыню и подолгу глядел на лицо ребенка. Маленький покойник парадоксальным образом напоминал мне о жизни. О том, что где-то, пускай в бесконечной дали, эта жизнь продолжается. Что люди свободно начинают и рожают детей, а те платят своим матерям и отцам такими вот улыбками еще не осознавших себя, но тем более счастливых существ. Существует, наверно, такая жизнь и ближе, даже может быть совсем рядом. Но и на ней здесь лежит всё очерняющая, всё опорочивающая и искажающая тень каторги.

Мне очень хотелось прикоснуться к коже ребенка, казавшейся теплой и атласно мягкой. Но я знал, что будет ощущения не тепла, а холодного полированного камня, которое разрушит желанную иллюзию. И усилием воли заставлял себя не поддаваться этому соблазну.

Кладбище нашего сельхозлага, хотя оно принимало к себе немало жертв других здешних лагерей, ни по занимаемой площади, ни по числу погребений не шло ни в какое сравнение с кладбищами при каторжанских приисках и рудниках. Там число уже мертвых почти всегда во много раз превышает число еще живых заключенных. Здесь же место, отведенное под могилы умерших в заключении, занимало на самом низу склона сопки лишь небольшую площадку. Со стороны моря она была ограничена крутым обрывом к широкой полосе прибрежной гальки. В прилив море заливало эту полосу, в отлив — отступало на добрый километр к горизонту. В первые месяцы зимы

здесь ежегодно идет жестокая война между морозом и морем. В периоды относительного затишья мороз сковывает воду. Приливы и штормы ломают лед, но непрерывно крепчающие холода снова спаивают их в огромные и неровные ледяные поля, которые снова ломают сильнейшие осенние штормы. В конце концов поле битвы неизменно остается за морозами, а море отступает куда-то за линию горизонта. И представляет собой это поле спаянный в сплошной массив битый лед, густо ошестинившийся иглами торосов.

Надо было точно знать, где находится наше кладбище, чтобы отличить его зимой от всякого другого места на склоне сопки. Ряды низеньких, продолговатых бугров едва угадывались теперь под толстым слоем снега, засыпавшего их выше лагерных «эпитафий» — небольших фанерных бирок величиной в тетрадный лист, укрепленных на каждой могиле на небольшом деревянном колышке. Химическим карандашом на фанерках были выписаны «установочные данные» покойных, тот тюремный полушифр, в котором сконцентрирована трагедия целой человеческой жизни. Однако сейчас на всем кладбище, да и то лишь частично, виднелась поверх снежных сугробов только одна из этих эпитафий. Она была установлена на могиле, расположившейся почти на самом краю обрыва. Ветер с моря сдул вокруг нее снег и обнажил фиолетовые буквы и цифры. Они сильно расплылись от осенних дождей, и разобрать можно было только цифры 58-9 и 15. Этого было, однако, достаточно, чтобы понять, что погребенный здесь человек осужден за контрреволюционную диверсию на пятнадцать лет заключения. Судя по этим данным и относительной свежести надписи, это был один из товарищей Спирина, голодное изнурение которого дошло уже до необратимой стадии «Д-3» и он, полежав в нашей больнице месяца полтора, умер. Про него еще говорили, что он «остался должен» прокурору больше двенадцати лет.

Однако вопрос об этом человеке и его «долге» был сейчас праздным. Надо было высмотреть место для могилки. Да вот, хотя бы здесь, рядом с могилой диверсанта, на самом краю каторжной колымской земли.

Своего покойника я решил положить головой к морю, хотя это и не по правилам: все покойники здесь лежат в дру-

гом направлении. Но гулаговские правила для него ведь не обязательны. Не нужна над ним и фанерная эпитафия, повествующая о преступных деяниях покойного, действительных или выдуманных. Никакой, даже самый дотошный прокурор не смог бы сочинить такой эпитафии для младенца, не совершившего еще вообще никаких деяний. Формально он не существовал ни одной секунды из тех нескольких часов, которые прожил, и не имел даже имени.

Жизнь этого противозаконно появившегося на свет новорожденного не была нужна никому, даже его матери. «Оторва!» — махнул рукой по ее адресу Митин. На этот раз он был, скорее всего, прав. Женщины — профессиональные уголовницы — существа, обычно совсем опустившиеся. Даже когда их освобождают из лагеря именно потому, что они матери малолетних детей, далеко не все из них забирают из «инкубаторов» своих ребятишек. И уж подавно никогда почти не интересуются ими не только оставаясь в заключении, но и заканчивая свой срок. Мне случалось видеть этих несчастных, полуголодных, одетых в убогую, пошитую из лагерного утиля одежку детей, явившихся на свет только благодаря надзирательскому недосмотру.

Для лагерного начальства они являются всего лишь на хлебниками лагерного бюджета, нежелательным, побочным продуктом существования лагеря и досадным живым укором этому начальству за его различные упущения.

Однако у тех из прижитых в заключении детей, которые зарегистрированы как новоявленные граждане Советского государства, всегда числятся формально известными не только их матери, но и отцы. Регистрация новорожденных проводится через спецчасть лагеря, а та настойчиво требует от «мамок», чтобы они непременно назвали отца ребенка, пусть только предполагаемого. Оставлять незаполненной графу об отцовстве лагерного ребенка значило бы расписаться уже не в одном, а в двух упущениях. Впрочем, особых осложнений тут никогда не возникало. Мужчины-лагерники, которых, нередко совершенно для них неожиданно, производили в отцовское звание, почти никогда против этого не протестовали. Дело в том, что оно решительно ни к чему их не обязывало ни те-

перь, ни потом, кроме, правда, трехдневной отсидки в карцере «с выводом» за противоустановную связь с женщиной. Оставить такую связь безнаказанной лагерное начальство права не имело. И поскольку факт рождения ребенка выдавал виновного в этом проступке с поличным, то счастливый папаша расписывался одновременно на двух бумагах: акте о рождении нового человека и приказе о водворении отца этого человека в лагерный кондей.

За всю историю нашего Галаганнаха всерьез принял свое отцовство только один заключенный. Это был жулик из Одессы, еврей по национальности, по блатному прозвищу, как водится, «Жид». Отсидев после рождения в лагерной больнице своего сына положенные трое суток, отец выпросил ребенка у его матери через дневальную барака «мамок-кормилок» и демонстративно прошел с ним по двору лагерной зоны. Встретив начальника лагеря, Жид смиренно снял перед ним картуз и от имени своих родителей пригласил его в гости в Одессу. Сам он принять дорогого гостя пока не может, но старики-де, уверял бывший фармазон с пересыпского базара, будут рады приветствовать человека, официальным приказом по лагерю отметившего рождение их внука. Однако начлаг не оценил ни остроумия, ни вежливости Жида, и тот снова отправился ночевать в «хитрый домик» в дальнем углу зоны.

Я расчистил снег на месте будущей ямы и собрал его в небольшую кучку несколько поодаль. Снова отвернул простыню от лица своего покойника и положил его на склон снежного холмика таким образом, чтобы видеть ребенка во время работы.

Как я и предполагал, промерзший грунт речной долины по крепости мало уступал бетону. Даже не замерзшая смесь каменной гальки и глины — настоящее проклятие для землекопа. Сейчас же лом и кирка то высекали искры из обкатанных камешков кварца, гранита и базальта, то увязали в сцементированной их глине. Ямка была всего по колено, когда я, несмотря на жгучий мороз, снял свой бушлат и продолжал работу в одной телогрейке.

Для погребения маленького тельца этой ямы было бы уже достаточно, но я упорно продолжал долбить неподатливый

грунт, пока не выдолбил могилку почти в метр глубиной. Затем в одной из ее стенок я сделал углубление наподобие небольшого грота. Покончив с этим, взобрался высоко на склон заснеженной сопки, туда, где должны были находиться заросли — сейчас их правильнее было бы назвать залежами — кедра-стланика. Отрыл их, нарубил лопатой хвойных ярко-зеленых веток и спустился с ними вниз. Долго и тщательно выкладывал этими ветками дно и стенки гротика. Затем в последний раз поглядев в лицо ребенка, закрыл его простыней и положил трупик на ветки. Ветками покрупнее заложил отверстие грота и засыпал яму. Потом кропотливо и старательно пытался придать рассыпающейся кучке мерзлой глины с катышом гладкой гальки вид аккуратной усеченной пирамиды.

Несмотря на привычку к тяжелой, ломовой работе, я устал. Надел свой бушлат и присел рядом на могилу диверсанта. Я так долго возился с погребением, что недлинный еще мартовский день уже приближался к концу.

На краю заснеженного обрыва темнел насыпанный мною бурый холмик. Внизу расстилалось замерзшее море, до самого горизонта покрытое торосами. Ледяные плиты, местами высотой в два и более человеческих роста, то раскидывались наподобие веера, то длинными грядами вздымались почти вертикально, напоминая остатки скрытых крепостных стен, то беспорядочно громоздились огромными грудями, как разрушенные землетрясением здания. Налипший на торосах снег розовел под лучами совсем уже низкого солнца. На местах сравнительно свежих изломов лед отливал зеленью, как вода в омуте, а тени его высоких осколков на розоватом снегу казались сейчас почти синими.

Стояла глубокая, торжественная тишина. Наверно, такой глубокой она бывает еще на застывших планетах. Должно быть там вот так же величаво плывет над хаосом мертвой материи неяркое, потухающее светило.

Неправдоподобно огромный, сейчас оранжевый диск солнца почти уже касался горизонта своим нижним краем, готовясь закатиться за него по-арктически медленно. Выше — чистое, бледно-розовое небо через неуловимые цветовые переходы постепенно становилось светло-синим. Только здесь,



в этих неприятных северных краях, оно бывает таким нежным, таким чистым и таким равнодушным к человеку.

Конечно же, я не в первый раз видел этот первозданный пейзаж, в котором и прежде замечал что-то от холодного величия Космоса. Однако только сейчас закат над полярным морем вызвал у меня не только мысль, но и как бы чувство суровой гармонии мира. Мне казалось, что я ощущаю беспредельность и холод пространства, в котором движется наша планета, и его равнодушие к тому эфемерному и преходящему, что возникает иногда в глухих уголках Вселенной и зовется Жизнью. Жалкая и уродливая, она всегда лишь плесень, которая ждет своего часа, чтобы быть навсегда уничтоженной мертвыми, равнодушными силами Природы.

Но тут же во мне возник протест против этого пессимистического вывода, навеянного созерцанием впечатляющей картины царства холода. Жизнь только кажется скромной и слабой по сравнению с враждебными ей силами. Однако выстояла же она против этих сил и даже сумела развиться до степени разумного сознания, как бы отразившего в себе всю необъятную вселенную. И это только начало!

Несмотря на присущие всякому развитию тяжелые детские болезни, именно разумным формам жизни, а не мертвой материи будет принадлежать в конце концов главенствующее положение в мире!

Могильщиков с легкой руки Шекспира исстари принято считать чуть ли не профессиональными философами. Это сомнительное мнение было бы, вероятно, ближе к истине, если бы профессию погребателя, как и все другие профессии, люди себе выбирали. А что касается строя мыслей случайных ее обладателей, то он, как правило, такой же, как и у остальных людей. В лагере, во всяком случае, я не наблюдал какого-либо воздействия профессии могильщика на психологию тех, кто даже очень подолгу работал в похоронных бригадах. Постоянно обслуживая Смерть, они, как и все, постоянно думали и говорили о жизни, причем в самых прозаических ее проявлениях, вроде лагерной пайки, баланды и сна на барачных нарах.

Впрочем, наверно, даже те из них, кто обладал философским складом ума, памятуя о враждебно-насмешливой настроенности лагеря к сентиментальному философствованию, вряд ли могли быть так же велеречивы, как знаменитые могильщики из «Гамлета». Вот и я, например, никогда здесь не признаюсь, что расчувствовался при виде маленького дубаря, а зарыв его, думал не о миске дополнительной баланды, которую получу сегодня за эту работу, а о путях мироздания. Тем более что и высокому строю своих мыслей, и торжественному настроению, с которым я наблюдал закат над арктическими льдами, я был обязан случайности. Не встретить меня на дороге сюда надзиратель Осипенко и не заставь развернуть перед собою мой сверток, я ни за что не сделал бы этого по собственному почину. И давно бы уже наспех и как попало зарыл бы этот сверток в землю, заботясь только о том, чтобы его не вымыли вешние воды или не разрыли ездовые собаки. А закончив работу, поспешил бы в лагерь, думая, что подфартило мне все-таки здорово. Получить целый день отдыха за каких-нибудь два-три часа работы удается не часто. Если, конечно, нарядчик не врет, что этот отдых обещан мне самим начальником.

Несколько ослабевший днем мороз начал крепчать снова, и теперь плохо помогал даже бушлат. Да и вообще было уже пора уходить отсюда, тем более что с раннего утра я ничего еще не ел и мысль об обогреве и сытом ужине начала заслонять собой всё остальное. И всё же мне хотелось сделать для погребенного ребенка что-то еще. Повинуясь этому желанию, я сбил киркой лопату с черенка и той же киркой перебил этот черенок на две неравные части. Затем вытащил веревочку из одного из своих ЧТЗ (ироническое название лагерной обуви, пошитой из старых автомобильных покрышек) и крест-накрест связал обломки палки. Импровизированный крест я воткнул в могильный холмик.

Солнце неохотно закатилось, оставив после себя полосу оранжевой зари, над которой в ставшем еще более холодным небе продолжали свою игру нежные оттенки розового и голубого. Какое-то мгновение после его захода верхние края торосов продолжали красновато светиться, затем они разом погасли. Бескрайнее нагромождение льдов внизу стало еще

угрюмее и начало скрываться в холодной мгле. А над его темным хаосом, на фоне гаснущего заката отчетливо рисовался водруженный мною символ и знак христианства. Сумерки скрыли убожество креста, а красноватый фон зари усилил его мрачную выразительность.

Логически этот крест, конечно, был совершенно неоправдан. Я не верил в Бога, а зарытый под ним ребенок не принадлежал ни к какой религии. Но он не был также и просто сентиментальной данью традиции, знакомой с далекого детства. Главная причина водружения мною, убежденным атеистом, религиозного знака на могиле безымянного ребенка заключалась, вероятно, в другом.

Я всё еще находился во власти мысли о противостоянии Живой и Мертвой материи и не хотел, чтобы холодный хаос льдов и гор сразу же поглотил и растворил в себе останки маленького человеческого существа. Поэтому-то, наверно, следуя древнему стремлению Человека Разумного к утверждению Жизни даже после Смерти, почти подсознательно установил ее знак на могиле усопшего. Этот знак был примитивен и прост, но он являлся символом правильной геометрической формы, которой Хаос враждебен и чужд. Это представление, скорее всего, и лежало в основе сооружения таких надгробий, как всевозможные обелиски, пирамиды и те же кресты.

Меня вдруг охватило чувство благоговения, как верующего в храме. Ушли куда-то мысли о еде, отдыхе и тепле. Это было, вероятно, то состояние возвышенного и умиленного экстаза, которое знакомо по-настоящему только искренне верующим людям. Под его воздействием я развязал тесемки своего каторжанского треуха и обнажил голову. Мороз сразу же схватил ее калеными клещами и больно обжег уши: реальность оставалась реальностью. Я надел шапку, смахнул с бушлата несколько круглых, похожих на градины льдинок и, подобрав с земли свой инструмент, начал спускаться в долину.

На самом дне жизни люди плачут не чаще, а гораздо реже других людей. Возможность излить свое горе таким образом — удел более счастливых, у которых оно только эпизод их жизни, а не ее постоянное содержание.

Впрочем, замерзшие льдинки на груди моего бушлата вовсе не были слезами скорби. При всей своей теплоте и нежности мои чувства к погребенному ребенку скорее напоминали те, которые вызываются душевным просветлением, вызванным, например, созерцанием великих произведений искусства. Да и милосердие смерти в этом случае было слишком очевидно, чтобы сожалеть еще об одной несостоявшейся жизни.

Я испытывал не горе, а мягкую и светлую печаль. И еще какое-то высокое чувство, которое было ближе всего к чувству благодарности. Благодарности мертвому ребенку за напоминание о Жизни и как бы утверждение ее в самой смерти.

Игра света в темнеющем небе стала уже грубее и глубже, когда я подошел к лагерной больнице. Санитар Митин сметал снег с дорожки и, увидев меня, удивился:

— Ты что там делал на кладбище? Загорал, что ли? А я-то думал, что ты в бараке уже десятый сон после обеда досматриваешь...

Вопрос был резонный, и я смутился, не зная, что ответить. Однако бывший следователь, вспомнив о чем-то, осклабился:

— Фу ты! Совсем забыл, что у тебя приятель в сторожах...

Он заговорщицки подмигнул и похлопал меня спереди по животу. Верный законам своего мышления, Митин вообразил, что я гостил на рыбацком складе, где у меня действительно был знакомый, и несу под полой бушлата ворованную горбушу. Это было отличное объяснение, до которого сам бы я не додумался. Мои мысли были еще далеко.

Посерьезнев, санитар сказал:

— Ты один-то через вахту не ходи, на ней Длясэбэ торчит. Наверняка обыскивать полезет. А постой возле наших, они сейчас очистку зоны снаружи заканчивают, и вали потом со всеми через ворота. Так оно вернее будет...

Я поблагодарил Митина за толковый совет и побрел в лагерь, от которого доносились уже голоса работающих. В его грубость, черствость, низменность мыслей и чувств.

## АМОК

Говорили, что боец вооруженной охраны Файзулла Гизатуллин питал к убийству врожденную склонность. Возможно, такая склонность в молодом татарине действительно была, и тогда можно думать о наследственности, восходящей ко временам Чингиза и Батыя. Но и в этом случае она вряд ли проявилась бы в простом и честном парне, если бы не сочетание целого ряда обстоятельств. На первом месте тут была резко выраженная истеричность характера Файзуллы, «истероидность», как выразились обследовавшие его впоследствии врачи-психиатры. Помножившись на найденный теми же врачами «комплекс неполноценности», она и привела Гизатуллина к хронической озлобленности, находившей выход в убийствах, благо они не только не возбраняются, но и прямо предписываются во многих случаях уставами вохровской службы. Тем более в таких лагерях, какими были лагеря Дальстроя.

В начале своей действительной службы в Красной Армии, по окончании которой он и завербовался на службу в ВОХР, Файзулла отличался от других новобранцев разве что крайней застенчивостью, доходившей порой до диковатости, да довольно плохим знанием русского языка. Было заметно, что татарин очень стыдится своего смешного русского произношения и болезненно самолюбив. Боясь насмешек над своим неправильным выговором, он впал в угрюмую молчаливость. С этого времени в красноармейце, а впоследствии вохровце Гизатуллине и началось, наверное, развитие его рокового комплекса.

Как и большинство малограмотных новобранцев, особенно из числа нацменов, он отличался избытком уважения к бук-

ве воинских уставов, неизменно категоричных и жестких, и словам начальственных наставлений. Числился он на самом лучшем счету у начальства, а по уменью стрелять в цель из винтовки имел даже звание ворошиловского стрелка.

Хотя возвращение в нищий поволжский колхоз не сулило Файзулле ничего особенно радостного, он думал о скором окончании действительной службы безо всякого сожаления.

Но когда до конца воинской службы Гизатуллина оставались уже считанные недели, в его часть приехал представитель какого-то страшно далекого лагеря для заключенных.

Предлагал вохровскую службу в лагерях какого-то Дальстроя этот вербовщик, однако, далеко не всем. Просматривая предложенные ему списки подлежащих демобилизации, он оставлял без внимания всех городских ребят. Да и деревенских, если они имели какую-нибудь специальность или образование, превышающее четыре начальных класса. Но больше всех других уполномоченного по вербовке в колымскую вохровскую службу интересовали чуваша, удмурты, буряты — словом, все те, кого до революции официально именовали иностранцами, а теперь, отнюдь не официально, называют зверями, не вкладывая, впрочем, в это слово ни враждебного, ни особо пренебрежительного смысла. Особенно привлекли к себе вербовщика анкетные данные и служебные характеристики Гизатуллина. Такие, как этот татарин, составляют обычно золотой фонд вооруженной охраны.

Файзулла от предложения ехать в неведомую Колыму сначала отказался. Там, в этой дали, ощущение своей чужеродности среди сослуживцев станет, наверно, еще сильнее. Однако с кандидатом в вохровцы последовали уважительные разговоры в кабинете самого политрука полка и даже с его участием. Гизатуллин вообще почти не мог противиться начальственным наставлениям и уговорам, а тут были не только убеждения в почетности и важности службы ВОХР, но и посулы материального характера.

А из колхоза пишут, что в иные годы получают на трудодень только двести граммов зерна, едят хлеб с лебедой, многие ходят в лаптях.

...Поколебавшись, Файзулла вдохнул и вывел каракули подписи внизу большего печатного бланка-договора бой-

ца вооруженной охраны СВИТЛ со своим нанимателем, государственным трестом строительства Дальнего Севера.

После короткой побывки дома и сбора в Москве завербовавшиеся в колымскую ВОХР десять дней ехали по железной дороге до Владивостока.

Затем потянулись недели ожидания парохода, следующего до порта Нагаево на Охотском море.

С будущими колымскими вохровцами в их казарме ежедневно велись политзанятия. Речистый, категоричный в своих определениях политрук объяснял: сейчас в Советском Союзе происходит ожесточенная классовая борьба, которая и впредь будет нарастать по мере успехов социалистического строительства в нашей стране. Ненавидящие это строительство внутренние классовые враги пытались, пытаются и будут пытаться его сорвать. Это закон, открытый великим Сталиным. Благодаря гениальной прозорливости вождя и доблестных советских чекистов, руководимых его другом и соратником Николаем Ивановичем Ежовым, преступные замыслы внутренней контрреволюции раскрыты. Шпионы, вредители и диверсанты схвачены и обезврежены. Те из них, кому советские карательные органы со свойственной им гуманностью нашли возможным сохранить жизнь, будут теперь сами работать на пользу социалистическому строительству. Но только на самой грубой и тяжелой физической работе и в самых отдаленных местностях Союза.

Но враги, конечно, так и остались врагами. Надлежит постоянно помнить, что и теперь они относительно безопасны, только находясь за колючей проволокой и на мушке винтовки лагерной охраны. Почетная задача постоянно держать дуло этой винтовки у виска заключенных врагов народа возложена на службу ВОХР, в которую вступают самые сознательные и классово безупречные из зачисленных в запас воинов Красной Армии.

А находясь на воле, вредители и диверсанты успели натворить немало пакостей советскому народу, хотя подорвать мощь первого в мире социалистического государства им не удалось. Все те трудности, которые испытывала и продолжает испытывать наша страна, связаны, главным образом, с подлой деятельностью ее внутренних врагов.

Гизатуллин, внимательно слушавший политрука, хорошо это понимал и вполне соглашался с внутренней политикой Сталина и его друга Ежова. Давно бы надо пересажать и перестрелять всех этих вредителей, которые довели положение на селе до того, что в колхозах почти повсюду нечего есть.

Политрук предупреждал еще, что многие из осужденных праведным пролетарским судом врагов народа прикидываются этакими овечками, невинно пострадавшими. Некоторые из них даже нагло клеветают на советское следствие и суд.

В первые дни после приезда сюда Гизатуллин невольно жалел людей, неделями валявшихся под открытым небом в грязи пересылки и даже на крышах уборных. Но теперь сострадание к ним сменилось чувством справедливого отмщения. Так им и надо, этим организаторам насильственной коллективизации, хронического голода, постоянной нехватки всего и вся! Неопределенная злоба, давно уже мучившая Файзуллу, теперь обретала адрес.

Из объяснений политрука выходило, что даже воры и бандиты в местах заключения сейчас едва ли не в чести. Они пользуются множеством льгот, на которые враги народа права не имеют. Если бытовик хорошо работает, то день заключения засчитывается ему за два и даже за три дня. Право занимать блатные должности в лагерях, вроде писарей, поваров, капте-ров и т. п., не говоря уж о таких начальственных должностях, как лагерный староста или нарядчик, имеют только уголовники. Только на них распространяется сейчас и право частной амнистии, и досрочное освобождение.

Файзулла считал подобные поблажки в отношении уголовных преступников ненужными и вредными. Для чего поощрять воровство, например? Он помнил, как в его детстве с бедного двора Гизатуллиных конокрады свели лошадь. Тогда их семья совсем захирела и целые годы не могла оправиться после этой потери. И про себя Гизатуллин решил: пусть его лагерное начальство покровительствует всякому вору и грабителям, но он им мирволить не станет, пусть эта шпана хоть трижды будет кому-то «социально близкой»!

Молодых вохровцев зачислили в охрану парохода, на который погрузили восемь тысяч заключенных. Служба в колымской ВОХР началась.



Гизатуллин получил назначение в дивизион золотого прииска Каньон. Он находился в самой глубине угрюмого горного края, во многих сотнях километров от Магадана, считая даже по прямой на карте.

Вместе с еще двумя десятками бойцов ВОХР Гизатуллин несколько дней ехал в открытом грузовике по Главному колымскому шоссе, здешней транспортной магистрали. Заключение-контрики придумали для него ехидно-иронические названия: шоссе Энтузиастов и сталинская Владимирка.

Пейзаж в районе прииска Каньон оказался необычно угрюмым даже по здешним понятиям.

Гизатуллину эта местность показалась и впрямь очень похожей на тот «край земли», о котором он слышал от своей бабушки, рассказывавшей ему в детстве страшные сказки о царстве злых духов. Но Файзулла не был наделен поэтическим воображением и чувствовал себя во власти вовсе не духов, а обострившейся здесь куда более злой тоски по родным местам и еще досады на самого себя. Зря, очень зря он не вернулся в родной колхоз!

На дне каньона находился приисковый полигон. Работали здесь почти одни только осужденные за контрреволюционные преступления, враги народа. Бригадиром в бригадах рогатиков, точнее надсмотрщиками над ними, были приставлены уголовники. Всем другим при назначении на должность бригадира лагерное начальство предпочитало бандитов и убийц-рецидивистов, так как они лучше других могли обеспечить выполнение бригадой производственного плана. Под их наблюдением бывшие вредители, террористы и диверсанты возили на отвал короба — огромные, заполненные породой деревянные ящики, поставленные на полозья. Другие, разбивая совсем уж неподъемные камни кувалдами, грузили их в эти короба, третьи били шурфы, то есть киркой и ломом выбивали в скальной породе неглубокие колодцы для закладки аммонита.

Заклученные работали без выходных и активированных дней, в любую пургу и мороз по двенадцать-четырнадцать часов в сутки.

Хлебный паек и жалкий приварок, который выдавался заключенным-работягам, даже если он не был штрафным, как

у большинства, вряд ли покрывал больше половины расхода мускульной энергии, необходимой для выполнения несуразных каторжных норм и борьбы с лютым холодом. Быстро и неумолимо наступало истощение, не позволявшее более достигать выработку до величины, обеспечивающей полный хлебный паек, и он немедленно урезался. Работяга окончательно слетал с копыт и переводился на смертный штрафной паек. И выдуманные враги народа угасали на бесчисленных каньонах не только тихо и безропотно, но и с некоторой пользой для социалистического отечества.

Зимой в здешних краях было темно едва ли не круглые сутки: Каньон находился почти на Полярном круге. Те три-четыре часа сумерек, которыми заменялся день в это время года, превращались в настоящую ночь из-за густого тумана, который выжимал из воздуха жестокий мороз. От этого мороза не могла, казалось, защитит никакая одежда. Он ощущался иногда даже не как холод, а как мучительное сжатие в каких-то тисках. Голова даже под теплой шапкой болела, как от надетого на нее железного обруча. Воздух казался колючим и застревал в бронхах. Поэтому дышать можно было только короткими, неглубокими вдохами.

На постах, где нельзя было развести костер, бойцы в такие морозы сменяли друг друга каждые два часа. Такая смена часовых в длиннополых тулупах поверх дубленых полушубков и в новых валенках происходила несколько раз, пока продолжался один бессменный рабочий день эсков, одетых в ватную рвань и обутых в утильные бурки. Удивительным было не то, что многие из них теряли сознание и умирали от переохлаждения, а другие получали жестокие обморожения, а то, что все они не погибали поголовно за один только подобный день. Кроме скрытой злобности и подлости, преступники обладали еще и удивительной живучестью. Вид их мучений не только не вызывал сострадания, но даже озлоблял бойцов еще более. И никто не понимал, что человек автоматически начинает ненавидеть того, кому он причиняет зло. Здесь же, кроме этого, в людях специально воспитывалась жестокость и ненависть, как воспитывается она в некоторых породах служебных собак.

Подобренные, как и всюду, главным образом по признаку малограмотности и невежественности, нередко связанных с природной тупостью, бойцы на Каньоне быстро дичали. Это одичание ускорялось еще почти полным отсутствием в этих краях женщин. Сытые и здоровые парни тосковали по ним, и от этого у некоторых просыпались скрытая до поры жестокость и садистские инстинкты. Обязанности конвоира нередко сочетались здесь с обязанностями палача.

Гизатуллин скоро стал одним из самых жестоких и злых вохровцев Каньона. Он мог часами держать на морозе две-три сотни своих усталых и голодных подконвойных только потому, что недосчитывался одного из них. При этом он знал почти наверное, что не явившийся на место сбора бригад после окончания работы заключенный просто свалился где-то от переохлаждения и замерз. Упавших на дорогу и не способных более двигаться татарин пинал ногами и бил прикладом, выкрикивая при этом срывающимся голосом нерусские ругательства, хотя тоже знал, что упавший всё равно уже не поднимется. Однажды он выстрелил в заключенного, свалившегося с края невысокого обледенелого откоса и откатившегося на два-три метра в сторону. Он имел право застрелить его на основе принципа: шаг влево или вправо из строя считается побегом, оружие пускается в ход без предупреждения. Хотя вскрытие показало, что смерть «беглеца» наступила не столько от пули, сколько от дистрофии и холода. У Гизатуллина с этого случая проснулась страсть к убийству. Стоя в оцеплении полигона, он зорко высматривал, не нарушит ли кто-нибудь из доходяг с полузатемненным сознанием условной зоны, пересечение границ которой давало бойцу право пускать в ход оружие. Мог татарин застрелить и отставшего от строя доходягу на том основании, что тот может идти, но придушивается.

Начальственные благодарности перед строем за очередное проявление бдительности и принципиальной твердости Файзулла выслушивал с непроницаемым выражением на своей полумонгольской физиономии. Похвалы его больше не радовали и только лишний раз бередили тоскливое чувство какой-то странной неуверенности, что он поступает правильно. Нельзя сказать, что это были угрызения совести, ведь проли-

тая им кровь была «черной». Но и она, оказывается, могла мстить за себя этой злой, неопределенной тоской.

Только раз, уже в конце второго года своей службы на Каньоне, Файзулла пожалел, что совершил промах, хотя стрелял в тот раз он вовсе не по врагу народа, как обычно. Это был самый настоящий друг народа, как называли некоторых из уголовников всё те же ироничные контрики. Выстрел по нему был оправдан куда менее, чем, например, приканчивание свалившегося под откос доходяги. Этот выстрел был одним из звеньев той цепи событий, подчас маловажных самих по себе, которые привели татарского парня к его трагическому концу. В промывочный сезон, самый ответственный на всяком прииске, рабочий день для заключенных удлинялся до шестнадцати и более часов. Что истощенные люди, да еще на тяжелой работе, продержаться столько времени без пищи не могут, понимало и лагерное начальство. Но терять драгоценное здесь теплое время на вождение заключенных в лагерь и обратно ради куска хлеба и миски баланды оно тоже не хотело. Поэтому в течение лета и хлеб, и баланду возили к ним на полигон. Стоя в оцеплении этого полигона, Гизатуллин ежедневно пропускал на него телегу с оцинкованным жбаном для баланды и несколькими мешками уже нарезанных паек. Лошадью правил немолодой, невзрачный с виду мужчина, исполнявший одновременно обязанности конюха при единственной лагерной лошадке, возчика и помощника лагерного хлебореза. Конечно, это был бытовик. Против его фамилии в коротеньком списке заключенных, имевших право на бесконвойное передвижение за пределами зоны, значилась статья 179-я Уголовного кодекса РСФСР. Файзулла знал, что статья 58-я является самой тяжелой из всех и означает контрреволюционное преступление, 132-я – воровство, 136-я – убийство. Всё, что не было 58-й, сливалось в довольно серое понятие бытовых статей. Потому Гизатуллин, уже довольно много времени спустя после того как невзрачный возчик примелькался ему в ущелье Каньона перед въездом на полигон, поинтересовался, и то довольно вяло, что означает статья 179-я. Оказалось – конокрадство.

Вон оно что! Смирный с виду мужик-возчик был одним из тех, кто безжалостно обездоливает бедных крестьян! В татарине вспыхнула мстительная ненависть. Это была не обобщенная, полуказенная ненависть к врагам народа, а вполне конкретная и острая, как будто именно этот конокрад свел лошадь у покойного уже отца Файзуллы.

В принципе тот действительно мог быть им, так как досиживал последний год из десяти лет срока, полученного им еще до коллективизации за кражу лошадей. К конокрадам, особенно в те годы, советское законодательство относилось гораздо суровее, чем к представителям всех других воровских профессий. Как-то особняком стояли конокрады и в лагере. Ни блатная хевра, состоявшая главным образом из городских, ни лагерные придурки их не жаловали и в свои общества никогда не принимали. И городских воров и лагерную аристократию шокировала специфически деревенская конокрадская статья.

Поэтому, хотя бывший конокрад за свой почти уже десятилетний срок не так часто вкалывал на общих, составлявших удел осужденных контрреволюционеров, на теплых местечках в лагере он кантовался редко. Как и здесь, он обычно работал возчиком. Конкурентов на занятие этой должности у него не было. Настоящие лагерные придурки ею гнушались, блатные обращаться с лошадьми не умели, а о доверии коня врагам народа не могло быть и речи. Работа на лошади была не очень легкой и не слишком сытной. Вот только сейчас, когда помощника старшего хлебореза на время промывочного сезона угнали на полигон, его замещал по совместительству всё тот же возчик. Тут можно было, конечно, есть хлеб от пуза, но за это хитрый и обленившийся старший хлеборез нещадно эксплуатировал своего временного помощника.

Проезжая, как обычно, к обеденному перерыву на полигон мимо стоявшего на своем посту попки-нацмена, возчик, конечно, не заметил, как недобро вслед ему у того сузились монгольские глаза. А на обратном пути в лагерь тот же часовой неожиданно загородил ему дорогу:

— Стой, давай пропуск!

— Какой пропуск? — удивился возчик. — Я ж в списке...

— Ничего не знай... Пропуск!

По действовавшему официальному положению о бесконвойном хождении заключенных каждый из бесконвойников был обязан иметь при себе пропуск, в котором указывалось, по какому маршруту и в какое время суток ему разрешалось такое хождение. Однако в местах, подобных Каньону, где злоупотребить правом выхода за зону было практически невозможно, это положение обычно не соблюдалось. Податься здесь было некуда, небольшое число расконвоированных отлично знали в лицо все постовые, у каждого из которых имелся их список. И пока заключенный значился в этом списке, его не задерживали. Возиться же с выдачей настоящих пропусков местное начальство просто не хотело. С командованием дивизиона неофициально это согласовывалось. Рядовые бойцы о нарушении довольно важной инструкции, конечно, знали, но им-то было всё равно. Поведение часового казалось совершенно необъяснимым.

— Да я ж работягам пайки возил, гражданин боец!

— Возил, хорошо! А теперь пропуск давай!

— Да нет же пропуска, вы знаете...

— А нет, отъезжай вон туда и жди разводящего!

— Так мне ж в лагерь надо, пайки нарезать!

— Разводящему скажешь... Отъезжай!

— Так работяги ж голодными останутся...

Часовой отступил на шаг и взял винтовку наперевес.

— Выполний приказание!

Возчик сокрушенно отъехал в сторону. Какая муха укусила этого попугая? Просто вредный дурак? Но прежде он никогда не придирался к отсутствию пропуска и с явным равнодушием пропускал повозку на полигон и обратно. Выходит, взъелся на него за что-то... Но за что?

«Разводящему скажешь...» Тот, конечно, прикажет пропустить возчика с его повозкой. Но это произойдет не раньше чем к вечеру. И тогда уже никак не успеть, даже вдвоем со старшим хлебоборезом, разрезать и развесить на мелкие пайки добрых полтонны хлеба для вечерней раздачи. Ведь этот хлебоборез, надеясь на своего прилежного помощника, небось спит сейчас или режется в козла с нарядчиком. Паек для вернув-

шихся с работы ээков не хватит, поднимется страшный скандал.

А вину за него хлеборез и его дружки, главные лагерные придурки, с которыми он мухлюет хлебом, свалят перед начальником на возчика. Запропастился, мол, куда-то до самого вечера. Можно, конечно, объяснить, что его задержал постовой из оцепления полигона. Но это самый короткий путь вылететь не только из хлеборезки, но и с должности «водителя» лагерной кобылы. Какой же ты, к черту, придурок, если с бойцом общего языка найти не можешь, даже числясь в списке имеющих свободное хождение? Другие-то этот язык находят! А управы на постового по официальной линии быть не может, формально он прав... Предстояла куча неприятностей. И всё из-за этого узкоглазого дурака, которому попала сегодня какая-то вожа под хвост...

Ишь, стоит, как истукан, со своей винтовкой! Эти звери — находка для лагерного начальства. Такому пришить человека — всё равно, что кочан капусты срубить. А попытаться его упротить или урезонить — то же, что порохом в стену стрелять...

А что если дать от него стрелача? До выхода из Каньона каких-нибудь двести метров. Поворот налево — и попка останется с носом! Если часовой подаст на возчика рапорт, что тот не послушался его приказа, можно будет ответить, что такого окрика он не слышал. Спешил-де на работу в лагерь и за стуком копыт не расслышал. Да и кто мог думать, что следующего по своему обычному маршруту бог знает в который раз лагерного хлебовоза постовой вздумает задержать? А что он лошадь выпряг и верхом скакал, так это по соображениям всё той же скорости... Выстрел слышал (на случай, если татарин всё же выстрелит), но считал, что это к нему отношения не имеет...

Объяснение будет, конечно, типично конокрадским: «Ночка была темная, а кобыла черная, уж и не знаю, как она у меня между ног очутилась...»

Но опер и начлаг примут любое, поскольку будут на его стороне против формалиста попки. А в душе даже похвалят за лихость и находчивость.

Сейчас сделать это можно почти безопасно. Взять с места в карьер вон оттуда, где под стеной ущелья растет немного травы, и скакать впритирку к этой стене. Пока часовой опомнится, половина расстояния до поворота будет уже позади. Потом он даст предупредительный выстрел – без этого нельзя. Потом перебежит на другую сторону Каньона, но к этому времени умный беглец будет уже за поворотом...

Возчик, до этого меланхолично копавшийся в лошадиной упряжке, подошел к постовому на дозволенное расстояние и почтительно снял шапку.

– Гражданин боец!

– Ну? – Гизатуллин смотрел в сторону и всем своим видом показывал, что разговоры с ним о разрешении ехать в лагерь бесполезны.

– Разрешите лошадь вон туда отвести, – возчик показал рукой на место в направлении выхода из Каньона, – пусть попадется...

Конокрад, оказывается, неожиданно быстро смирился с необходимостью торчать тут, срывая работу по заготовке паек. Думает, наверно, что сегодняшней задержкой дело и ограничится. Нет, это повторится и завтра и послезавтра, пока негодяй не потеряет свою бластную работу.

Файзулла, прищурясь, посмотрел в сторону, куда показывал возчик. Там, под стеной Каньона зеленело несколько чахлах кустиков травы. Потом пожал плечами – пастбище было не ахти какое, – но махнул рукой: разрешаю, мол.

Конокрад не торопясь выпряг лошадь и отвел ее к стене ущелья. Некоторое время Гизатуллин смотрел, как он похлопывает по шее пасущееся животное, а потом повернулся в другую сторону.

Через минуту постовой услышал громкое гиканье и топот лошадиных копыт. Ухватившись за гриву и пригнувшись почти к самой этой гриве, беглец отчаянно колотил свою лошадку ногами.

– Стой!

Эхо выстрела гулко загуляло между стен Каньона и по окрестным сопкам. Второй выстрел Гизатуллин сделал из положения лежа, так почти не мешали выступы на стене



ущелья, но лихой конокрад уже сворачивал на дорогу к лагерю.

— Ах, шайтан! — Стрелок злобно стукнул прикладом по камню под ногами, он думал, что промахнулся. Гизатуллин не мог видеть, как уже за поворотом лошадка запрыгала как-то по-лягушачьи и через несколько шагов упала, подмяв под себя всадника. Раскаты выстрела заглушили и ее жалобный, тоненький вскрик, когда пуля угодила ей в бок, прострелив навывлет.

Нет ничего проще, как списать погибшего в лагере заключенного.

Другое дело — лошадь, как и всякая материальная ценность, она занесена в бухгалтерские книги с точным обозначением ее стоимости в рублях и копейках. Оформить исчезновение этой ценности так просто, как оформлялось исчезновение из жизни человека, было нельзя. Там хватало клочка бумаги, нацарапанного лагерным лекпомом. Здесь был необходим обстоятельный акт, составленный авторитетной комиссией при обязательном участии ветеринарного врача и свидетелей гибели животного. Следовало установить, по какой статье должны быть списаны понесенные лагерем убытки и кто несет за эти убытки персональную ответственность.

Начальство, лагерное и конвойное, злилось одинаково сильно на обоих дураков, бойца и заключенного. Формально, однако, обвинить их было трудно, по крайней мере, без неприятностей для самого начальства. Постовой ссылался на инструкцию о пропусках для бесконвойных, которую здесь нарушали; заключенный дал свое конокрадское объяснение, опровергнуть которое было нечем и незачем. Кроме того, конокрад был и так достаточно наказан за рецидив своей былой лихости. С простреленной ногой он лежал в лагерной больнице. Гизатуллин не только не сожалел о случившемся, но испытывал на этот раз настоящее удовлетворение. Он отомстил-таки ненавистному конокрадному племени за старое горе своей семьи. И притом гораздо лучше, чем рассчитывал. Жаль только, что взял слишком низко и ни за что сгубил бедную животину.

Историю с подстреленной лошадейю как-то замяли. Но вскоре после нее Гизатуллин получил приказ отправляться в Магадан, в распоряжение главного штаба ВОХР.

Вообще-то в этом не было ничего чрезвычайного. Перемещение бойцов охраны производилось постоянно и преследовало несколько целей. Прежде всего, нужно было периодически разрушать связи, неизбежно устанавливающиеся между людьми, даже если один из них заключенный, а другой охранник. Затем, было бы несправедливо одних бойцов держать всё время в таких гиблых местах, как прииск Каньон, а других где-нибудь при сельхозлаге, например, в южной части края. Это гуманное соображение подкреплялось другим, куда более важным с точки зрения главного вохровского начальства. В сельхозлагерях Дальстроя, как и всюду в лагерях легкого труда, режим был неизбежно слабее. Постепенно в них распускались не только заключенные, но и бойцы местных охранных дивизионов. Поэтому считалось полезным время от времени производить замену обленившихся и ставших не в меру благодушными охранников лагерей-«курортов» их озверелыми товарищами из лагерей основного производства. Это всегда способствовало восстановлению необходимой жестокости режима. Наконец, в отдельных случаях, к таким следовало отнести и случай Гизатуллина на Каньоне, действительной причиной удаления бойца из местного дивизиона была его нежелательность для начальства. Это был далеко уже не тот парень из колхоза, который внимал во времена своей службы в армии каждому слову командира как откровению или повелению свыше. Теперь он мог проявить иногда избыточную принципиальность, основанную на слишком буквальном толковании устава. И трудно было понять, отчего это происходит — от глупости или от затаенной хитрости. Лучше избавиться от него под таким благовидным предлогом, например, как его болезненная нервозность. Тем более что списание лошади производилось далеко не в точном соответствии с действительными фактами.

В Магадане боец из Каньона прошел медицинскую комиссию. Врачи нашли у молодого и внешне очень крепкого парня выраженные нарушения рефлексорных реакций и все

другие признаки нервного истощения. Было решено отправить его в охрану недалекого сельскохозяйственного лагеря, откуда как раз поступила заявка на нескольких бойцов.

Когда невысокий скуластый парень с монгольскими глазами отошел от стола, председатель комиссии сказал вполголоса, обращаясь к своим коллегам:

— А нервы у этого татарина как у истеричной дамы... Не хотел бы я попасть к такому под охрану..

Галаганский сельхоз расположился на тех самых охотских берегах, которые почти два года назад поразили новичков на Колыме своей угрюмостью и чуждым видом. Правда, тогда была осень, а сейчас стояла только вторая половина лета. Но и в равных погодных условиях после Каньона с зубчатыми вершинами его мертвых сопков, казавшихся бастионами свирепых джиннов, здешняя местность выглядела почти приветливой. Совхоз с его полями, фермами и поселком вольных расположился в широкой долине реки Товуя, впадающей здесь в море. В той же долине находились и лагерь и казарма для охраны. Были здесь, конечно, и неизбежные сопки. Но они не лезли в глаза, как в других местах, так как с одной стороны долины были едва видны из-за расстояния, а с другой спускались к широкой реке. Сплошные заросли стланика на их склонах делали эти сопки красивыми и почти веселыми. По крайней мере, в погожие летние дни.

Со стороны моря, до которого здесь было всего километра три, горизонт был совершенно открыт. До службы на Каньоне Файзулле и в голову не приходило, до чего важно для равнинного человека видеть эту линию границы земли и неба. Казалось, что легче было даже дышать, как будто от входа в подземелье отвалили закрывавший его камень.

Совершенно другими, чем на прииске, были здесь и заключенные. Движущихся скелетов с потухшими глазами здесь не было видно совсем. Полевые работы, хотя принято считать, что крестьянский труд один из самых тяжелых, это далеко не то, что каторга рудников и присков. А главное, заключенных здесь досыта кормили. Было еще одно обстоятельство, которое может заметить только человек, долго проживший в мест-

ности, где не было женщин. Здесь они встречались на каждом шагу — и вольные и заключенные. И не будь Гизатуллин человеком аскетического склада, с фанатично инквизиционным представлением о роли лагерей, он бы, подобно всем попадавшим в эти места из колымской глубинки, такому обстоятельству только порадовался бы. Но Файзулле вид некоторых здешних лагерниц показался почти разухабистым для заключенных. Ведь они присланы сюда отбывать наказание, а не стрелять глазами в незнакомых мужиков!

Правда, по рассказам старослужащих здешней охраны, положение заключенных, да и не только их одних, резко ухудшилось со времени появления нового начальника лагеря. Он тут недавно, но уже успел проявить себя как почти чокнутый на строгостях лагерного режима. Хочет добиться таких же порядков, которые существуют в горных лагерях. Но там это образуется как бы само собой из-за сурового климата, трудностей снабжения, тяжести работы и прочего. Здесь же новый начлаг пытается организовать подобные условия искусственным путем. Он какой-то малахольный, этот начлаг. За приписку, которую он употребляет к месту и не к месту, заключенные прозвали его Повесь-чайник.

Всех зэков этот Повесь-чайник старается загнать под конвой. Это в совхозе, в котором на целые километры вдоль Товуя разбросаны поля и фермы, сенокосные угодья, лесоповальные участки, рыболовецкие пункты... Ничего путного из этого, конечно, не получается, одна только вредная канитель, особенно для бойцов здешнего дивизиона.

Раньше для них тут была служба не бей лежачего. Обязанности конвойных бойцы несли больше формально. Примешь, скажем, полевую бригаду на разводе утром, проводишь ее к полям за поселком и: «Разойдись по местам!» Зэки разбредутся по своим работам, а ты идешь себе к казарме и делаешь что хочешь до вечера. А в конце рабочего дня приведешь зэков на место сбора — все они, конечно, уже там — и: «В лагерь шагом марш!» Вот и вся работа, если не считать постов на вышках. Но их тут всего две. Ну а теперь по милости этого Повесь-чайника, черт бы его побрал, приходится в любую погоду целый день и в поле и в лесу торчать рядом с заключенными.

И ведь забота-то у нового начлага вовсе не о том, что заключенные могут куда-то убежать! Бежать с Колымы некуда. Кругом, как говорится, вода, а посередке беда... Но беда эта для заключенных здесь куда меньше, чем в других местах. Почти все они мечтают весь срок отбыть в сельхозлагере да и потом здесь остаться, даже при тех порядках, которые наводит сейчас нынешний начальник лагеря. Впрочем, считалось, что Повесь-чайник слишком многих восстановил здесь против себя, чтобы долго продержаться.

Больше половины здешних заключенных — женщины. Эки-мужчины чуть не сплошь совсем уж пожилые или инвалиды. Молодых мужиков, после того как они немного оправятся после горных, здесь не держат, если у них тяжелая статья и длинный срок.

Главная забота у нынешнего начальника о другом. Он хочет сделать так, чтобы здешние лагерные мужики и бабы не могли любовь крутить ни между собой, ни тем более с вольниками из поселка. Ее, конечно, крутили и крутить будут. Но раньше, если кто-нибудь из заключенных горел на этой любви, то спроса с его конвоира не было. Даже если допустить, что охранник и находится при своих подконвойных, разве может он уследить за всеми в поле, пересеченном заросшим тальником, речушками и протоками, изгородями, защитными кустарниковыми насаждениями, канавами? Но теперь Повесь-чайник сам неслышно и незаметно бродит по окрестностям, как кот, высматривает, не шмыгнула ли какая пара в кусты. Во всех бригадах он завел стукачей, которые ему докладывают, кто с кем уединяется и какой из конвоиров этому попустительствует. На бойца накладывает взыскание, а некоторых уже отправил отсюда в дивизионы горных лагерей. Прежнего командира здешнего дивизиона по рапорту того же начлага сместили. Теперь какой-то новый, во всем согласный с Повесь-чайником молокосос Новая Метла. Вдвоем они наводят тут и новые порядки. Скоро, видно, доберутся до всех бойцов, которые служат здесь сколько-нибудь давно. Его, Гизатулина, тоже прислали для замены одного парня, которого заподозрили не только в попустительстве по отношению к жен-

щинам-уголовницам, но и в связи с одной из них. Новичок, конечно, тут ни при чем, его дело служить, где скажут...

Но разговоры о Повесь-чайнике, Новой Метле на должности командира здешнего дивизиона и новых порядках были далеко не главной темой в казарме галаганских вохровцев. Гораздо охотнее бойцы говорили о здешних лагерницах-блатняхках, составлявших, по их определению, около третьей части всех женщин-заключенных в местном лагере. Из-за них-то и горел главным образом сыр-бор. Правда, основную массу хлопот и неприятностей лагерному начальству и конвою доставляет только небольшая часть этих женщин. Но возни и хлопот с кучкой отчаянных баб больше, чем со всеми остальными заключенными здешнего лагеря вместе взятыми. «Ну и оторвы!» — крутили головой вохровцы, но с таким видом, что понять, возмущаются или восхищаются они поведением этих баб, было невозможно.

Тема об «оторвах» казалась неиссякаемой. Обычно в разговоры о них вступали все, кто оказывался поблизости. Правда, говорили вполголоса, озираясь по сторонам и часто давясь от смеха. Прежде Файзулла и вообразить себе не мог большей части того, о чем узнавал теперь. Он счел бы всё это выдумкой или, по крайней мере, крайним преувеличением, если бы еще кто-нибудь удивился услышанному. Но рассказы о подвигах и непристойных выпадах блатнячек воспринимали здесь как нечто самое обыкновенное и разве только более обычного смешное. И никто поведением женщин особенно не возмущался, даже те, кто в результате очередного фортеля неумных и развратных баб сам получал крепкий нагоняй, а то и обещание быть отправленным отсюда к черту на кулички.

Почти все рядовые вохровцы здесь были холостяками. Возможность обзавестись семьей для подавляющего большинства бойцов на Колыме оставалась чисто теоретической. Такие места, как галаганский совхоз и еще два-три таких же, на громадной территории Дальстроя были лишь островками среди океана здешнего «безбабья».

Незаконная связь вольнонаемного с лагерницей, хотя формально считалась преступлением, рассматривалась обычно только как проступок с его стороны, если вольняшка был

гражданином, так сказать, второго сорта, тоже отбывшим срок в лагере. Если же он в заключении не был, то такая связь накладывала серьезное пятно на его политическую репутацию, особенно если это была связь с контричкой. Для членов партии и комсомола она влекла за собой безусловное исключение из этих организаций. Бойцу ВОХР такая связь угрожала судом военного трибунала. В лучшем случае, если вохровское начальство с немалым риском для себя решало дело до суда не доводить, провинившегося отправляли в такую дыру, благо в Дальстрое всяких дыр было не счесть, где, походящему здешнему выражению, десять лет ни одной живой бабы не увидишь.

В результате всех этих уродливых искажений жизни, возможности удовлетворения полового инстинкта для сытых, здоровых и почти бездельничающих вохровцев-холостяков в Галаганнахе почти не было. Близость распущенных, отчаянно сквернословящих, в принципе более чем доступных и все же остающихся запретным плодом женщин, конечно, разжигала эти инстинкты и усиливала обычную казарменную тягу к скабрёзным историям. В их выдумывании тут необходимости не было, похождения местных блатнячек чуть ни ежедневно давали более чем достаточно пищи для подобных историй.

Оказалось, что здешние бойцы давно привыкли ко всяким шуточкам и выходкам своих подконвойных даже в собственный адрес. И добро бы только к скабрёзным. Нередко они были и по-настоящему оскорбительными. И конвоиры это не только сносили, но и сами отвечали бабам непристойными шутками, конечно, только тогда, когда поблизости не было начальства или посторонних. За сотую долю того, что бойцы прощали женщинам, каждый из них избил бы прикладом заключенного-мужчину или подал на него рапорт за нарушение в строю дисциплины. Файзулла этого понять не мог, так же как и терпимости своих новых товарищей к здешним порядкам вообще. Лагерь должен быть лагерем. В душе он был вполне согласен с намерениями нового начальства, которое именно за это так здесь невзлюбили.

И уж совершенно за пределами понимания деревенского парня из магометанской семьи была терпимость бойцов к падшим женщинам. Мужчине сносить оскорбления от какой-ни-

будь воровки или проститутки, твари, которая и права жить на свете не имеет?! Файзулла слушал рассказы о здешних бабах хмуро и неодобрительно. А однажды, прослушав чей-то рассказ о том, как одна из его подконвойниц под хохот остальных, раздевшись до пояса, дразнила его великолепной грудью: «Эй, гражданин боец! Слабо поцеловать, а?» — он не выдержал: «Чего слушаешь? Стрелять таких надо!»

Все перестали смеяться и уставились на Гизатуллина как на дурака. Гляди, какой шустрый выискался! Здесь, если на каждый бабий выкрик стрелять будешь, патронов не напасешься! Вслух тогда никто ничего не сказал. Но после этого замечания строгого татарина разговоров при нем о бабах больше не велось. Дурак нередко оказывается еще и стукачом.

А свои люди в казарме ВОХР у нового командира здешнего дивизиона, наверно, были. Во всяком случае, оказалось, что о настроениях своего нового бойца, уже несколько дней несшего дежурство на лагерной вышке, он знает. Выслушав от Гизатуллина обычное: «Явился по вашему приказанию, товарищ младший лейтенант!» — командир дивизиона поднялся ему навстречу, подал рядовому бойцу руку и пригласил сесть. Затем он сказал, что возлагает большие надежды на вновь прибывающих бойцов, прежде всего на таких, как товарищ Гизатуллин, по части укрепления дисциплины в своем отряде и восстановления режима в здешнем лагере.

Особенно скверно обстоит дело с режимом в женской штрафной бригаде. В таких бригадах он должен быть достаточно жестким, иначе перевод в них нарушителей установленного порядка теряет всякий смысл. Но если у мужчин-штрафников некоторый порядок навести уже удалось, то в бригаде самых отъявленных здешних нарушительниц особыми достижениями покамест похвалиться нельзя. Всё из-за попустительства здешних бойцов, которых приучило к этому их прежнее начальство. Они привыкли смотреть на обязанности конвоиров почти как на пустую формальность. Позволяют, например, штрафным, которые должны сидеть на урезанном хлебном пайке, получать передачи от своих дружков на поселке. Случается, что такие «не замечают» даже свиданий своих подконвойниц с мужчинами. Некоторые — тут командир понизил го-



лос — и сами подозреваются в связях с заключенными женщинами. Такие, конечно, откомандировываются отсюда, хотя некоторых из них следовало бы, пожалуй, отдать под суд.

А вот в твердости и принципиальности товарища Гизатуллина командир дивизиона уверен. Он не сомневается, что это и есть тот человек, который необходим тут для конвоирования женской штрафной бригады. В этом командира убеждает и личное впечатление от нового бойца, и его служебное дело. Принять свою бригаду ему надлежит уже завтра, на утреннем разводе.

Но, уже разыскивая разводящего, он как-то засомневался в почетности полученного сейчас поручения и почувствовал, что предпочел бы ему любое другое. Трудно было отделаться от впечатления, что вооруженному мужчине почти зорно охранять женщин. Такому настроению Гизатуллин пытался противопоставить всё сказанное младшим лейтенантом и собственное убеждение в том, что здешних блатнячек надо как следует одернуть. Он их поставит на место, этих избалованных попустительством прежних конвоиров преступниц, забывших, что они несут здесь наказание за свои скверные дела! И притом гораздо меньшее того, которое заслужили. Гизатуллин не сомневался, что закон по отношению к ворам и прочей шпане слишком мягок.

Громче и пронзительнее голосов женщин в лагерном кондее, по-блатняцки — карцере, был, наверно, только гвалт птичьего базара на прибрежных скалах в устье Товуя. Если в этом шуме и можно было различить иногда отдельные слова, то почти все они относились к разряду самых «последних» или весьма близких к ним. Женская штрафная бригада готовилась к выходу в лагерную столовую и оттуда на развод. Уже около двух недель эта бригада в полном составе была выселена из общего барака в женской зоне и водворена в кондей.

Эта изоляция самых отчаянных здешних отказчиц и потаскушек от их окружения не только на работе, но и в зоне была, наверно, самым чувствительным ударом, который нанес им новый начальник лагеря. Повесь-чайник планомерно разрушал одну за другой все преимущества галаганского сель-

хозлага, создавшие ему славу «зэковского рая» от Охотского моря до моря Лаптевых.

За отказ от работы и связь женщин с мужчинами накладывали, конечно, взыскания и прежние начальники. Но что это были за взыскания? Три, от силы пять суток кондея с выводом на работу. Блатнячки смеялись, что им всё равно где работать, лишь бы ничего не делать. Наказанных карцером уводили в него только после отбоя, да еще разрешали захватить с собой одеяло и подушку. А что касается штрафного пайка для отказчиц, то он отражался разве что на бланках котловок в лагерной бухгалтерии. Не только опытные сердцеедки, имевшие многочисленных дружков и среди лагерных придурков, и на поселке, и даже в отряде ВОХР, но и те, что честно вкалывали за начальничкову пайку, никогда прежде здесь не голодали. Даже когда появился этот чертов Повесь-чайник и основательно прижал заключенных по всем статьям, его реформы почти не отразились на благополучии лагерных шмар. Тогда самых активных из них выделили в особую бригаду и взяли под конвой. Возможность уединиться с кем-нибудь из богатых клиентов для них резко снизилась. Но те помнили счастливое прошлое и надеялись на лучшее будущее. Поэтому некоторое время продолжали носить своим подружкам и их товаркам го-стинцы на то место в поле, где они «откатывали вручную солнце» или разгоняли по этому полю дым от костра. Повесь-чайник ответил запретом не только принимать передачи на месте работы, но и подходить посторонним на винтовочный выстрел к тому месту, где находилась штрафная бригада. Но он не мог конвоирам запретить смотреть как раз в другую сторону, когда какой-то случайный прохожий ронял невдалеке от этой бригады пакетик или узелок. Узелок непременно заваливался в кустик или под кочку, и женщины так же случайно находили его через несколько минут, чего конвойный опять не замечал. Но самых покладистых из бойцов начали переводить на другие посты, а некоторых и вовсе угонять отсюда: по-видимому, в бригаде завелись стукачи. Тех, которые их сменили, благодетельная конвоирская слепота уже почти не посещала. Бригадницы, правда, продолжали еще находить иногда под кустами свертки со съестным. Но теперь и впрямь только тогда, когда конвоир

зазевался. А главное, эти свертки становились всё более редкими и тощими. Бывшие клиенты из вольных почти уже потеряли надежду на поставку женской любви из лагеря в сколько-нибудь определенном будущем.

Место булок и масла в рационе лагерных красючек всё больше занимали хлеб-чернушка и суп из общей тошниловки. Да и то при условии, что кто-нибудь из придурков сумеет обмануть бдительность дежурного надзирателя. Блатнячки уже не швыряли на глазах у начальства свои «трехсотки» в угол. Многие из них впервые за свой срок начали по-настоящему ощущать голод. Особенно после того, как из общего барака штрафниц отселили в карцер. Ходить по лагерю им теперь совсем не разрешалось. Столовую для получения своего скудного рациона они посещали под конвоем надзирателя только всей бригадой и только когда там никого больше не было.

Для галаганского лагеря подобная изоляция большой группы заключенных была новостью, хотя почти всюду в других местах она являлась обычной принадлежностью режима. Для этого служили БУРы (бараки усиленного режима), находившиеся в особых зонах и особо охраняемые. Здесь БУРа не было, и это упущение сейчас наверстывалось срочным строительством двух БУРов, мужского и женского.

Штрафники теперь даже хотели, чтобы строительство поскорее закончилось. В бараках будет хоть попросторнее, чем в тесных камерах изолятора, как официально именовался лагерный карцер. Мужскую штрафную бригаду угнали, правда, на далекую лесную командировку. Женщин отправить было некуда, и после ночи, проведенной в тесноте и духоте кондея, они толкались в узком проходе между стеной и нарами, мешая друг другу и отчаянно матерясь по всякому поводу и без повода.

Женщины-уголовницы сквернословят гораздо больше, чем самые заядлые матерщинники-мужчины. Это один из способов проявления лихости и принадлежности к блатной касте.

Ругань и сквернословие среди блатных женщин сами по себе еще не служат признаком особого раздражения и дурного настроения. Но сейчас в штрафной бригаде было и то и другое. Ошутимо сказывалось голодание, ночи, проводимые в тес-

ном карцере с его клопами и парашной вонью, скучное торчание в поле с раннего утра и до позднего вечера без возможности даже перекликнуться с каким-нибудь мужичонкой. Поэтому в обычно бессмысленной ругани блатнячек теперь часто слышалась и неподдельная злость, переходившая иногда не только в ссоры, но и в драки.

Штрафницы торопились. Вот-вот должен был явиться надзиратель, чтобы отвести женщин в лагерную столовую за получением начальничковой трехсотки и миски супа, в котором «крупина за крупинкой гоняется с дубиной». Теперь этими дарами лагеря они отнюдь не пренебрегали. После столовой под наблюдением того же надзирателя бригаду вели на развод и ставили в самый хвост. Штрафницы выходили на работу последними.

Из всей бригады не проявляли никакой суетливости только две женщины, и в остальном совершенно не похожие на всех других. Они встали и умылись раньше прочих и теперь сидели рядышком на краешке нар, старая и очень молодая. Пожилая, крестообразно сложив на коленях загрубелые руки, что-то шептала тонкими бескровными губами. Молоденькая сидела потупясь, как будто разглядывая свои огромные, совсем не по размеру ее маленьких ног, грубые лагерные башмаки.

— Эй, святые! — крикнула дородная, полуголая, густо татуированная девка с пышной грудью, которой другая сливала над парашей воду. — Как думаете, будет мне на том свете скидка за эти титьки? Без греха ведь с такими всё равно не проживешь?

Это была Аня Откуси Ухо, лихая, веселая и остроумная баба. Кругом визгливо захохотали.

Старуха продолжала неслышно что-то шептать, молодая потупилась еще больше.

— Не мешайте святым молиться! — сказала маленькая и чернявая блатнячка, лицом и быстрыми, вихлястыми движениями чем-то смахивающая на обезьянку. — Может, они своего бога молят, чтобы он нам жратвы мешок и во таких мужиков послал... — Чернавка сделала непристойный жест. Смех стал еще грубее и громче.

— Гляди, Макака, вот скажу Богине, что ты святых обижаешь, она те чертей пропишет! Не посмотрит, что ты у нее шестеришь... — Лицо и губы у Бомбы были пухлыми и казались надутыми, как у обиженного ребенка. Но ее глаза смотрели решительно и мрачно. Невысокая, по-мужски широкая в плечах, она и в самом деле отличалась редкой для женщины силой. А главное, Бомба обладала решимостью и незаурядной смелостью, доходящей подчас до отчаянности. Эти качества в сочетании еще с предприимчивостью сделали ее одной из главных заводил женской части галаганской хевры. За это ей прощали даже нетерпимую для законницы, т. е. профессиональной уголовницы, строго соблюдающей неписаные законы и традиции воровского общества, любовь к вохровскому солдату. Тем более что за эту любовь бывший конвоир женской штрафной бригады был очень покладистым и по отношению ко всей этой бригаде. Никто из блатных, конечно, слыхом не слыхивал, ведать не ведал, что там было у Бомбы с ее вохровцем. Но с неделю назад его перевели на другой пост, потом с попутной баржей и вовсе отправили куда-то далеко отсюда. Для бригады это было большой бедой, так как охранников теперь меняли чуть не каждый день, они, видимо, были порядком напуганы, и получать гостинцы от вольняшек удавалось лишь изредка и с трудом. Бомба же переживала разлуку со своим любовником и вовсе тяжело. Как всегда, это выражалось у нее в виде повышенной агрессивности и склонности лезть в драку. Теперь вот взяла под защиту «святых», до которых, вообще говоря, ей не было дела.

Понимала это и Макака. И хотя, несмотря на свою плюгавость, всякой другой бы она ответила дерзостью, тут сделала вид, что ищет что-то под нарами: «Кто их трогает, твоих святых?» С Бомбой шутки были плохи.

Одна из «святых» была евангелисткой, другая — субботницей. В штрафную бригаду эти женщины попали за отказ от работы, хотя работниц трудолюбивее их во всем лагере не было. Дело шло об отказе работать в праздники. Одна считала грехом выходить на работу в субботу, другая — в воскресенье. И хотя в течение остальных дней недели они в три раза перекрывали недовыработку, образовавшуюся в результате их про-

гула, сломить религиозный фанатизм сектанток лагерное начальство считало своей политической обязанностью, как средневековые инквизиторы — упрямство еретиков.

Те отвечали героической принципиальностью, вряд ли даже связанной с подлинной убежденностью, что религиозный запрет не может быть нарушен никогда и ни при каких обстоятельствах. Позиции отказчиц, как блатнячек, так и религиозных, при всем различии их морали и психологического склада сходились на принципе «не поддадимся!». Если взглянуть на дело с точки зрения практического смысла, то его в поведении блатнячек было не больше, чем у фанатичек-сектанток. Работа в поле или на ферме, выполняя которую здешние заключенные жили в относительно человеческих условиях, вряд ли была труднее, чем целодневное сидение на том же поле под холодным дождем, на голодном пайке, с последующей ночевкой в карцере. Но смириться перед репрессиями, быть загнанными в стадо покорных рогатиков означало бы капитуляцию принципиальных бездельниц перед антихристом лагерной дисциплины. Твердость иных уголовных законников в их отказе подчиниться этой дисциплине многих из них доводила до гибели от истощения. Их вера имела своих мучеников не меньше, чем всякая другая.

— Вылетай в столовую! Быстро! — За открывшейся решетчатой дверью в коридор стоял дежурный по изолятору.

Тимкова по прозвищу Богиня, рослая высокогрудая красавица русского типа, полулежала на своей койке в углу уже одетая в телогрейку и шаровары с неизменной короткой юбкой.

Внешность бригадира самой отчаянной из здешних женских бригад совершенно не соответствовала представлению ни о должности, ни об уголовном прошлом бывшей хозяйки воровской малины и профессиональной сводни. Но именно за содержание притона, перепродажу краденого и сводничество и получила свой срок эта женщина с подчеркнутым выражением достоинства на открытом, с правильными чертами лица и плавными, спокойными движениями. Срок был ни мал, ни велик — семь лет — и уже подходил к концу. Богине перевалило за тридцать.

Она обладала недюжинными организаторскими и дипломатическими способностями, очень пригодились ей и в лагере. Бывшая бандерша и малинщица чуть не с первого дня в этом лагере возглавляла бригады самых отъявленных и распущенных блатнячек-отказниц. В обращении с ними ей пригодился прежний опыт, который еще приумножился за годы заключения. Великолепное знание повадок и нравов женщин-уголовниц помогало Тимковой почти всегда находить с ними общий язык и вскоре сделало ее незаменимой командиршей разнuzданных баб. В бараке бытовичек было довольно чисто. С первого взгляда становилось ясно, что здесь живут женщины. По многочисленным украшениям на стенах и на тумбочках возле коек можно было безошибочно судить о вкусах и даже нравах этих женщин. Было много аляповатых картин лагерных художников, выполненных на кусках фанеры от посылочных ящиков или на загрунтованной мешковине. Картины изображали плавающих лебедей, замки в горах над голубыми озерами, целующихся голубков и тому подобные сюжеты, скопированные чаще всего с дореволюционных почтовых открыток.

Кроме бригадирши, штрафниц — двух пожилых женщин, освобожденных от работы по болезни, и дневальной, в бараке никого сейчас не было. Все остальные ушли на развод. Тимкова не торопилась выходить, потому что ее бригаду выводили последней. О появлении этой бригады на лагерном плацу Богиню обещал предупредить староста.

Он торопливо вбежал в барак, по привычке не притворив за собой двери. Плотный, с багровой физиономией мясника, но благодушный и довольно покладистый парень, Митька сидел за растрату кооперативных денег. Он любил широкую жизнь и женщин, сохранив это пристрастие и здесь. Поэтому со времени появления в лагере нового начальника его положение как лагерного старосты становилось всё более неустойчивым. В последнее время Митька был почти постоянно чем-то озабочен и хмур.

— Слушай, — сказал он Богине, неторопливо поднявшейся ему навстречу. — С сегодняшнего дня к вашей бригаде приставлен постоянный конвоир. Тот, которого на днях вместо Бомбиного хахаля сюда привезли. Нацмен и, по роже видно, тот

еще волк. Так ты скажи своим шмарам, чтоб не очень языки распускали, этого взять на крючок им вряд ли удастся...

— Ладно, не таких видали...

Голос у бригадирши был низкий и тягучий, под стать всей ее важной медлительности.

Гизатуллин стоял в группе бойцов с винтовками, ожидавших выхода из лагеря своих подконвойных. По мере того как бригады выходили из ворот, конвоиры расписывались в их принятии по числу людей и шли позади бригады или несколько сбоку от нее. Формальностей, какие согласно конвойному уставу полагалось соблюдать при составлении этапов заключенных даже на самые близкие дистанции, видимо, не очень-то придерживались и теперь. Вообще развод носил тут совсем другой характер, чем на Каньоне или на любом другом прииске. Там из ворот лагеря выползала длинная, порой в добрую тысячу человек, колонна заключенных. После нового пересчета уже по эту сторону ворот и чтения молитвы про то, что «шаг влево или вправо считается побегом», следовала команда двигаться. Растянувшись вдоль колонны в редкую цепочку, рядом с ней по обе ее стороны шли конвоиры. На полигоне работяги расходились по своим местам уже без конвоя, а конвоиры становились на посты в оцеплении этого полигона.

В сельхозлагере развод разбивался на множество отдельных, часто совсем небольших, групп заключенных, занятых на самых разных рабочих участках, прихотливо разбросанных на огромной территории совхоза: полях и фермах, лесосеках, плотницкой и бондарке, гараже и кузнице, пунктах по засолке и копчению рыбы, бойне и колбасной «фабрике». К каждой из них был теперь приставлен боец, отвечающий, по мысли нынешнего начальника лагеря, не только за сохранность своих подконвойных, но и за их поведение.

А ждать от этих людей, судя по их виду и настроению даже на разводе, следовало всякого. Если на Каньоне на разводе слышались только голоса конвоиров и надзирателей, то здесь, несмотря на окрики дежурного, заключенные разговаривали между собой, шутили и даже перекликались из бригады в бригаду.



Файзулла испытывал сейчас волнение, похожее на то, которое он уже переживал однажды, когда вот так же в первый раз ждал на Каньоне выхода из лагеря своих подконвойных. Но там это было волнение совсем другого рода. Он готовился охранять, как был уверен, опасных и коварных преступников. Это было дело, вполне достойное звания солдата и, как его уверяли, даже почетное. Здесь же, несмотря на вчерашний разговор с командиром отряда, Гизатуллина снова брало сомнение, так ли уж почетна его должность вроде бы пастуха при бабах, позорящих целый свет своей распущенностью. И не будут ли все встречные на поселке, через который он поведет сейчас свою команду, глядеть ему вслед с издевательской насмешкой: вот, мол, пошел вояка, командир б...!

Из ворот вышла последняя из обычных бригад. Теперь за ними толпилась только кучка женщин в штанах и коротких юбках. Из-под низко нахлобученных белых платочков на бойца, одиноко стоявшего с винтовкой на ремне, смотрели любопытные и нагловатые глаза. Это и были, конечно, его подконвойные.

— Тимкова, сколько у тебя сегодня? — спросил нарядчик.

— Двадцать семь, — ответила ему низким голосом статная грудастая баба. — Одна в больнице и одна без вывода.

— Первая! — махнул рукой в сторону ворот дежурный по лагерю.

Колеблющаяся, шагающая не в лад пятерка женщин вышла из ворот и остановилась в нескольких шагах от своего конвоира.

— Вторая...

В последнем ряду оказались только две женщины, старуха и совсем молоденькая в больших, сваливающихся с ног башмаках. И только эти две не пялили на него глаз. Остальные подталкивали друг друга локтями, перешептывались, хихикали и показывали на него пальцами, как будто их новый боец был каким-то невиданным зверем. Впрочем, Файзулла давно уже знал, что всякого нерусского азиатского происхождения даже из своей среды блатные называют зверем. На это никто не обижался, скорее наоборот. В прозвище звучала известная доля почтительности перед предполагаемой свирепостью и

дикостью азиатов. Но у татарина с его обостренным чувством национального достоинства и на это была своя, предвзятая точка зрения.

— Ги-за-тул-лин... — прочел по бумажке фамилию нового здесь бойца дежурный комендант. — Отмечаю: двадцать семь... Распишись!

Большая часть штрафниц были еще совсем молодыми женщинами, хотя большинство лиц носили следы потасканности, истеричности и преждевременного увядания. Двадцать пять пар женских глаз продолжали смотреть на своего конвоира с вызывающей беззастенчивостью. Теперь некоторые из баб не только хихикали, но даже прыскали в кулак. Что они находят в нем смешного, эти стервы?

— Внимание, заключенные! — Гизатуллин отступил на несколько шагов и снял с плеча свою винтовку.

Женщины перестали хихикать и уставились на него теперь уже с удивлением. Он, кажется, хочет перед ними речь держать, этот нерусский.

— Шаг влево, шаг вправо...

Гизатуллин, конечно, не мог не заметить, что конвоирскую молитву перед этапированием заключенных на работу читать здесь не принято. Но именно поэтому он и хотел им напомнить эту забытую здесь молитву. Такое напоминание будет полезно этим зарвавшимся арестанткам, так как даст им понять, что здешние гнилые традиции их новому конвою не указ. Обязательным по конвойной инструкции, почти комическим по форме предупреждением он подчеркнет, что намерен неукоснительно следовать этой инструкции и не допустит с собой ни дурацких шуточек, ни панибратства. Однако боец осекся уже на первых словах грозного предупреждения.

— ...прыжок вверх, — ловко ввернула какая-то блатнячка, — считаю за побег!

Остальные визгливо захохотали.

Не ожидавший такой быстрой и дерзкой реакции, боец запнулся, как поп, которому во время молитвы в церкви показали кукиш. Гизатуллин был обескуражен тем сильнее, что нелепым и дураковатым тут, видимо, считали поведение не подконвойных, а конвоира. С крыльца вахты на него удив-

ленно уставился дежурный по лагерю, а за закрытыми уже решетчатыми воротами ухмылялись лагерные староста и нарядчик.

Чувство уходящей из-под ног почвы – серьезнейшее испытание и для людей с куда большей выдержкой, чем у Файзуллы с его болезненной чувствительностью к насмешкам. Ему стоило большого труда, набрав в легкие воздух и собравшись с силами, во второй раз завести заученные слова молитвы. Но теперь голос бойца уже срывался, а его татарский акцент выступил еще резче:

– Внимание...

Большинство женщин едва не покатались со смеху, а одна, не смеявшаяся ни разу и всё время мрачно смотревшая на конвоира, спросила его угрюмо презрительным тоном:

– Ты, татарин, по-русски хоть плакать-то умеешь?..

Бомба ненавидела этого татарина за то, что он находится на месте человека, которого она любила. И настроила себя по отношению к новому конвоиру так, будто он был виновником ее разлуки с этим человеком. В более сложную связь событий она не то что не могла, а просто не хотела вникать. Заведомо ложная схема устраивала ее, так как давала точное направление для ненависти, в которой сосредоточилась теперь вся недюжинная внутренняя энергия этой женщины.

Не ведая этого, Бомба попала в самое чувствительное место татарской души. Пальцы конвоира, сжимавшие винтовку, посерели от напряжения. На несколько секунд широкоплечая, с детским лицом и угрюмыми глазами блатнячка и солдат, на побелевшем лице которого резко выступили монгольские скулы, молча уставились друг на друга ненавидящими взглядами. Эти взгляды были так выразительны, что притихли даже галдевшие бабы, а придурки за воротами перестали ухмыляться.

– Уводите бригаду, боец! – громко сказал дежурный комендант.

Это несколько разрядило напряжение. Опомнившись, Гизатуллин прокричал, что оружие пускается в ход без предупреждения, так и не объяснив своим подконвойным в каких случаях и по какому поводу. И, боясь новых реплик, тут же поспешно скомандовал: «Шагом марш!»

Стоявшая в переднем ряду рядом с бригадиршей обезьяноподобная чернавка выпятила колесом узенькую грудь, подтянула колено правой ноги к животу и отчетливо топнула. Задрав подбородок к небу и повернув голову вправо, Макака «держала равнение» на конвоира, пропускавшего бригаду вперед. Женщины валили мимо него нескладной гурьбой, обидно хихикая. Прилипшие к переплету ворот придурки снова скалились во весь рот, особенно тот, с кирпично-красным лицом, что был помоложе. Дежурный прятал улыбку в выцветшие усы. То, чего Гизатуллин боялся больше всего на свете, сложное смешное положение, стало для него свершившимся фактом.

Он брел по единственной улице поселка в пыли, поднимаемой табунком громко разговаривающих друг с другом женщин, и пытался собрать в какой-то порядок мысли, разорванные и разбросанные нестерпимым ощущением собственного позора. Хотя особенного порядка не получалось. Одолевали лютые мечты о мести этим негодьякам.

Но свирепые мечты не могли зачеркнуть реальной действительности. А она заключалась в том, что эти ненавистные бабы, над которыми, казалось, их конвоир имеет чуть ли не абсолютную власть, показали ему, что она весьма иллюзорна. И сделали это самым обидным и нахальным образом. Но только потому, что у него не было настоящего повода для проявления этой власти. Похоже, сейчас такой повод конвоиру будет дан.

Видимо, ожидавший женщин на обочине почти пустынной улицы молодой парень начал медленно переходить ее. Скорее всего, он хотел что-то вручить или сказать арестанткам. В такой ситуации конвоир был обязан навести в своей команде порядок, действуя, если надо, силой.

— Подтянуться, прекратить разговоры! — свирепо крикнул Гизатуллин, забегая вперед.

— Переходи на свист! — иронично откликнулся чей-то голос из толпы женщин. Его, как всегда, покрыл обидный смех. И снова Файзулла до боли в пальцах сжал свою винтовку. И не только от злости. Он начинал понимать, что все его команды и приказы обречены здесь на осечку.

Воспитанный на армейской дисциплине, привыкший подчиняться сам и постоянно наблюдавший солдатскую дис-

циplinированность в окружающих, Гизатуллин всегда считал повиновение приказу того, кому дано право приказывать, чем-то само собою разумеющимся. И только сейчас в него начало закрадываться пугающее, хотя и не вполне еще осознанное сомнение в возможности мерить психологию женщин на мужской аршин. Всегда и почти при всех обстоятельствах более высокая дисциплинированность мужчин в какой-то мере, возможно, определяется и врожденными биологическими факторами. Повышенным инстинктом вожака, например. Но главным образом она, по-видимому, вырабатывается воспитанием. И не только армейским. У подавляющего большинства мужчин осознанно или подсознательно, но более сильно, чем у женщин, развито чувство ответственности перед старшими по положению в обществе, перед обществом в целом, перед законом. Вероятно, это связано с большими правами, которыми обладала мужская половина человечества на протяжении многих тысячелетий.

В женщинах же, как бы ни возмущались по поводу такого утверждения феминистки, всегда заложена, пусть даже подсознательно, уверенность в силе своей слабости. Такая уверенность воспитывается в них и каждодневным опытом, и рядом льготных законов, и всё еще бытующим в народе представлением, что с бабы спрос невелик. А главное, предьявлять к ней такой спрос, особенно по официальной линии, для мужика как-то зазорно. Поэтому-то и в старину и при советской власти видимыми застрельщиками деревенских бунтов почти всегда выступали женщины. Да и в быту всякий начавший пререкаться с горластой бабой попадает в дурацкое положение, даже если он совершенно прав. Ведь в основе нахальства такой бабы всё та же сила слабости. Не драться же с ней!

Попустительство здешних конвоиров и прежних начальников лагеря по отношению к блатнячкам чаще всего было связано вовсе не с особой благожелательностью к ним, как думали Гизатуллин и, новичок в подобных делах, его нынешний командир дивизиона.

Ценой такого попустительства покупалась видимость порядка в женских бригадах на виду у начальства и посторонних. Даже вчера при конвоире, не пытавшемся проявлять осо-

бой прыти, женщины шли по этой улице без особого шума и в относительно стройном порядке.

А парень, вразвалку переходивший улицу, поравнявшись с женщинами, вынул из кармана мешочек с чем-то легким, бросил его в толпу и, уже быстрее, зашагал дальше.

— Стой! — заорал Гизатуллин, шелкая затвором. — Стой!

Но тот, не оборачиваясь, продолжал идти по другой стороне улицы. Он, видимо, отлично знал, что стрелять в населенном месте боец не имеет права. Во всех этих прилагерных поселках живет бывалый народ. Оставалась, однако, возможность отыграться на женщинах.

— Колонна, стой!

Заклученные остановились.

— Что получил, давай сюда!

— А мы ничего не получали! — закричало в ответ несколько голосов, следуя обычной блатняцкой манере отрицать даже самое очевидное преступление или нарушение. Сейчас такая тактика была и в самом деле правильной. Чем бы мог конвоир в своем рапорте на нарушительниц и их сообщника доказать, что была сделана и принята незаконная передача с воли.

Бригадирша, однако, почему-то решила не применять сейчас этой тактики.

— Это табак, боец, — проворковала она своим певучим голосом, — предмет разрешенный...

— В строю принимать ничего не положено! Давай сюда табак!

Женщины возмущенно загалдели, но бригадирша приказала им замолчать и произнесла своим ровным, спокойным голосом:

— Закуривай, бабы!

Ответом был радостный вопль. По рукам пошел мешочек с махоркой, обрывки газетной бумаги, добытый кем-то огонь. Всё это делалось так, как будто рядом не было позеленевшего от злости конвойного.

— Пр-р-рекратить курение! — срывающимся, петушиным голосом кричал Гизатуллин.

Но бабы как будто и не слышали, продолжая отчаянно дымить. Некоторые при этом перхали и кашляли. Вероятно,

это были те, которые вообще-то не курили. Стоявшая недалеко от конвоира чернавка гримасничала, пытаясь пустить дым кольцами, и демонстративно похваливала табак:

— Эх, хороша махорочка!

— Прекратить! — с побледневшим, перекошенным лицом, держа винтовку наперевес, Гизатуллин щелкал затвором.

— Никак стрелять собираетесь, гражданин боец? — в издевательски вежливом тоне спросила Богиня, неторопливо выпуская дым через полные красивые губы.

Файзулла опомнился. Кругом стояли невесть откуда взявшиеся ребятишки. Баба, несшая воду, остановилась и опустила на землю свои ведра.

Старик, обивавший дранкой домик напротив, перестал стучать и удивленно смотрел из-под руки на странное происшествие. Над тесной кучкой женщин клубился синий махорочный дым, а рядом бессильно метался взбешенный конвоир. Его ласково успокаивала рослая блатнячка:

— Не кричи, боец, еще животик надорвешь. Вот выкурим по одной и пойдем...

Привычные представления Гизатуллина о силе приказа и даже угрозы оружием рушились. Винтовка, которую он держал в руках, была сейчас не только бесполезным предметом, но даже подчеркивала его бессилие. Никогда еще Файзулла не чувствовал себя в таком дурацком и унижительном положении. Наконец бригадирша решила, видимо, что с него довольно.

— Бросай курить, пошли! — скомандовала она минуты через три. — Тебя что, не касается, Макака? — прикрикнула она на чернавку, двинувшуюся было с сигаркой в зубах.

Та потушила окурок и сунула его в карман телогрейки.

Гизатуллин глотал пыль дороги пополам с горечью своего нового поражения. За каких-нибудь четверть часа он получил две полновесные оплеухи и почти понял, что его прежние представления о возможности держать женщин в страхе и повиновении при помощи одной только суровости и неукоснительного следования правилам конвойного устава рассыпались прахом. Конвоир при этих бабах не более, чем сторож. Хуже того — автомат, которого следует бояться, только нарушив строго определенные, механические правила. Для знающих свой-

ства этого механизма он почти безопасен, а поэтому и не может вызвать к себе ни малейшего почтения.

Жгло оскорбленное самолюбие, как от пощечины, горели щеки. Воображение под действием досады и злости опять рисовало картины мести, жестокость которых равнялась только их несбыточности.

Вдали за редким лесом в дымке утреннего тумана синели плавные склоны сопок. В косых лучах низкого солнца блестели росинки на листьях кустов и полевых растений. Всё это понемногу успокаивало даже свирепую монгольскую ярость Файзуллы. Дикие планы мести постепенно заменялись более реальными.

Наскоки на этих женщин явно бесполезны. При всей своей наглости они хитры и достаточно осторожны. Блатнячки шли теперь почти смирно. Они понимали, что в поле с нерусским шутки плохи. Здесь он и в самом деле может пустить в ход приклад и даже пулю.

Мстить за свой сегодняшний позор перед вахтой и на поселке следует не взрывами ярости, от нее лучше воздерживаться, а строжайшей изоляцией этих женщин от их доброхотов с воли. Командир говорил, что, как не выполняющие плана по прополке турнепса и наполовину, они сидят на штрафном пайке. Но не слишком от этого страдают, так как, несмотря на все запреты, умудряются получать передачи от своих бывших «женехов». Отныне ни один из этих хахалей к ним и на выстрел не подойдет! Заткнуть бабам рты не сможет, вероятно, и сам шайтан, но сделать так, чтобы, кроме крика и болтовни, для этих ртов не находилось никакой другой работы, может и должен конвоир штрафниц. Скоро их дружки забудут дорогу к месту, на котором они работают. А моду швырять узелки в толпу подконвойных на улице поселка он тоже прекратит. Для этого достаточно, чтобы дело о нарушении этапной дисциплины некоторыми из местных жителей было передано оперу. Дело не в недостатке средств для обуздания нарушительниц лагерной дисциплины, а в том, что эти средства здесь раньше почти не применялись. Самое главное в создавшейся обстановке — это держать себя в руках и действовать планомерно. Гизатуллин знал, впрочем, что сделать это ему будет очень нелегко.



За бригадой штрафниц было закреплено небольшое турнепное поле, густо поросшее сорняками. Виды на урожай были здесь столь же безнадежными, как и расчет на трудовое прилежание блатнячек. Что с производственной точки зрения ежедневные приводы сюда штрафной бригады — дело совершенно бесполезное, понимало и производственное и лагерное начальство. Однако по формальным соображениям держать всю бригаду в карцере без вывода было нельзя. Да это большей частью было бы и слишком гуманно, а значит, и неразумно с точки зрения лагерного начальства. Сидеть в поле под дождем и пронизывающим ветром с раннего утра и до позднего вечера куда мучительнее, чем валяться на голых нарах кондея. Таких же теплых дней, как сегодняшний, было какой-нибудь десяток за всё короткое лето даже в здешнем колымском Крыму.

Только две из бригадниц, старая и молодая, державшиеся особняком от других, сразу же взяли по тяпке из кучи, лежавшей посреди поля. Пройдя в дальний его конец, они начали прополку рядков турнепса, едва заметных среди буйного бурьяна. Остальные постелили свои ватники на кучках выполотой травы и, жмурясь от удовольствия, расположились на солнышке кто лежа, кто сидя.

— Хорошо, — томно сказала одна из блатнячек. — Святые за нас поработают, а мы полежим.

— Святым и положено вкалывать, — заметила другая. — Они ведь не за так работают. За место в своем раю стараются...

— Да какой это рай? — пренебрежительно махнула рукой третья. — У ихнего бога, как у нашего Повесь-чайника, любовь-то под запретом.

Бабы залиvisto захохотали.

— А как там, в раю, — поинтересовалась одна из женщин, — бабы и мужики в одной зоне или в разных живут?

— А про это у святых спроси, — ответила ей Макака. — Они про рай всё знают.

— Говорят, тем, кто в рай попадает, срочно крылышки выдают, — мечтательно произнесла та, что интересовалась вопросом, вместе или порознь живут в раю женщины и мужчины. — Выходит, что там можно с парнем на любой чердак и без лестницы забраться...

— Так и надзиратели в раю небось с крылышками! — возразили ей.

Снова раздался хохот. А потом одна из девок объяснила, что ее соседка мечтает о крылышках не зря. В прошлом году она уединилась на чердаке со своим хахалем, а лестницу, пока они там тютюшкались, убрали. А потом их хватились на поверке, устроили целую облаву, и обоих голубчиков в кондей...

Рассказы в этом роде продолжались довольно долго. Большая их часть превосходила по своей непристойности все, что Файзулла до сих пор слышал. Здешние старослужащие ничего не преувеличивали, рассказывая о похождениях и распущенности лагерных баб. Слушая их, Файзулла недоумевал, почему возьмется с такими. Он, будь его власть, быстро покончил бы со всяким ворьем и проститутками! Неприязнь Гизатуллина к уголовникам вообще сосредоточилась сейчас на кучке нагло бездельничающих баб. Особенно на двух из них — вальяжной бригадирше и вон той угрюмой грубиянке с пухлыми, как у малолетней, губами. Она и сейчас мрачно и презрительно поглядывала на конвоира, лежа немного в стороне от других на куче бурьяна, выполотого «святыми». Когда их взгляды встречались, пальцы татарина снова произвольно сжимали винтовку. Ненависть, даже необъяснимая, вызывает ответную ненависть.

— Эй, Бомба, — крикнули ей из кучки женщины. — Ты что, решила сегодня в одиночку солнце открывать?

— Вдвоем небось веселей было... — вполголоса ввернула Макака.

Остальные засмеялись, но тоже не очень громко. Бомба сердито посмотрела на них издали и отвернулась.

— Не трогайте ее, бабы, — сказала бригадирша.

Разговоры затихали, некоторые женщины начинали уже дремать.

— Работать надо! — не выдержал на своем пне Гизатуллин.

— Работа не..., сто лет простоит! — сразу же отозвалась под общий хохот Анка Откуси Ухо.

Тема работы и отношения к ней вызвала целый град сентенций блатняцкой философии. Было сказано, что от работы кони дохнут, что законники приехали сюда не работать, а срок отбывать, а вкалывает пусть тот, у кого рога вот такие!

Обладай Файзулла хоть немного чувством юмора, он бы, вероятно, оценил хлесткость и сочность многих выражений из морального кодекса уголовников. А не будь он так прямолинейен в своих взглядах на общественную мораль и служебный долг, то не только быстро притерпелся бы, как почти все остальные бойцы, к непристойности языка блатных, но и понял бы, что для многих это больше скверная привычка и бравада, чем выражение их действительных наклонностей.

Но для Гизатуллина это было только человеческое отребье. Он всё больше убеждался, что идея исправления этих людей ложна в самой своей основе. Они не заслуживают даже сколько-нибудь человеческого обращения, так как понимают только то, за неисполнение чего существует непосредственная угроза удара или выстрела.

После того как одна из блатнячек произнесла присказку, выражающую своего рода кредо отказничков: «Начальник, кашки не доложь, да на работу не тревожь», возникла пауза, после которой разговор незаметно перешел на тему о еде. Женщины вспоминали, как при предыдущем здешнем начальнике они и смотреть-то на чернушку не хотели, как в тумбочке у каждой не переводился белый хлеб, масло и сахар. Тон этих воспоминаний был тоскливый. Лихие бабы как-то сразу потускнели, а из их речи почти исчезло обычное сквернословие ради сквернословия. Было очевидно, что живется им теперь довольно голодно. Файзулла отметил это с мстительным удовлетворением. Кто не хочет работать, тот не должен и есть.

Повернувшись на живот и уткнувшись лицом в сложенные руки, как это обычно делают голодные люди, большинство женщин старались, видимо, поскорее уснуть. Три или четыре из них совещались о чем-то вполголоса, искоса поглядывая на конвоира. Кажется, затевают что-то. Но пусть не надеются, что пройдет! Посовещавшись, эти тоже вытянулись на солнышке и уснули. Или сделали вид, что спят.

На другом конце поля с прилежанием, удивлявшим даже такого строгого моралиста, как Файзулла, работали сектантки, только изредка разгибаясь и присаживаясь, чтобы отдохнуть. Старухе, видимо, было совсем трудно, и подняться с кучи травы она могла только с помощью молодой. Прополотые ими

рядки чернели на сплошном фоне буйно разросшихся сорняков. Чахлые листочки турнепса робко и только местами поднимались из земли, совсем уже, видно, не надеясь выжить. Усердие «святых» было явно бессмысленным. Если, конечно смотреть на дело с точки зрения житейского рационализма, а не религиозного мученичества.

За канавой слева, служившей одновременно границей поля и конвойной зоны, раскинулся участок старой лесосеки, предназначенной для распашки. Лиственничные пни большей частью уже были вывернуты и стащены к канавам для вывозки на дрова. Уродливые лапы их длинных горизонтальных корней причудливо торчали во все стороны. Справа сквозь заросли тальника в засохшей протоке виднелось большое ухоженное поле, на котором работали заключенные рогатики. Солнце поднялось над сопками уже до своей предельной здесь высоты и плыло над ними, почти не меняя, казалось, этой высоты.

Тишина и мирная обстановка действовали усыпляюще. Но цепкость взгляда и чуткость слуха никогда не изменяли Гизатуллину на посту. Сегодня же они были особенно обострены. Он уже не сомневался, что некоторые из его подконвойных затеяли какое-то нарушение. Кое-кто из них явно только прикидывался спящей и, чуть приподняв голову от сложенных рук, смотрел в сторону канавы. Повторяя повадки опытного кота, постовой сделал вид, что смотрит в сторону протоки на другом краю поля. Но у человека есть еще боковое зрение, как, наверно, есть оно и у кота.

Файзулла заметил, что высокая трава в канаве в месте схождения с сухой протокой зашевелилась. По дну ее кто-то полз. Собака исключалась — кроме служебных здесь других собак нет. А главное, те, которые украдкой поглядывали в сторону канавы, переводили взгляд с ее дальнего конца всё ближе. Снова шевельнулась трава уже там, где канава довольно близко подходила к тому месту, где находились женщины. Затем взгляды наблюдавших за ней начали перемещаться в обратную сторону.

Вскочить на свой пень и выпрямиться на нем во весь рост было для Гизатуллина делом одной секунды. Резко зашелкал затвор винтовки.

— Стой!

Из женщин первыми вскочили те, кто только прикидывался спящими. Кто и в самом деле спал, проснулись от возгласа конвоира и, приподнявшись на локтях, испуганно смотрели, как он целился во что-то, скрытое в канаве.

Нарушитель притаился на ее дне. Но его выдавала белая рубаха, резко выделявшаяся на зеленом фоне травы. Канавка была недостаточно глубокой, чтобы скрыть человека от взгляда конвоира, стоявшего на довольно высоком пне, и от его пули.

— Выходи! — Гизатуллин опять лязгнул затвором. — Выходи, буду стрелять!

— Выходи, Косой! — крикнула одна из женщин. — Это зверь. Он и в самом деле застрелит!

Из канавы вылез молодой парень рабочего вида. Он был сильно смущен, но нельзя сказать, чтобы очень испуган. Возможно, впрочем, что и выражение смущения на его лице сильно преувеличивалось заметным косоглазием нарушителя.

— Становись вон там! — Гизатуллин показал дулом винтовки место в нескольких шагах от себя. — Чего канав лазил?

— Хлеба вот им принес...

— Где хлеб? Давай сюда!

Парень достал из травы на краю канавы завернутые в тряпку буханку черного хлеба и маленький сверток дешевой карамели.

— Как фамилия? Где работаешь? Вольный, зэка?

— Рогов Петр. Возчик в сельхозе. Вольный...

— Садись. Вечером со мной на вахту пойдешь!

— Разрешите сейчас идти, гражданин боец! Вон моя лошадь с телегой за протокой стоит. Они, — парень показал в сторону столпившихся невдалеке женщин, — скажут, что Рогов я. В прошлом году освободился...

— Точно! — закричали женщины. — Рогов это. Петька Косой...

— Ничего не знаю... Садись!

— Гражданин боец, — голос бригадирши тянулся как мед. — отпустите Косого... Ведь чернушки он нам принес просто так, бедных арестанток жалеючи...

— Ага! «Гражданин боец»! Ишь как заговорила. А утром: «Не ори, животик надорвешь...»

Файзулла испытывал чувство злобного торжества, он брал реванш. Нет уж, этого бабьего угодника он отсюда так просто не отпустит! Пусть и эти бабы и их благодетели с поселка почувствуют, что он тут конвоир, а не шут гороховый, над которым можно безнаказанно потешаться...

— Садись, тебе говорю!

Почесывая кудлатую голову, Рогов сел в стороне на траву.

— Да что ты с ним разговариваешь? Это ж шурум-бурум, чурка с глазами... — Бомба старалась, видимо, вложить в эти слова столько презрения, сколько могла. — Ты с этим пнем еще поговори...

Окинув татарина презрительно-ненавидящим взглядом, она отошла к своему месту. А Файзулла с трудом сдержал почти физическое желание прошить эту стерву пулей.

Рогова Гизатуллин отпустил только часа через два, когда за ним пришел высокий человек с большой окладистой бородой и предъявил удостоверение главного агронома совхоза. Но и тому пришлось долго уговаривать бойца, ссылаясь на то, что кто-то должен выпрячь лошадь и отвести ее на временную конюшню покормить. По существу дела это, конечно, ничего не меняло. Незаконная передача будет отдана на лагерную кухню, а на обоих нарушителей запрета на такие передачи, Рогова и того, остававшегося пока неизвестным, который утром снабдил женщин табаком, будет подан рапорт по начальству. Война объявлена! И счастье в этой войне почти сразу же изменило тем, кто возомнил, будто может безнаказанно проявлять свое неуважение к бойцу охраны. Вряд ли теперь появится охота позубоскалить над ним и у тех, кто наблюдал сегодняшний конфуз конвоира штрафниц!

После неудачи Косого блатнячки явно приуныли, сегодня они сидели на своей голодной пайке уже по-настоящему. Веселых разговоров они больше не вели. Между бригадницами часто вспыхивали крикливые ссоры. Шпильки в адрес «попугая с дудоргой», конечно, отпускались, но особо метких попаданий не было. Мстительный «попугай» затянул пребывание штрафниц в поле настолько долго, насколько мог, и повел

свою бригаду в лагерь последней. Было даже странно, что бабы не шумели по этому поводу, не просили его снять бригаду с ее рабочего места хотя бы вовремя. В лагерь они брели понуро, без всякого шума, и даже в поселке, на улице которого было теперь полно народу, не сделали никаких выпадов.

В свою казарму Гизатуллин возвращался почти уверенный, что жесткость в отношении беспардонных баб и их покровителей, несмотря на допущенные им в первые часы ошибки, вполне себя оправдывает. И если продолжение будет таким же удачным, как сегодняшнее начало, он в несколько дней скрутит наглых блатнячек, в назидание тем, кто считает, что строгость не должна быть единственным средством воздействия даже на отъявленных уголовников.

А в это время в женской камере здешнего кондея обсуждалось создавшееся положение. Нацмен оказался слишком зол и глуп, чтобы пронять его обычными средствами. Его невозможно ни уластить, ни задобрить, ни запугать враждебным отношением к нему вольных. Но одно из своих слабых мест он сегодня выявил. Это болезненная чувствительность к насмешкам, особенно связанным с неверным произношением татаринном русских слов. Все видели, что он от них аж белеет с лица и начинает дергаться, как дергунчик на ниточке. Значит, в это место и нужно бить зверя, пока он сам не запросится у своего начальства на другой пост. Была разработана общая тактика наступления, а первые атаки на самолюбие нацмена намечены уже на утро. И притом в нескольких вариантах, применительно к обстановке.

На утреннем разводе они не галдели и не зубоскалили, как вчера. Стоя уже за воротами, с любопытством поглядывали на своего конвоира, заведет ли тот свою молитву и сегодня. Если заведет, то на сей случай ему приготовлен сюрприз. Первые несколько шагов от лагеря бригада будет двигаться, вихляясь из стороны в сторону. Оказалось, однако, что у нацмена хватило ума этой молитвы больше не повторять. Сняв с ремня свою винтовку, он скомандовал: «Шагом...» — но тут сделал паузу. Перед самой бригадой через маленький плац перед воротами проходил начальник лагеря, угрюмый человек в защитной телогрейке.

– Гражданин начальник! – окликнула его бригадирша.

– Повесь на... чайник! – отозвался тот, но остановился, повернувшись к Богине в четверть оборота.

– Было б у нее на что чайник вешать, давно бы уже на прииске вкалывала, – хихикнула Откуси Ухо.

Бабы засмеялись, а на утрюмой физиономии Повесь-чайника появилось подобие улыбки.

– Ну? – он повернулся к бригаде уже в целых пол-оборота.

– Хотим вас просить, – сказала Макака, кривляясь и гримасничая по своему обыкновению, – нельзя ли к нам в бригаду переводчика назначить.

– Чего-чего? – не понял начальник.

– Переводчика... Наш конвоир по-русски ни бельмеса, так боимся, как бы он нас всех по недоразумению не перестрелял. Неохота в долгу у прокурора оставаться...

Некоторое время начлаг продолжал недоумевать. Но, взглянув на Гизатуллина, понял, что блатнячки издеваются над своим конвоиром. Тот стоял бледный, с сузившимися глазами, сжимая в руках винтовку. Торжествовать победу ему, видимо, было слишком рано. Повесь-чайник ухмыльнулся в бороду, неопределенно повел плечом и ушел на вахту. В воротах скалились придурки, которых собралась тут сегодня уже целая куча. Улыбался во весь рот и дежурный комендант. И никто, видимо, не считал здесь, что негодяек за их насмешки над конвоиром следует наказать. Впрочем, как это сделать, если они и так сидели в карцере и получали штрафной паек.

Когда Файзулла смог наконец повторить, а точнее говоря, пролаять команду: «Шагом марш!» – он услышал, как Макака бляела впереди козлиным голосом: «Внимание! Сейчас буду стрелять! Бабах...»

Гизатуллин ожидал от своих баб новых выходов на поселке и боялся, что может сорваться и натворить непоправимых бед. Ничего особенного, однако, не произошло, хотя было заметно, что сегодня тут ждали нового представления. По улице бегала целая стая ребятишек, рядом с которыми судачили о чем-то несколько баб с пустыми ведрами. Дед с молотком, оббивавший избу дранкой, перестал стучать, как



только увидел бригаду штрафниц издали, и сразу же приставил к глазам ладонь. Но женщины шли, хотя и разговаривая в строю, если только можно назвать строем их беспорядочную толпу, но не выкидывая никаких особенных штук. То же было и на дороге среди полей. Гизатуллин начинал уже думать, что таким способом блатнячки предлагают ему компромиссный мир: нас не трогай, мы не тронем. Однако нет! Он на такое не согласится, сколько бы они его ни допекали. Закон, сила и справедливость были на его стороне, а на стороне преступниц только их ядовитые языки. Рано или поздно они их прикусят!

Погода, как и вчера, была хорошая. И так же, как вчера, бригада, явившись на свое поле, сразу же разделилась на две неравные части. Сектантки принялись за работу, блатнячки развалились на солнышке. Но сегодня они расположились в дальнем конце поля. И когда шли на тот конец, то рядом с кучей женщин шагала Макака с тяпкой наперевес и бляла:

— Шаг улево, шаг управо — пу-пу!

Сегодня блатнячки разговаривали и даже ссорились мало, старались больше спать. Видимо, сказывался голод, на который обрекала их бдительность враждебно настроенного конвоира. Целый день он зорко всматривался, часто взбираясь на свой пень, не появится ли откуда-нибудь очередной добряк. Но никого не было. Не было и стычек с подконвойницами. Только Бомба издали, когда Файзулла вглядывался из-под руки в заросли тальника за ее спиной, показала ему однажды уголок своего ватника, зажатый в руке, и крикнула издали: «Эй, татарин! Не хочешь ли свиного ушка?» С этой дразнилки в местности, откуда Гизатуллин был родом, нередко начинались свирепые драки между русскими и татарскими парнями.

Так прошел день. Конвоир и сегодня уводил свою бригаду с поля последней, снова несколько недоумевая, почему бабы почти не дерзят ему, хотя они, несомненно, были очень злы сейчас. Старухе сектантке, которая плелась позади всех, задерживая бригаду, хотя и опиралась на плечо молодой, какая-то блатнячка крикнула, что если та решила заработать себе рай честным трудом на начальничка, то пусть бы и убиралась в этот рай поскорее!

Поселковые вольняшки успели уже не только вернуться с работы, но и поесть и отдохнуть. Поэтому почти все, кто был помоложе, болтались сейчас на улице, благо вечер, как и день, был погожий. Конвоир очень боялся, как бы откуда-нибудь в толпу женщин не полетела очередная передача. Но ничего такого не произошло. К смирно идущим посреди дороги бабам никто не приближался. Между ними и поселковыми парнями не было даже никаких переключек, хотя почти все эти парни, недавние лагерники, были знакомыми или близкими приятелями блатнячек. Видимо, уже действовала пропесочка, которую устроил вчера вечером местный опер Рогову. На того же, что бросил в колонну заключенных мешочек с махоркой, обещал даже завести дело, как только выяснит его личность. Об этом, конечно, все тут знали.

Если тишину среди женщин можно было объяснить голодной слабостью — после пустой баланды с кусочком хлеба они с раннего утра ничего не ели, — то необычный порядок в их колонне вызывал смутные опасения. Блатнячки шли рядами по пять, как и полагалось, шагая чуть ли не в ногу. Если это подвох, то какой? Впереди слышалось пиликанье гармоники, на куче бревен в конце поселка сидела большая ватага парней. Конвоир насторожился и зашел сбоку колонны так, чтобы быть между ней и парнями на бревнах. Гармонист заиграл «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...», ребята ухмылялись, но женщины шли без обычных кривляний и выкриков, по-прежнему соблюдая строй. Несмотря на тревожное недоумение, Файзулла был готов уже облегченно перевести дух, дальше начиналась пустынная дорога до лагеря. И вдруг тишина взорвалась гомерическим хохотом парней на бревнах. Гизатуллин окинул взглядом своих подконвойниц, но те как будто ничего особенного не вытворяли. Тогда он забежал вперед: наверно, это вихлястая чернавка строит свои рожи. И тут понял причину продолжающегося хохота поселковых. Передняя пятерка женщин шла с постными лицами, держа полы своих стеганок за уголки, что означало пресловутое «свиное ухо».

В тот же вечер Гизатуллин подал командиру дивизиона рапорт с просьбой перевести его на какой-нибудь другой пост. Пусть это будет постоянное дежурство на вышке, пусть даже

пикет в тайге. Но, конвоируя ненавистных охальниц, он отвечать за себя больше не может!

Будь младший лейтенант поопытнее в командирской службе, он принял бы во внимание и сбивчивую речь нерусского, и его подергивающиеся щеки и дрожащие губы. Но, как и сам Файзулла недавно, он слишком верил в силу окрика и командирского приказа: тут у нас не гражданка какая-нибудь, а военизированная охрана, товарищ Гизатуллин! Оставаться на своем посту независимо от того, нравится он ему или нет, — первейшая обязанность бойца этой охраны! Потом командир сменил гнев на милость и перешел на примирительный тон. Пост, конечно, нелегкий, он предупреждал об этом бойца. Но более принципиального человека, чем Гизатуллин, в местном отряде нет. И если он возьмет себя в руки, не будет распускать нервы и продолжит со штрафницами правильно взятую линию, то совместными усилиями они усмирят распушенных баб в назидание всем остальным лагерникам. Да и не только лагерникам...

— Можете идти!

Командир и на этот раз дружески пожал руку рядовому бойцу. Но поза и лицо Гизатуллина не выражали более никакой готовности служить трудовому народу в качестве мишени для издевательств со стороны негодных бабенок. Разговор с командиром происходил довольно поздно, и когда Файзулла вернулся от него в казарму, здесь все уже спали. Только дневальный скучал, сидя на табуретке под часами. Гизатуллина показалось, что он посмотрел на него с ухмылкой. Никогда еще застарелый комплекс неполноценности не давал о себе знать так мучительно, как теперь.

Файзулла вообще спал плохо. Но в эту ночь его сон был особенно беспокойным. Почти все сновидения были связаны с впечатлениями прошедшего дня. Откуда-то издалека на него наплывало огромное и черное свиное ухо. Заслонив собою всё небо, оно с поросячьим визгом отдалялось опять и вдруг оказывалось неподвижным ненавидящим глазом Бомбы. Глаз сменялся гримасничающей обезьяньей мордой, которая, приблизившись к самому лицу Файзуллы, скалила зубы и верещала: «Внимание! Шаг влево, шаг вправо...» Гизатуллин заснул по-

настоящему только к утру и встал невыспавшийся, с ощущением непроходящего раздражения.

Погода резко изменилась. Ночью холодный, шквалистый ветер с моря нагнал низкие растрепанные облака, из которых моросил по-осеннему унылый дождь. Все промокли под этим дождем уже на разводе, а для большинства предстоял еще бесконечный рабочий день под открытым небом. Голоса людей звучали раздраженно и хрипло.

Скользя и увязая в грязи размокшей дороги, штрафницы брели под дождем нахохлившись и почти молча. Только когда молодая сектантка во второй раз потеряла свои башмаки, ей посоветовали попросить у всевышнего, с которым та, конечно, «вась-вась», заменить ей ноги на другие, побольше.

Клин поля между протокой и канавой выглядел совсем неприятно. Нагроможденные на краю старой лесосеки высокие коряги, видные сквозь неплотный туман, придавали участку угрюмый вид. Вряд ли сегодня кто-нибудь на совхозных полях был доволен погодой, кроме, пожалуй, Гизатуллина, стоявшего у своего пня в потемневшем от дождя брезентовом плаще с накинутым на голову капюшоном. Непогода являлась его союзницей в войне с блатнячками. Сейчас он посмотрит, как разухабистые откатчицы солнца вручную будут откатывать его под этим дождем!

А те, кроме сектанток и Бомбы, по-прежнему державшейся в стороне от других, в отдалении от конвоира плотно обступили бригадиршу, что-то, видимо, от нее требуя. Та некоторое время не соглашалась. Но потом вышла из кучки бригадниц и неохотно направилась к конвоиру.

- Гражданин боец!
- Ну? — Гизатуллин смотрел в сторону.
- Костер надо разложить, пусть бабы обсушатся.
- Раскладывай!
- Так дров-то нет. Разрешите на порубке собирать. Вон их там сколько!
- Не разрешаю, туман!
- А мы святых пошлем. Они не убегут.
- Не разрешаю!

Подошли еще несколько женщин:

— Разрешите, гражданин боец! Мы на краешке канавы с той стороны сушнячку наломаем, отсюда хорошо видно...

Гизатуллин молчал. Они умеют прикидываться овечками, эти бандитки, когда им прищемит хвост! Но чуть только палка за их спиной опустится, как снова принимаются за прежнее. Их надо так проучить, чтобы они поняли, что конвоир своим подконвойным не сегодня так завтра всегда может устроить веселую жизнь и с лихвой рассчитаться с ними за все! Сегодняшняя погода еще семечки... Свойственная монгольскому типу непроницаемость выражения и плащ с капюшоном придавали Гизатуллину неумолимый вид.

— Да пошлите вы его на... — Бомба в один прыжок перескочила на другую сторону канавы. — Упрашивать его еще! Свиное ухо, шурум-бурум! — И она с треском отломила от пня засохший корень.

Гизатуллин вскинул к плечу винтовку.

— Вернись, Бомба! Убьет! Тебе что, жить надоело? — закричали испуганные голоса.

Но та продолжала обламывать корни и бросать на эту сторону канавы.

Поступок Бомбы и в самом деле граничил с самоубийством. Нарушительницу конвойной зоны постовой мог застрелить не только безнаказанно, но и получил бы начальственную благодарность за неукоснительное выполнение инструкции по охране заключенных. Кроме того, Бомба была для него не только нарушительницей. Все видели, что татарин ненавидит ее лютой ненавистью, больше, чем всех других блатнячек вместе взятых. Зверь чувствовал ее отношение к себе, хотя и не понимал его причины.

Сейчас она сама подставляла себя под его пулю. Стоит слегка нажать на спуск — и месть, о которой мечтал эти два дня Гизатуллин, окажется осуществленной. Предупредительный выстрел даже необязателен. Достаточно к акту о применении оружия приложить две стреляные гильзы. И никто не станет вникать, первым или вторым выстрелом была убита отчаянная блатнячка, не раз уже бравировавшая выходками в том же роде, что и сейчас. Было очевидно, что на смертель-

ный риск она пошла вовсе не из-за дров. В основе поведения Бомбы лежал вызов, своего рода взятие на «слабо»: что, татарин, презренный шурум-бурум, хватит у тебя низости на глазах у всех застрелить женщину, добровольно подставившую себя под конвоирскую пулю? Слабо, небось, прослыть собакой даже среди товарищей по службе?

Гизатуллин понимал, что отчаянная баба провоцирует его на поступок, которого он сам себе никогда не простит, несмотря на свою мстительность и ненависть к этой уголовнице. Нельзя, однако, оставить ее и безнаказанной, это было бы потаканием блатняцкой наглости. Самое приятное — заставить нарушительницу испугаться, поваляться с полчаса в грязи. Это будет лучше убийства.

— Ложись!

Упругий в сыром воздухе толчок выстрела слился с треском пули о сук, который, отчаянно ругаясь, пыталась отломить от пня Бомба. Недаром Файзулла был одним из лучших стрелков своего полка.

Несколько женщин испуганно взвизгнули, молоденькая сектантка перекрестилась. Но на Бомбу выстрел произвел действие, противоположное ожидаемому. Возможно, что удар пули о дерево почти возле самой ее руки даже испугал блатнячку, истеричную, как почти все они. Но этот испуг тут же трансформировался в еще большее усиление яростной бравады. Вряд ли Бомба уже помнила себя как следует, когда повернулась к стрелку спиной, нагнулась и подкинула вверх свою условную юбочку: вот тебе, наемный солдат! Попадешь?

По понятиям Файзуллы, как и многих людей деревенской Руси, русских и нерусских, подобный жест со стороны женщины являлся позорным не для нее, а для мужчины, которому выражалась таким образом наивысшая степень презрения. Зрительницы поглупее деревянно хохотнули. Другие, выдавшие лицо Гизатуллина, когда он вгонял в ствол винтовки очередной патрон, отчаянно закричали: «Падай, Бомба, ложись!»

Раздался новый выстрел. Бомба дернулась вперед всем корпусом, как от сильного пинка, и упала, ткнувшись лицом в землю. Над полем взметнулся многоголосый женский крик и через секунду оборвался. Смертельно раненная женщина при-

поднялась на локтях и повернула к своему врагу выпачканное грязью, искаженное болью и гневом лицо. Видимо, она что-то хотела ему крикнуть, но смогла только застонать долгим протяжным стоном. Продолжая громко стонать, Бомба поползла на руках, волоча нижнюю половину тела, как собака, которой перебили хребет. Затем голова раненой почти повернулась под грудь, а ее руки судорожно задвигались, сгребая скрюченными пальцами мокрый мох. Еще несколько секунд конвульсивных движений — и Бомба затихла.

Уже много раз Гизатуллин убивал людей, но агонию убитого им человека наблюдал впервые. До сих пор это были дистрофики, умиравшие почти мгновенно, так что он их, собственно, только добивал. Поэтому только сейчас Файзулла ощутил главную и самую страшную особенность акта убийства — его абсолютную неисправимость. Тем более страшную, что совершено это убийство было при позорных для убийцы обстоятельствах.

Мертвые мстили ему и прежде. После каждого очередного убийства, несмотря на его формальную оправданность, Файзулла чувствовал, как внутри него нарастает гнев беспредметной тоски, ищущей выхода в новых актах жестокости и злобы, но не находившей этого выхода. Однако ужаса перед совершенным им он никогда еще не испытывал. Теперь же, когда мстительность и злоба, владевшие им в момент выстрела, почти мгновенно исчезли, Гизатуллиным овладел именно ужас. Оцепенело и растерянно он стоял у своего пня, глядя на скорчившийся в отдалении труп убитой им женщины.

Так же оцепенело и неподвижно глядели на этот труп и подружки убитой. Было слышно, как по траве на поле и по листьям кустарника в стороне шуршит мелкий дождь. С округлившимися глазами замерла на своих рядках молоденькая сектантка. И только старуха, стоявшая с ней рядом, шептала что-то над стиснутыми в кулаки и прижатыми к груди руками.

Зловещая тишина продолжалась долго, может быть, более минуты. Затем ее разорвал чей-то короткий нечленораздельный вопль. Это упала и забилась в судорогах на мокром бурьяне эпилептичка Котиха, немолодая молчаливая блатнячка с угасшими глазами. Вскрик Котихи нарушил общее

оцепенение. Раздались истеричные выкрики в адрес собаки-конвоира, наемного солдата, чурки с глазами, безмозглого попугая с дудоргой. Женщины смотрели уже в сторону убийцы и кричали всё громче и пронзительнее. Теперь различить в их крике отдельные слова было трудно. Это был нарастающий по силе сплошной вопль возмущения и ненависти. Начиналась истерия толпы, причем толпы женской. И даже не просто женской, а состоящей почти сплошь из женщин с искалеченной психикой и надорванной нервной системой, ненавидящих весь свет, озлобленных и голодных. Теперь вся их злоба и ненависть сконцентрировались на этом проклятом дураке с винтовкой, стоящем как истукан у края поля в своем плаще с нахлобученным на глаза капюшоном. Сбившись в тесную кучку, женщины медленно двинулись на конвоира. Они шли на него растрепанные, с перекошенными от злобы лицами, на которых видны были только вытаращенные глаза и широко открытые орущие рты. Многие размахивали руками, а некоторые и тяпками. Впереди всех была маленькая обезьяноподобная чернавка. Ее кофта под расстегнутым ватником была разорвана, обнажая жалкие груди с синими линиями неумелой татуировки. Из оскаленного перекошенного рта Макаки вылетали слова:

— Стреляй, наемный солдат! Убивай всех, попугай, свиное ухо!

С занесенной тяпкой она бросилась на конвоира.

Истерия женщин передалась и Гизатуллину. Его растерянность прошла, сменившись новой волной ненависти и злобы, требовавших выхода.

Палец судорожно потянул за спуск. Струя фиолетового пламени опалила голую груд Макаки, а пуля, пронзив щуплое тело, ушла в толпу женщин позади. В истерический вой ворвались крики боли и страха. Этот страх мгновенно погасил дикую вспышку гнева, и большая часть женщин бросилась бежать врассыпную. Только две, смертельно раненных, остались корчиться на земле да в трех шагах от Гизатуллина над упавшей навзничь Макакой склонилась бригадирша. Богиня легко, как ребенка, подняла с земли тело подруги. Та была уже мертва. Голова на тоненькой, слабой шее откинулась назад, из



оставшегося открытым рта вытекала струйка крови. Тимкова бережно положила тело мертвой чернавки на землю и выпрямилась.

Обычно спокойное, с оттенком некоторого самодовольства лицо Богини было искажено горем и гневом. Глаза смотрели на Гизатуллина ненавидяще и почти не мигая, руки рвали петли и пуговицы мокрого ватника:

— Стреляй и в меня, душегуб! Сколько с души получаешь, гад?

Боец отступил на шаг и выстрелил. Женщина схватилась руками за грудь, покачнулась и упала лицом вниз к ногам своего убийцы.

Теперь волна безудержной истерии уже подхватила Гизатуллина. Подняв глаза, он увидел на середине поля отбежавших туда и снова сбившихся в кучу, но уже пришедших в себя женщин. И не отдавая себе отчета, что делает, выстрелил в эту перепуганную толпу. Две подстреленных женщины опять забились на земле, а остальные, отчаянно крича, снова бросились бежать. Это зрелище только подстегнуло убийцу, в сознании которого плотина, заграждающая путь к бессмысленному уничтожению себе подобных, была не только прорвана, но и смыта потоком почти животной ненависти. В Гизатуллине проснулся первобытный разъяренный зверь, охваченный жаждой крови и потребностью убивать.

Обезумевший боец стрелял с колена, теперь уже тщательно целясь. Его воспаленный мозг работал почти как центральное устройство убивающей машины, стрелявшей по всему живому, что попадало в поле зрения убийцы. Это устройство оценивало расстояния до цели, учитывало направление и скорость ее движения, в нужный момент отдавало руке команду освободить пружину ударника.

Вместо того чтобы залечь в канаве или скрыться в зарослях, женщины панически бежали вдоль поля. Одними из первых пули Гизатуллина настигли Анютку Откуси Ухо и молодую сектантку. Одна была несколько перегружена женскими прелестями, другая почти не могла бежать из-за сваливавшегося с ноги огромного башмака. Сбросить на ходу и второй башмак девочка не догадалась. Теперь они лежали почти ря-

дом, набожная евангелистка и веселая безбожница, жрица свободной любви.

Боец стрелял, сверкая глазами сквозь щелки прищуренных век. И что-то бормотал по-татарски, то со злобной радостью при удачном попадании, то с неистовой злобой при промахе. Его руки автоматически выдергивали из подсумка на поясе обойму за обоймой, сноровисто вкладывали их в магазин винтовки, четко и быстро приводя свое оружие в готовность к очередному выстрелу.

Выстрелы, однако, становились всё реже. На всем доступном взору одержимого стрелка пространстве люди были либо убиты, либо убежали или спрятались. Выискивая очередную жертву, убийца шарил глазами где-то вдаль, когда перед ним выросла высокая, прямая фигура. Это была старуха сектантка, шедшая прямо на него с предостерегающе согнутой в локте рукой. Подобные фигуры с мрачными глазами Файзулла видел на изображениях в православной церкви, в которую из любопытства забегал в детстве. По странной прихоти его память извлекла на мгновение из своей кладовой именно этот полустершийся и далекий образ, полностью потеряв представление о работяге-субботнице из бригады Тимковой. Для стреляющей машины, впрочем, это не представляло ни интереса, ни значения. Последовала мгновенная цепь команд и их четкое исполнение. Убийце показалось, что старуха свалилась как статуя, не изменив своей угрожающей позы.

— Прекрати огонь, Гизатуллин!

С соседнего поля бежал конвоир работавшей там бригады. Его подконвойные разбежались от шальных пуль сумасшедшего стрелка. Но и товарищ по отряду был для этого стрелка только мишенью. Автомат работал по-прежнему точно и четко. Поворот, прицел, выстрел. Боец выронил винтовку и упал.

За бойцом, на расстоянии нескольких шагов от него, потоку перебежали еще два человека, возчик Рогов и бородач агроном. Бородач остановился, но смелый парень продолжал нестись на Гизатуллина. Возможно, он рассчитывал отнять у него винтовку. Но тоже упал, скошенный пулей. Тогда агроном бросился в траву. Буйные сорняки на этом участке были

бельмом в глазу у старого полевода. Но и они оказались недостаточными высокими, чтобы его укрыть.

Привстав, убийца отыскивал глазами новую жертву. Но видел перед собой только трупы. Пытавшихся уползти раненых он уже добил новыми меткими выстрелами. Тела валялись не только на сорнячной плантации, как называл участок штрафной бригады покойный агроном, а и на ухоженном соседнем поле, и между пнями старой лесосеки, и даже между кустами тальника на протоке. Туман, на беду, еще поредел, а зрение у Гизатуллина было очень острым. Сквозь сетку дождя он увидел вдалеке лошадь, тащившуюся в упряжке, но без возчика. Человек, вероятно, убежал. Сумасшедший с видимой разумностью поднял на нужную высоту прорезь прицельной рамки, тщательно навел на цель мушку и нажал на спусковой крючок. Сухо шелкнул боек, но выстрела не последовало, в стволе не было патрона. Тогда пальцы привычно скользнули к подсумку, но и он был пуст.

Питавшей состояние транса возможности убивать более не было. Очнувшийся от него стрелок медленно поднялся на ноги, провел ладонью по мокрому от дождя лицу и огляделся вокруг всё еще дикими глазами. После выстрелов тишина в окрестностях казалась тягостным, гнетущим безмолвием. Продолжающийся дождь уже оказывал отрезвляющее действие на воспаленную голову убийцы, его капюшон был откинут, а фуражка лежала в россыпи стреляных гильз. Однако возвращающееся сознание несло с собой только нарастающий ужас перед содеянным.

Как всегда в таких случаях, мелькнула надежда, что всё это только кошмарный сон. Но и вода, стекавшая с волос убийцы, и нагретый ствол его винтовки, и трупы, и даже рваный туман на дальних заплаканных сопках — всё было беспощадной реальностью, как и охватившая Гизатуллина невыразимая тоска.

К ней присоединился новый прилив ярости. Но теперь это была уже ярость отчаяния. Файзулла размахнулся своей винтовкой и изо всей силы ударил ее прикладом о пень, пытаясь сломать ставшее ненавистным оружие. Пень, однако, был слишком стар, чтобы оказать сопротивление крепкому, окованному

железом дереву. Тогда бессмысленный гнев Гизатуллина переключился в этот пень. Он начал крушить его прикладом, нанося удары часто и злобно, как будто куда-то торопясь.

При этом высоким, бабьим голосом татарин нараспев выкрикивал нерусские слова, не то причитая, не то плача. Когда от пня остался небольшой бугорок на месте переплетающихся корней, Файзулла остановился и в изнеможении перевел дух. Затем размахнулся снова, далеко отшвырнул от себя винтовку и упал лицом в мокрую траву, обхватив голову руками.

Стояла уже осень, не слишком долгая на охотском морском берегу, но слезливая и холодная. Несмотря на ранний еще вечер, в унылой казарме галаганской ВОХР уже горели под потолком голые лампочки. В их свете было видно, как по черным прямоугольникам стекол на незанавешенных окнах кажутся снаружи струи дождя, пробираясь между серыми пятнами мокрого снега.

Выстроившись по команде «мирно», бойцы дивизиона хмуρο слушали чтение приказа командования Вооруженной охраны Дальстроя и выписку из приговора военного трибунала войск НКВД.

Бывший боец ВОХР Гизатуллин Файзулла Садыкович за преднамеренное убийство товарищей по отряду, двоих вольнонаемных работников галаганского совхоза и ранение шальной пулей еще одного вольнонаемного, преступления, совершенные при отягчающих вину обстоятельствах, приговаривался к высшей мере наказания — расстрелу. В приказе по ВОХР сообщалось, что кассационная жалоба осужденного военной коллегией Верховного суда отклонена и приговор приведен в исполнение.

В формуле приговора еще можно было уловить невнятное отражение расстрела Гизатуллиным целой бригады заключенных-женщин. Он был одним из отягчающих обстоятельств его преступления. В приказе же по Вооруженной охране убийство вохровцем своих подконвойных не нашло даже такого отражения.

## Интеллектуал (Признак Коши)

Если при переходе через критическую точку производная функции меняет знак на отрицательный, то функция в данной точке имеет максимум.

*Первый «признак Коши».  
Из учебника математики*

На воле одни с оттенком некоторой презрительности, другие – уважения прозвали руководителя университетской кафедры математического анализа тогда еще мало известным словом «интеллектуал». Уж очень широк был у молодого профессора математики круг познаний и интересов. Он был прекрасным аналитиком и талантливым виолончелистом, игравшим в самодеятельном симфоническом оркестре при Доме ученых. Интересовался множеством предметов, не только смежных с математикой, но и весьма от нее далеких, как философия и история, например. Несмотря на то, что его можно было встретить в гимнастическом зале и в группе туристско-оборванцев где-нибудь на горной тропе, некоторые считали его «рафинированным интеллигентом», комплимент для советского человека более чем сомнительный. Прилагательное «рафинированный» не только не исключало, но скорее даже подчеркивало другое прилагательное, считавшееся почти неотторжимым от понятия «интеллигент» – эпитет «мягкотелый». Предполагалось, и нельзя сказать, не без известной доли резонности, что избыток образованности опасен для дела революции. В отличие от пролетариата, не отягощенного никакими сомнениями относительно ее исторической оправданности, русская интеллигенция, даже в лице новых своих представителей, всё еще несла на себе груз политических, этических и всяких иных сомнений. И, хотя обычно это никак не отражалось ни на практической деятельности интеллигентов, ни на их гражданской честности, угрюмо подозрительное отношение к ним особо трагическим образом сказалось на судьбе советской интеллигенции в «черном» 1937 году. Тогда

погибли многие, если не все, из числа лучших ее представителей.

Оказался среди них и «Интеллектуал». Теперь, впрочем, член бригады навальщиков-откатчиков, работающих на руднике сопки Оловянной, именовался уже проще – «Ученый». Из всех знаний и умений, которыми обладал бывший профессор, теперь практически требовалось только одно – умение напрягать волю, чтобы мобилизовать до возможного предела слабеющую энергию мышц во время работы. А вне её – противостоять принижающему действию каторжного быта и не опуститься до уровня почти животного, как это происходило здесь едва ли не со всеми. Главным способом противодействия отупляющему влиянию каторги ученый считал постоянную «гимнастику ума», столь же здесь необходимую, как гимнастика в обычном понимании этого слова необходима для людей нефизического труда. Здесь он был превращен в «мускульную машину», то нагружающую кусками взорванной породы тяжелую вагонетку, то толкающую эту вагонетку по рельсам, то разбивающую кувалдой особенно крупные камни. Поэтому, занимаясь этим, Ученый придумывал для себя задачи вроде таких: какой формулой можно было бы определить объем вон того клиновидного камня? Или как выразить аналитическую кривую прихотливого изгиба рельсов на повороте откаточного пути? Решал он эти задачи обычно в уме, но в особо трудных случаях писал иногда затейливые математические знаки на стене гранитной штольни куском белой мягкой породы.

Конечно, его за это считали тут «чокнутым», как, впрочем, почти всех ученых, но не презирали и не глумились над его странностями.

Во-первых, Ученый, как оказалось, мог, когда нужно, и постоять за себя. Во-вторых, и это было самое главное, он, в отличие от большинства своих братьев-интеллигентов, был всегда собран и подтянут, и работал лучше не только их, но и многих людей физического труда, крестьян и даже бывших шахтеров. Он пережил едва ли не всех, с кем два года назад был привезен прямо с материка в лагерь у проклятой Богом и людьми сопки Оловянной. Трудно было сказать, что помогло бывшему «рафинированному интеллигенту» побить столь

трудный рекорд. То ли унаследованное от предков-крестьян необычайно выносливое сердце, то ли еще более необычная сила воли, то ли привычка смолоду к физическому труду. Государственная стипендия в середине двадцатых годов была явлением не частым, если социальное происхождение студента вуза не было кристально пролетарским. Поэтому многие зарабатывали себе на пропитание разгрузкой вагонов на железнодорожной станции, пилкой-колкой дров по дворам и тому подобным нелегким трудом. Немаловажное значение, особенно в условиях лагеря при «Сопке», как называли тут гору Оловянную, имело и увлечение Ученого в прошлом горным туризмом. Опыт, приобретенный им на Кавказе и Алтае, неожиданным образом пригодился ему на Колыме.

Скорее всего, конечно, что не какое-нибудь отдельное из этих качеств и навыков бывшего ученого, музыканта и спортсмена, а все они вместе взятые помогли ему поразительно долго не скатываться по пути наименьшего сопротивления к лагерному кладбищу. Он до конца сохранил сознательную волю к жизни там, где у большинства его товарищей по лагерю оставался уже только животный инстинкт жизни, унижительный и, чаще всего, нецелесообразный. Собираение селечных головок по помойке, например, или питье для заглушения голода невероятного количества воды не отдаляет, а приближает смерть от дистрофии и связанных с нею болезней.

Не было, однако, таких «сивок», которых не могла бы, и скорее рано, чем поздно, укатать крутая горка под названием «Оловянная». Она была крута не только в переносном смысле расположенным в ее недрах каторжным рудником и обслуживающими этот рудник лагерями с почти невыносимыми условиями быта заключенных. «Сопка» была крута и в самом прямом смысле тем своим склоном, по которому ежедневно поднимались на ее вершину заключенные работяги рудника. Почти все входы и спуски в его многочисленные шахты, карьеры и штольни располагались на этой вершине или в непосредственной близости от нее.

С точки зрения профессионального альпиниста Оловянная отнюдь не являлась особенно трудным альпинистским «объектом». Обычная для здешних безлесных угрюмых гор,

продолговатая сопка средней высоты. По вертикали от подножия до вершины эта высота едва тянула на какую-нибудь тысячу метров. Склон, по которому совершал свое ежедневное восхождение лагерный развод, был настолько «спокоен», что по нему удалось даже проложить рельсы «бремсберга», канатной железной дороги, обслуживающей рудник. Но добавьте к высоте сопки еще метров триста подъема на пути от лагеря, расположенного километрах в трех от ее подножия, оледените ее склоны осенней и весенней гололедью, завалите их сугробами снега зимой, ударьте в лицо ежедневным «покорителям Оловянной» ураганным ветром высокогорной пурги, обожгите их пятидесяти-шестидесятиградусным морозом, помножьте всё это на число дней в году, и вы получите, далеко еще не полное, представление о трудностях «рекордов», побиваемых подневольными альпинистами. Ежедневные подъемы и спуски были, конечно, только дополнением к четырнадцатичасовому каторжному труду на руднике. Впрочем, многие считали, что дело обстоит наоборот и что этот труд сам лишь дополнение к ежедневному «покорению вершины». Сумма, как известно, от перемены мест слагаемых не меняется, и даже у самых выносливых из «покорителей» окаянной сопки от непривычного высокогорного климата и непомерной нагрузки на сердце развивались болезни, связанные с его расширением. Они-то и сводили в могилу тех из «альпинистов», которые еще раньше не умерли от изнурения и недоедания и не погибли в бесчисленных катастрофах на руднике. О технике безопасности здесь знали только понаслышке и почти о ней не заботились. Было бы нелогично делать крупные производственные затраты ради тех, на чью жизнь здесь в среднем отпускалось не более полутора-двух лет. Почти ежедневно кто-нибудь из совершающих восхождение, а в иные дни и двое, и трое из них, на этот раз уже не могли «взять» вожделенной вершины. Не достигнув ее, они падали, чтобы больше никогда уже не подняться. Не помогали не только мат и угрозы конвоиров, но даже их сапоги и приклады.

Когда лагерный развод добирался до подножия Оловянной, в дни с низкой облачностью уходившей своей вершиной в серые облака, начальник конвоя выкрикивал команду сде-



лать короткий привал. Повторять эту команду ему никогда не приходилось. Вся тысяча человек, а иногда и только триста — это зависело от числа месяцев, прошедших со времени последнего пополнения лагеря, — тут же валилась на снег или камни. И, хотя все знали, что отдых не продлится более пяти минут, большинство сразу же погружалось в сон. Хроническое недосыпание было здесь едва ли не большим бедствием, чем обычная нехватка пищи. За вычетом часов работы на руднике, времени на подъем и спуск в сопки, сборы на развод и стояние у вахты, получение хлеба и баланды, бестолковые поверки и частые «шмоны», на сон у рабочих «основного производства» оставалось в иные сутки не более пяти-шести часов. А так как о выходных днях для заключенных здесь не было речи, то возместить вечную «недоимку» по части сна удавалось только в дни освобождения от работы по болезни. Но получить такое освобождение было тут очень непросто. Для этого, как гласила невеселая лагерная шутка, надо было принести в санчасть «голову под мышкой».

Поэтому насколько охотно выполнялась команда «Садись!», настолько же неохотно люди пробуждались от мгновенно охватившего их свинцового оцепенения. Они тяжело поднимались на ноги, нередко только после конвоирского пинка ногой, и начинали мучительный подъем на гору, на который уходила едва ли не большая часть их слабеющих физических сил.

На этом участке пути конвоиры не окружали колонну заключенных, как обычно, а пропускали ее вперед, чтобы самим замыкать шествие. Если и всегда-то они были больше погонщиками, чем охранниками, то при подъемах на сопку превращались уже исключительно в погонщиков, притом невероятно свирепых. Иначе было нельзя. Развод на склоне Оловянной имел злостную тенденцию растягиваться едва ли не на всю его длину. В то время как голова «колонны» достигала уже вершины сопки, ее хвост плелся в доброй версте от этой вершины, даже при условии непрерывного понукания и толчков прикладами в спины отстающих. Тех, кто валился наземь, вохровцы методически избивали. Делалось это, собственно, не для того, чтобы заставить упавшего подняться на ноги и продол-

жать путь, такой надежды почти не было — а в назидание остальным. Если дышащего, как запаленная лошадь, доходягу или даже почти совсем не дышащего не дубасить сапогами и прикладами, то много найдется охотников симулировать полное бессилие или сердечный припадок, чтобы быть отправленным в санчасть. Лагерные врачи разберутся, конечно, действительно ли заключенный не мог двигаться дальше или только «придурился». Но обратно на сопку его уже не пошлют, а это для симулянта немалый выигрыш. А вот если такая удача обойдется ему в отбитые легкие или сломанное ребро, то ни ему впредь, ни остальным зэкам заниматься подобной симуляцией будет уже неповадно. А что касается тех, кто и в самом деле не мог продолжать восхождение, то большинство таких умирало, а остальные превращались в совершенных уже инвалидов, не имеющих ни малейшей ценности как рабочая сила. Следовательно, и церемониться с ними уже нечего. В этом рассуждении была своя логика.

В течение почти года, хотя он был далеко не самым молодым из здешних заключенных, Ученый одним из первых достигал места, где лежали и хватали раскрытыми ртами разреженный воздух те, кому и на этот раз удалось одолеть подъем. Но постепенно «сепаратор сопки» отбрасывал его всё дальше от головы колонны, и теперь он плелся даже не в ее середине. Сердце, про которое он шутил прежде, что не знает толком, где оно находится, давало себя знать всё сильнее и чаще. Одолевала слабость, саднящая боль в груди, ощущение нехватки воздуха. Чем ближе к хвосту колонны он карабкался на гору, тем чаще наблюдал, как кто-нибудь рядом с ним останавливался и хватался за сердце. Потом человек медленно опускался на склон, глядя помутневшими глазами вслед тем, кто, тяжело отрывая от земли ноги, продолжал путь дальше. Чаще всего эти глаза выражали только физическую боль, но иногда еще страх и смертную тоску. В углах рта у некоторых выступала пена. Оглянувшись, Ученый видел, как к упавшему, не торопясь, подходят охранники. Теперь он уже и слышал иногда, как, пнув для начала скрючившегося на земле человека ногой, кто-нибудь из них кричал на него ненатурально грубым голосом, как пастух на скотину: «А ну, кончай придуриваться!»

Перспектива такого конца не столько страшила, сколько возмущала Ученого своей бессмысленностью. Стоило родиться на свет на редкость одаренным человеком — теперь, в своем нынешнем положении, он считал себя вправе давать себе такую оценку, — многого достигнуть и к еще большему стремиться, чтобы таким нелепым, противоестественным образом погибнуть среди угрюмых гор, где-то на самом краю света. Он всеми силами на протяжении последних двух лет старался отдалить этот конец, веря в какое-то чудо, невозможность которого отчетливо понимал. Но вера в чудо органически присуща попавшему в безвыходное положение человеческому существу, так же присуща ему, как рефлекс защиты себя ладонями от падающей скалы. Эта вера появляется не только в большом, но и в малом, подчас почти смешном своей наивностью. Разве он не знал, например, что в санчасти лагеря нет почти никаких лекарств, когда пошел вчера к лагерному лектому, бывшему ветврачу, просить дать ему чего-нибудь против усиливающихся день ото дня перебоев сердца. Ветеринар не стал даже прикидываться, что проверяет жалобу больного выслушиванием этого сердца, и порошок дал. Такая легкость отпуска лекарств и его чем-то очень знакомый вкус навели недоверчивого пациента на мысль капнуть в свой порошок разбавленной соляной кислоты, выданной тем же лектомом его соседу по нарам. Эта кислота, да еще отвар кедра-стланика, были в их лагере единственными медикаментами, имеющимися в достатке. Смесь бурно вспенилась. Так и есть — сода! Как у чеховских «сельских эскулапов», ставка на психотерапевтический эффект.

Но если психотерапия при помощи соды удалась, то тем более была необходима теперь его обычная «отвлекающая терапия» при помощи мышления о чем угодно, кроме, конечно, мыслей о своей судьбе. Она отвлекает от этих мыслей и помогает забыть о боли и даже о том, что физические силы неумолимо иссякают. А вот запас тем, на которые можно размышлять во время этих восхождений, продолжающихся не меньше часа, практически неиссякаем. Можно думать, например, о том, что по мере подъема на сопку становится всё яснее, что окружающие ее горы кажутся хаотическим образованием толь-

ко внизу. Вообще понятие хаоса в чем-нибудь порождается всегда недостатком знаний о природе и законах этого явления. Отсюда же видно, что сопки, особенно дальние, вытянуты в цепи, как бы набегающие друг на друга и порождающие мысль о волнообразном движении. Это движение нельзя считать застывшим, так как горообразовательные процессы, особенно в этих местах, всё еще продолжают. Его, например, даже можно было бы выразить, пусть несколько абстрагированной, математической формулой. В противовес представлению о Хаосе – признаку капитуляции разума перед непознанным, математическое отображение явления означает высшее торжество этого разума. Кажется, Лауэ сказал, что математика дарит человеку радость наслаждения истиной в ее наиболее чистом виде. Но эта истина лишена красок, звуков и всего того, с чем связана всякая реальность. Этот горный ландшафт, например. Он наводит на мысль о мертвых планетах, о чем-то глубоко чуждом и враждебном человеку. Этого не выразишь формулой. Здесь нужна музыка. Если архитектура – это «застывшая музыка», как было сказано уже очень давно, то горы имеют на такое определение еще большее право. Только симфония здесь должна неизбежно перемежаться с какофонией. И какое же из этих начал должно подчиняться другому? Это зависит уже от восприятия мира творцом музыки. В отличие от математических выкладок, абсолютно объективных по самой своей сущности, здесь возможно, и даже обязательно, субъективное начало. Без этого самое понятие искусства было лишено своего смысла.

Кому-то из мудрецов, склад ума которого, вероятно, был совсем иным, чем у физика Лауэ, принадлежит мысль, что музыка тем и хороша, что мешает логически думать. Так ли это? Вернее, так ли это всегда? Создатель проективной геометрии, математик Балли находил законы этой геометрии, играя на скрипке. Математический и музыкальный центры мозга, по-видимому, близки друг к другу, если только не совпадают. Среди профессиональных музыкантов математиков, правда, нет. Это объясняется, вероятно, специальным характером предмета математики и трудностью освоения его техники. Зато много музыкантов-любителей высокого класса

среди математиков. Оркестр, в котором он играл, почти сплошь состоял из математиков и физиков. Гениальный физик Эйнштейн прекрасно играет на скрипке. Виолончелист оркестра Дома ученых в иные периоды не сумел бы, наверное, достаточно определенно ответить на вопрос: кто в нем преобладает, математик или музыкант? В своей ранней молодости долго не мог ответить на этот вопрос и великий физик Макс Планк.

Многие, начиная со времен древних греков, пытались найти математические законы музыки. Он сам, в порядке некоего «хобби», пытался разработать, хотя бы в самом общем виде, математическое выражение фуги. Приятели шутили: «Я алгеброй гармонию проверил». Шутка казалась обидной. Приписываемая Пушкиным своему Сальери попытка подменить интуицию гениального музыканта чем-то вроде конструирования музыки по готовым формулам, всего лишь поэтический прием. Ведь и сама математика, если говорить об ее непроторенных путях, создается за счет всё той же интуиции. Представление об ее творцах как о людях сугубо рационалистического ума — плод невежественного и плоского мышления. Познание Истины ради самой Истины не носит примитивно рационалистического характера уже потому, что заранее известно: всякое открытие ставит больше проблем, чем решает их. Познание человеком законов мира часто сравнивают с открыванием ребенком куколок деревянной «матрешки». Ему такое сравнение кажется не совсем удачным. Куколки, по мере того как разбирается забавная игрушка, оказываются всё меньше по размерам. Вложенные же одна в одну загадки природы, наоборот, становятся всё масштабнее, всё глубже, всё труднее для разрешения. Может быть, следовало бы заменить ребенка в подобном сравнении, скажем, червем-древоточцем, помещенным в самую маленькую из матрешек. Пытаясь раскрыть тайну строения окружающего его «мира», этот червяк буравил бы одну за другой крепкие деревянные оболочки. И, конечно, находил бы, что они становятся всё толще, всё объемистее, всё труднее для одоления. Обладай он хмурым и дотошным умом шекспировского Гамлета, червяк-исследователь пришел бы, наверное, к тому же выводу, что и герой знаменитой трагедии:

«Много есть на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам...»

Однако от размышлений на отвлеченно философские темы мозг начал утомляться почти так же быстро, как «мышечный мешок» сердца от физических нагрузок. Надо занять его работой полегче. Например, вычислением энергии, затрачиваемой каждым из этого вот «развода», чтобы добраться до вершины сопки. Задача эта элементарная. Надо помножить средний вес заключенного — его можно принять равным всего пятидесяти килограммам, больше сейчас тут мало кто весит — на высоту подъема в метрах. Получится пятьдесят тысяч килограммометров механической работы. Чтобы выразить ее в привычных калориях, нужно разделить этот результат на механический эквивалент тепла, который, грубо округляя, можно считать равным четырем сотням. Получится, что восхождение на сопку только от ее подножия обходится даже предельно исхудавшему человеку более чем в тысячу двести калорий. Это больше половины калорий, заложенных в хлебном пайке, получаемом теми из заключенных, которые выполняют производственные «нормы». У не выполняющих дневной «план» их урезанный паек едва покрывает расход энергии на одно только это «восхождение». Вот почему сердце, даже у самых молодых и сильных из привезенных сюда, скоро начинает работать, как мотор, в баке которого иссякает горючее. Но это уже тема, запретная для размышлений.

На столбе справа, одном из двадцати, установленных вдоль линии «бремсберга» и несущих провода, питающие ток двигатель лебедки, жирно выведен его номер — 531. Номер опоры в начале рельсового пути на сопку 517. Значит, позади остались почти две трети длины склона. Но будет правильнее определять соотношение пройденного и оставшегося пути не по его длине, а по энергии, затрачиваемой на подъем. Тогда получится куда менее благоприятный результат, сопка с высотой становится круче. Самое трудное место восхождения на нее находится между опорами 533 и 534. Склон там пересекает скальное образование, напоминающее естественный карниз или барьер, протянувшийся параллельно вершине сопки. Подъем на месте этого выступа так крут, что для спрямления

линии «бремсберга» в вертикальной плоскости в нем сделана выемка. Подниматься по этой выемке было бы, конечно, гораздо легче, но заходить в нее во время восхождения на сопку целого развода заключенным не разрешается. Они могли бы задержать движение по «бремсбергу» вагонеточных «поездов».

Чертов барьер является «критическим» участком кривой подъема и с чисто математической точки зрения. Выражение функции этой кривой никому, конечно, не известно. Но несомненно, что ее первая производная где-то, именно здесь, меняет свой знак с плюса на минус. То есть удовлетворяет математическому признаку максимума всякой аналитической функции. Этот признак найден французским математиком прошлого века Коши и долго назывался его именем. Для каторжника, знающего математику и всё менее уверенного, что при очередном восхождении он сумеет преодолеть этот максимум, «признак Коши» стал с некоторого времени чем-то вроде мрачного символа. Конечно, это плод его нынешнего угрюмого праздномыслия. Но и того еще, что большинство смертей, которыми так часто сопровождается восхождение на Оловянную, происходит на этом участке подъема. Возможно, что и давно покойный маркиз Огюстен Луи Коши, имея он возможность наблюдать почти ежедневно происходящие здесь трагедии, усмотрел бы в них не только лишнюю иллюстрацию к своей теореме. Выдающийся аналитик в математике, он был крайне консервативен в своих политических взглядах. Он считал, что попытки насильственного преобразования общества, с какими бы благими намерениями они ни производились, неизменно пагубны, так как нарушают установления самого Бога. Наивная точка зрения верующего человека и клерикала. Но так ли уж далека она от истины, если рассматривать ее с не слишком предвзятой точки зрения?

Эта непредвзятая точка зрения, склонность проверять «своим умом» то, что проверять запрещено, более других людей свойственна профессионалам мыслительной работы. Вроде него самого, например. В обществах с авторитарной формой правления она считается опасным посягательством на монополию немногих думать за всех. Отсюда и извечная война единоличных диктатур и деспотий с собственной интелли-

генцией. Она началась еще в древнем Египте, красной нитью прошла через историю императорского Рима, не говоря уже о средневековых политеократических европейских государствах с их инквизицией. Но первым, кто поставил эту войну на продуманную, рационалистическую основу, был, наверное, китайский император Цинь Ши-Хуанди. Для начала эпохи абсолютно единоличного управления он повелел в своей империи умертвить всех философов. И, притом, такими способами, как утопление в нужниках, например. Это чтобы отбить охоту к критическому мышлению даже у тех, кто отягощен избытком ума и знаний. Цинь Ши-Хуанди жил более двух тысяч лет тому назад. Технические приемы старого богдыхана устарели. Но не его политические принципы. Иначе профессор математики не карабкался бы на эту сопку вместо того, чтобы заниматься теорией расходящихся рядов.

До барьера, перевал через который становится для него всё более трудным, остается всего один интервал между опорами. Всего одна двадцатая общей высоты сопки. А между тем, она равна высоте двенадцатиэтажного дома. И взбираться на эти дважды поставленные друг на друга многоэтажных дома приходится не по удобным лестницам, а по осклизлым, местами еще покрытым тающим снегом камням. Конец мая — один из самых неблагоприятных периодов для восхождения на здешние горы.

Богато иннервированный «мышечный мешок», который люди так долго считали вместилищем своей души, в общем-то, значительно трусливее ума. От одного приближения к круто вздымающемуся участку склона сердце начинает ныть особенно сильно, норовя совсем размагнититься в самый неподходящий момент. Поэтому нужно думать не о близком максимуме крутизны, в которой максимальной становится и нагрузка на почти отказывающее сердце, а о той же «музыке гор», например. С этой высоты уже совершенно очевидно, что здешняя горная система имеет ясно выраженный волнообразный характер, хотя и весьма сложный. Значит, и выражать его надлежало бы средствами полифонической музыки и среди них — фуги. При некотором напряжении воображения он уже сейчас слышит мощные, накатывающиеся друг



на друга волны звуков. Вначале они должны изображать столкновение и борение между собой громадных масс мертвой материи. Затем проникновение в их первозданный хаос некоего организующего начала. Постепенно это начало переходит к своему торжеству, пока еще не окончательному. Борьба сил, слишком могучих, чтобы замечать человека, всё еще продолжается. Трагическая «тема» этого человека едва пробивается сквозь раскаты воображаемой полифонии. Сегодня она — совсем слабый, какой-то молящий звук. Это потому, что человек уже почти исчерпал свои силы в борьбе с враждебными силами. И одна из этих сил — сила тяжести, ставшая почти неодолимой. Это она не позволяет ему оторвать от скалистого грунта дрожащих, подкашивающихся ног. Это благодаря ей сердце от бешеных вибраций, когда оно, кажется, готово выскочить из своей тесной клетки, переходит к почти полным остановкам. В такие моменты не только ноги, но и всё тело, как будто обмякают, становятся ватными. В глазах темнеет, по лицу и груди как будто кто-то проводит жесткой скребницей. И всё время не хватает воздуха, хотя он дышит уже, как рыба на суше, широко открытым ртом. Мимо бредут люди, полусогнувшиеся, лишь с огромным трудом передвигающие ноги, с такими же, как у него, открытыми ртами. Ну да, он поднялся до высоты, где кривая подъема удовлетворяет признаку максимума Коши. Неужели сегодня он уже не сумеет преодолеть этот максимум? Проходят последние из карабкающихся на сопку заключенных. За ними следуют уже свирепые стражники с их винтовками.

Но, может быть, еще можно предельным усилием воли заставить себя и на этот раз преодолеть проклятый барьер? Может быть, к нему явится даже «второе дыхание», нередко выручающее спортсменов на, казалось бы, безнадежных для них соревнованиях.

Но второе дыхание не приходило. Сквозь застилавшую глаза мглу стало видно, как качается высоченная, гораздо выше Оловянной, соседняя сопка. Кто-то дал этому угрюмому, голому конусу нелепое для него название «Вакханка». Но сейчас гора как будто решила оправдать это название. Пьяно качнувшись несколько раз, она упала. Место ее бурого склона с

красноватыми промоинами заняло совсем близкое, разлохмаченное облако. Ранней весной облака всегда такие тяжелые и набухшие. Ранней, конечно, по здешним понятиям. Где-то уже отцветает сирень, а здесь эти облака, осклизлый снег и что-то еще, чего он никак не может вспомнить...

Всё стремится к состоянию наименьшей энергии. Всё, кроме биологических систем, пока они живы. Он тоже жив, так как думает о том, что же является еще одним характерным признаком весны в этих проклятых краях? Ну, конечно! Добротные яловые сапоги. На них недавно сменили валенки здешние вохровцы...

— А ну, поднимайся, хватит придуриваться! — Удар носком тяжелого сапога по силе и точности не уступал удару по мячу опытного футбольного «бомбардира». Боль от него проникла даже сквозь слабеющее сознание. Но тут же и погасла вместе с этим сознанием, клочковатым, почти черным облаком наверху и высящимися рядом темными фигурами. Второй удар Ученый уже не почувствовал.

## Без бирки

Пожарный темп, в котором на ключе «Фартовый», протекающем в глухом распадке среди высоких сопок на территории Юго-западного горнорудного управления Дальстроя, началось строительство нового золотого прииска, никого тут особенно не удивил. Это был обычный для колымского феодального государства с его всевластными царьками-наместниками «стиль» работы. Должно быть, кому-то из магаданских эмвэдэвских генералов обнаруженные здесь запасы «первого металла» показались достаточно перспективными, чтобы, ткнув перстом в это место на карте, генерал изрек: «Быть тут прииску! Сроку на обустройство даю четыре месяца!» Приказ об организации на Фартовом прииска был «спущен» в мае третьего послевоенного года, а начало на его будущем золотоносном полигоне первых вскрышных работ намечено уже в октябре.

В сотне километров в сторону от главного колымского шоссе, на дне мрачноватого извилистого распадка закипела работа. Несколько сотен заключенных лесорубов, землекопов и плотников пригнали сюда «пешим строем». Палатки для временного лагеря, провиант, пилы, топоры и прочий инструмент бечевой на кунгасах притащили по рекам и речушкам. Вдоль наметившейся на Фартовый петлястой горной трассы разбили несколько палаточных «подкомандировок». Дорога при здешних стройках — дело первоочередное и первостатейное. Всё необходимое для строительства, его работы и жизни людей надо доставить на место еще до наступления зимы. Потом, когда завоет здешняя высокогорная пурга, надежда на узкую боковую трассочку с ее незащищенными от заносов перевалами и узенькими карнизами-«прижимами» на склонах

сопок будет плоха. Опыт на этот счет тут был богатый и горький. Не раз уж случалось при подобных скоростных строительствах, что сотни и даже тысячи подневольных работяг оказывались отрезанными зимой от сравнительно обжитых районов Колымы и едва не поголовно погибали.

На золотых приисках, особенно колымских, ничто не строится особенно основательно и всегда носит временный, подчас почти бивуачный характер. Дело тут не только в спешке, вызванной очередным генеральским хотением и щучьим велением. Строить на прииске что-нибудь слишком фундаментальное просто не имеет смысла. Запасы золотого песка истощаются, как правило, за несколько лет, и единственное, чаще всего, в целом обширном районе предприятие закрывается. Поэтому при строительстве поселка здесь нет и намека на мысль о его возможном расширении и благоустройстве.

Особенно недолговечными, самыми дешевыми по своему типу и качеству применяемых материалов строятся бараки приискового лагеря. Обычно это строения «каркасно-засыпного» типа с «совмещенной» кровлей. В землю вкапываются не слишком толстые столбы, к ним с внутренней и внешней стороны будущего барака приколачиваются горбыли, а пустота между слоями обшивки засыпается опилками. Вот тебе и стены, которые, чтобы из них не выдуло опилок ветром, густо обмазываются с обеих сторон глиной. К стропилам над этим сооружением пришивается сплошной слой досок, покрываемых сверху дранкой. Крыша служит здесь одновременно и потолком помещения, поэтому она и именуется «совмещенной», а само строение на языке лагерных архитекторов носит также название «бесчердачного».

По такому же типу строились бараки и на Фартовом. Но вот что озадачило строителей: в подслеповатые оконца им было приказано встраивать толстенные решетки, а на двери навешивать снаружи тяжелые амбарные запоры. Это было бы смешно — стену такого барака можно было разломать в любом месте с помощью обыкновенного кола или кочерги, — если бы люди не понимали, что назначение этих решеток и запоров вовсе не в том, чтобы укрепить барак. Оно заключалось, несомненно, в угнетающем действии на его будущих жителей.

В обычных лагерях так укреплялись только бараки усиленного режима, БУРы. Здесь они предназначались для всех лагерников. Выходило, что этот лагерь какой-то особенный.

Это было еще более очевидным, если судить по типу ограждения будущего лагеря. Оно строилось так, как будто его заключенных собирались удерживать здесь только постоянной угрозой их поголовного истребления, а сами эти заключенные только о том и думали, как бы им поднять общее восстание против своей охраны. На высоких, прочно врытых в землю столбах густо и «в переплет» натягивалась колючая проволока. Со стороны лагерного двора, наверху каждого из столбов этой ограды также укреплялась колючка. Со стороны зоны образовывался род наклонного колючего навеса, попробуй, перескочи! В двух метрах от проволочной ограды вокруг лагеря строился глухой и высокий дощатый забор, над которым в три ряда тянулась всё та же «колючка». Третий пояс зонного ограждения, но уже изнутри, образовывала «запретка». Это невинный с виду невысокий деревянный барьер, на столбиках которого укреплялись выбеленные щиты с жирной черной надписью: «Стоять! Стреляю!»

Удивительно мощным было также освещение линии ограды и двора лагерной зоны. С одного из каждых четырех кронштейнов на ее столбах свисала лампа-пятисотка, на вышках по углам лагеря и рядом с вахтой установлены прожекторы. С обеих сторон каждого барака врыты высоченные столбы с подвешенными на самом верху мощными лампами. Всё это светотехническое хозяйство требовало такого количества энергии, что во время его испытания приисковская электростанция, передвижная американская установка с дизелем «болиндер», оказалась нагруженной едва не на половину всей своей мощности. Света, проникающего в оконца бараков с лагерного двора ночью, было почти столько же, сколько его давали тусклые лампочки, подвешенные под двускатными потолками этих бараков.

Но самое тягостное впечатление произвели на строителей нового лагеря невысокие, но довольно широкие отверстия, которые плотникам велено было проделать на уровне пола в стенах «скворечников», будок для часовых, поднятых на тол-

стых ногах-раскоряках. Отверстия были обращены внутрь зоны и закрывались откидывающимися на петлях деревянными щитами. Не сразу догадались, что это амбразуры для станковых пулеметов. Если такие пулеметы установить только на двух угловых вышках, то в лагере не останется ни одного угла, в котором можно было бы укрыться от их огня. Лагерные бараки не предоставляли от пуль почти никакой защиты.

Был еще один строительный объект, пожалуй, более всего остального удивлявший даже самых бывалых и опытных из заключенных строителей — казармы охраны будущего лагеря. Обычно это один-единственный небольшой барак, в котором размещается несколько десятков вохровцев, несущих службу конвоирования, охраны зоны и оцепления прииска. Здесь же строилось несколько длинных, притом бревенчатых, а не каких-нибудь каркасно-засыпных, барачков, тесно поставленных параллельно друг другу. Бараки и ровный плац перед ними были окружены колючей оградой с вышками по углам. В будках этих вышек тоже были предусмотрены амбразуры для пулеметов, но проделаны они были уже в наружных стенах скворечников.

По-видимому, лагерь предназначался для осужденных на каторгу. Этот вид заключения появился во второй половине войны как мера наказания для особо тяжелых политических преступников, главным образом изменников Родины и пособников немецких оккупантов. Считалось, что КТР отличаются от обычных ИТЛ так же, как тюрьма отличается от воли. Но так как в то время лагеря принудительного труда, особенно те из них на Колыме, которые обслуживали дальстроевские предприятия «основного производства», и так были плохи хуже некуда, то чтобы выдержать упомянутый принцип, каторжанское начальство и конвой проявили тогда немало усердия и изобретательности. Помноженное на их необъятные возможности, это усердие сразу же принесло свои плоды. В одном из КТР почти всех его каторжников переморозили, затянув им выдачу зимнего обмундирования почти на два месяца — нет, мол, никакого, даже рваного! На другом достигли почти такого же результата, не давая в лагерь топлива. И всюду ненавистных предателей и изменников морили голодом. Всё это в дополнение ко всему, что предписывал официально свирепый

режим каторги. А каков он, можно судить хотя бы по тому, что матрасов, например, каторжникам не полагалось, они должны были спать на голых нарах. Местное начальство сумело кое-где усовершенствовать и этот пункт устава КТР. Настилы для барачных нар делали из горбыля «обзолom» вверх.

Все эти патриотические мероприятия не замедлили принести плоды. Почти все каторжане «первого привоза» погибли или стали инвалидами уже в первую зиму. Успех был явный, но он вступил в противоречие с производственными интересами Дальстроя: КТР тоже были рабочей силой. В дело вмешалось, вероятно, высшее начальство, и режим каторги был значительно смягчен. Ко времени строительства на Фартовом прииске, от обычных лагерей она отличалась почти только своими внешними атрибутами, правда, весьма унижительными и устрашающими: рогатыми суконными шапками того же покроя, что носили зимой немцы-оккупанты, номером на спине и на этой самой шапке, запиранием заключенных на ночь в бараки с решетками на окнах. Однако это были больше факторы морального воздействия, придуманные досужими специалистами из ГУЛАГа и нередко творчески переработанные на месте. Теперь и на каторгу распространялось спасительное нововведение, принятое в лагерях Дальстроя немногим более года назад. Оно заключалось в отмене прежней системы битья заключенных «по брюху» за невыполнение ими лагерных норм выработки. Лагерникам гарантировался даже при их отказе от работы такой минимум питания, при котором человек мог существовать неопределенно долго. Этот минимум так и назывался «гарантпайком» и был введен не без сильного сопротивления мудрецов из ГУЛАГа и некоторых бурбонов из дальстроевского начальства. Эти полагали, что, получив гарантийную восьмисотку, заключенный работать не станет, даже если за работу ему станут немного платить и дадут возможность приобретать себе дополнительное питание. Злые глупцы в генеральских погонах плохо знали человеческую природу. За миску мясных шей, которую можно было получить теперь за дополнительную плату, люди готовы были работать даже сверх своего рабочего дня. Не стало бесполезной «слабосиловки», почти прекратилась смертность. Рентабельность лагерного

труда возросла во много раз. Изменения к лучшему произошли и на каторге. К ней привыкли, и охрана каторжных лагерей отличалась от обычной охраны не так уж сильно. На Фартовом же в этом отношении затевалось нечто исключительное.

Недоумение вызвало и то обстоятельство, что строительство и организация отделений КТР прекратились вместе с войной. Осужденных на каторгу, правда, иногда еще сюда привозили, но это были почти уже единичные случаи. Сейчас же — это было уже известно — строится не один лагерь такого же типа, что и на Фартовом. Откуда же взялось после всех «изъятий» и всесоюзных «облав» такое количество сверхопасных преступников? На этот счет среди заключенных ходили всевозможные слухи и кривотолки. Говорили, например, что на Колыму прибывает огромный пароход с преступниками, содержащимися до сих пор в каких-то секретных тюрьмах. Это люди, совершившие во время войны тягчайшие преступления и сплошь приговоренные к виселице. Однако по причине отмены в Советском Союзе смертной казни — она была действительно некоторое время формально отменена — бывшие пособники гестапо, вешатели и расстреливатели мирного населения уцелели. Теперь они будут вкалывать на Колыме, но в кандалах и под неусыпным конвоем. Нечего и говорить, что у каждого из осужденных на пожизненную каторгу тяжких преступников на спине номер и откликаются они только по этому номеру. Будущий лагерь будет носить название «Берегового лагеря», сокращенно «Берлага», хотя и непонятно, при чем здесь какой-либо берег. Это один из лагерей специального назначения с особым режимом. Заключенные в спецлагах как бы погребаются заживо. Они не имеют даже права писать родным письма. По сравнению с их режимом режим обычных КТР едва ли не курорт.

Было очевидно, что в Берлаге с его лагерями-крепостями будут содержаться действительно враги, озверелые политические бандиты, по сравнению с которыми итээловские липовые «враги народа» и самые тяжелые «урки» из блатных — не более чем мелкая шпана. Недаром для этих свирепых, вероятно, способных на любой эксцесс в любое время извергов предусматривается такое число вооруженных до зубов охранников, которое едва ли не превышает число охраняемых.



Люди, живущие в нормальном обществе и обладающие всеми гражданскими правами, обычно думают об угнетении и унижении себе подобных с чувством отвращения и невольного внутреннего протеста, даже если знают, что это вызывается общественной и государственной необходимостью. Те же, кто унижен и бесправен сам, реагируют на это иначе. Для большинства таких сознание, что есть кто-то, кто еще более унижен и бесправен, чем они, питает в них чувство, похожее на ощущение некоей сословной привилегии. Дворовый холоп нередко презирал смерда только потому, что хозяйский кнут по его спине гулял несколько реже, чем по спине крестьянина-земледелца. Кастовость в Индии проявляется особенно грубо и резко на уровне «неприкасаемых». Многие из здешних итээловцев, проведая о режиме Берлага, для которого они строили ОЛП № 12 – это тоже было уже известно, – преисполнились чувством едва ли не гордости. В самом деле, иногда, как например, теперь вот, они живут и работают почти без конвоя, номеров никаких не носят, писем домой могут писать сколько угодно. Лагерное начальство, надзиратели и даже конвоиры окликают их по фамилии. И только если не знают этой фамилии, то кричат: «Эй, ты!» или «Эй, мужик!» Но это совсем не то, что какой-то там «человек номер...».

Однако в этом подленьком сознании некоторой своей привилегированности было и рациональное, эгоистическое начало. Оно заключалось в ощущении реальной выгоды, вытекающей для менее угнетаемых групп заключенных из учреждения лагерей с особым режимом. Было по опыту известно, что чем больше начальственного рвения уходит на репрессирование одной группы лагерников, тем меньше этого рвения остается на долю другой. Раз какие-нибудь берлаговцы объявляются «настоящими» врагами народа, то остальные, стало быть, являются менее настоящими. Во времена ежовщины, например, уголовники и бытовики официально именовались «социально близким элементом» и натравливались на «контриков». Теперь неприкасаемость особо опасных врагов обеспечивалась их строжайшей изоляцией. Однако хитрое начальство всякими намеками и полунамеками старалось поддержать в итээловцах примерно те же настроения, что у блатных конца

тридцатых годов, хотя уже с иными целями. Сознание, что они теперь едва ли не «социально близкие», создавало у заключенных работяг чувство собственного благополучия и благотворно отражалось на производительности их труда.

Когда один из барачков строящегося лагеря был уже готов, в него из палаток переселили его строителей. По вечерам, глядя на забранные решетками оконца будущего жилья таинственных берлаговцев и на грозное ограждение лагерной зоны, заключенные, с удовлетворением сознавая, что они – не такие, вкривь и вкось толковали о страшных, занумерованных преступниках и о том, откуда они взялись. Точнее, возьмутся. Дело в том, что никаких «радиосшептограмм» из ногаевской пересылки, миновать которую никто из привезенных из-за моря никак не мог, покамест не поступало. Зэков привозили полными пароходами из Прибалтики, Западной Украины и других районов СССР, население которых подозревалося в сочувствии гитлеровцам. Но это были заключенные самого обыкновенного типа. Тут начальство хранило какой-то неприкосновенный секрет.

Зима в этом году наступила рано. «Белые мухи» начали летать уже в конце августа, а к середине сентября снег довольно толстым слоем лежал на склонах окрестных сопков, дорогах, крышах почти уже готового лагеря и строениях прииска. Все знали: это уж до далекой весны. Никаких, даже кратковременных отступлений здешняя зима никогда не делает. Но основные задания по строительству на Фартовом и монтажу несложного оборудования прииска были готовы к сроку, хотя, конечно, не без туфты. Если землекопы, плотники и вспомогательные рабочие были уже почти все отправлены обратно в их постоянные лагеря, главным образом в «комендантский» лагерь на Брусничном, столице Юго-запада, то штукатуры, механики и электрики еще доделывали то, что согласно актам о выполнении работ считалось уже принятым. Из Магадана и Брусничного их постоянно поторапливали. Видимо, вот-вот должны были прибыть эти, бог весть откуда взявшиеся, берлаговцы.

В начале октября в поселок с залихватским полублатным названием прибыла рота, первая из целого батальона охранников будущего ОЛПа № 12 и разместилась в своей новень-

кой казарме. Это были солдаты срочной службы – очередная неожиданность для старых колымчан. До сих пор все лагеря, в том числе и каторжные, охраняла вольнонаемная ВОХР. Хмурый офицер с погонами майора, командир охранного батальона, и два его помощника, тоже офицеры, придирчиво принимали сооружения зоны и солдатских казарм. Было похоже, что они и впрямь собираются сдерживать пулеметным огнем восставших заключенных в загоне лагеря, а если это не удастся, то насмерть стоять в глухой обороне, отражая их штурмы.

Еще через два дня, хотя строительные недоделки были ликвидированы далеко еще не все, оставшимся итээловцам задолго до конца рабочего дня было приказано прекратить работу, сдать инструмент и явиться в свой барак. Здесь их не только пересчитали, но и проверили по формулярам. Затем объявили, что завтра, рано утром, они отправляются на Брусничный. Народу было совсем немного, едва только на одну этапную машину.

Однако на рассвете следующего дня эта машина из Фартового не выехала, так как в местном гараже ее не успели вовремя отремонтировать. Ефрейтор, начальник этапного конвоя, состоявшего, впрочем, только из него и еще одного, рядового воровца, ругался и кричал, что напишет на нерадивых гаражников рапорт. Его этап, видите ли, должен непременно добраться до главной трассы не позже, чем к двенадцати часам. Почему именно, ефрейтор не говорил, есть такой приказ и все, и только продолжал ругаться, от чего, конечно, шестерни в коробке сцепления не переставали греметь. Выехали уже совсем засветло, часа на три позже намеченного времени. Ехали, как и предполагалось, довольно медленно, так как трассу местами уже успело занести снегом. Да и вообще при таких крутых, как здесь, подъемах и спусках, частых поворотах и прижимах шибко со скоростью не разгуляешься. К тому времени когда машина должна была быть уже на главном шоссе, она только еще въезжала на вершину довольно высокого перевала, пришедшегося примерно на середину дороги до Фартового. Сидевший в кабине грузовика рядом с шофером начальник этапа злобно выругался и ударил себя кулаком по колену: за встречу с тем, что он увидел внизу, начальство посулило ему пять суток «губы».

Вытянувшись в длинную вереницу машин, навстречу маленькому этапу шел другой, громадный этап. Основную его часть составляли такие же «газы», наполненные людьми. Однако во главе колонны и в ее хвосте шли «татры» — мощные большегрузные машины, завезенные на Колыму совсем недавно. Их можно было узнать не только по внешнему виду, но и по характерному звуку моторов. Его издавали вентиляторы воздушного охлаждения. Люди на «татрах» резко отличались от пассажиров газиков цветом своей одежды, они были одеты в светлое, очевидно, в новые солдатские полушубки. До каравана внизу оставалось около километра, и уже можно было рассмотреть оружие многочисленных охранников этапа, почти подходившего к подъему на сопку.

— Докукарекались! — с сердцем сказал ефрейтор, — Берлаг прет... Из-за филонов в вашем гараже не успели-таки вовремя на большак проскочить... Непременно напишу на вас, сволочей, рапорт!

— А по мне хоть два рапорта пиши, — пожал плечами шофер, — я что ли у газика сцепление ремонтировал?

— Все вы там б... — буркнул ефрейтор.

Водитель начал спуск.

Лет пять шоферивший здесь и в заключении, он отлично знал писанные и неписанные законы колымских дорог. Если бы встречная колонна машин уже начала подъем на перевал, то подождать на специально для этого «спланированной» площадке и пропустить эту колонну должен был он. Но машина-одиночка въехала на склон первой. Теперь, как уже начавшей спуск, путь ей должны были уступить встречные машины, хотя бы их там была целая сотня.

Но внизу на этот счет были, видимо, другого мнения. Главная «татра» пересекала место, где еще можно было разъехаться, и начала карабкаться в гору. Это было слышно и по звуку ее вентилятора, завывшего на самой высокой ноте. Этот тонкий вой сразу же подхватили хрипылыми голосами остальные машины, одна, другая, третья...

— Шары там у них повылазили, что ли? — водитель нажал на тормоза и растерянно взглянул на начальника.

— Шоферской закон нарушают б...!

— Плевали они на твой закон! — зло ответил ефрейтор, — у спецэтапа право на «зеленую улицу» есть, вот что! — Он открыл дверцу кабины и спрыгнул на дорогу. — Выруливай вот теперь обратно наверх! Так тебе и надо, раз работать не хотите, филоны чертовы!

— Говорю, не я сцепление ремонтировал, — сказал шофер, — мое дело баранку крутить...

Заклученные в кузове и ехавший с ними второй конвойный солдат, тоже, конечно, давно уже заметили встречный этап. Вохровец взобрался даже на доску под кабиной, служившую ему сиденьем, и махал над головой автоматом; остановитесь мол!

— Сейчас, ребята, они нас как испугаются, да к-а-ак шахнутся со своими машинами под откос... — с издевательскими интонациями в голосе заметил кто-то из заключенных.

Молодой солдат с лицом деревенского подпaska сердито обернулся, но ничего не сказал и начал со смущенным видом скручивать сигарку. Подавать спецэтапу сигналы остановки было с его стороны очевидно бессмысленным и довольно глупым делом.

— Солдатни-то сколько... — протянул кто-то из зрителей.

— А собак? — добавил другой.

Было уже видно, что солдаты сидят не только в головной и замыкающей машинах. Ряды полушубков, по одному на каждую машину с заключенными, виднелись и под кабинами всех этапных грузовиков. Были видны уже и белые прямоугольники на серых бушлатах заключенных, несомненно, номера. Покамест всё, что толковала о Берлаге лагерная молва, по-видимому, подтверждалось. А в том, что внизу двигался этап с первыми новоселами только что отстроенного ОЛПа №12 какого-то Берегового лагеря, сомнений быть не могло. Кое-кто силился найти и подтверждение слуха, что заключенные страшного Берлага постоянно закованы в кандалы. Рассмотреть этого пока не удавалось, а вот золотые погоны офицера, высунувшегося из кабины передней машины, были видны отчетливо. Очевидно, это был начальник этапа. Он делал рукой такое движение, как будто что-то отпихивал от себя ладонью, перемежая их с утрусами кулаком.

— Давай, рули в гору! — сказал шоферу ефрейтор, — сама себя раба бьет, когда плохо жнет...

Шофер некоторое время хмуро молчал, позади был узкий прижим к крутым поворотам. Потом заявил:

— Скажи своим мужикам, чтобы высадились из машины. С людьми этот драндулет в гору не поведу.

Ефрейтору, видимо, очень не хотелось этого делать. Ему было приказано избежать встречи с берлаговским этапом, чтобы здешние заключенные вообще его не видели. А всё складывалось так, будто спецэтап провезут мимо них специально на показ. Но требование шофера было весьма резонным, машина за милую душу могла скатиться по склону сопки в тартарары.

— Вылезай, все! — сердито крикнул начальник конвоя, и сам выпрыгивая из кабины. Злой не менее его, «водила» старенького газика вылез на подножку, посмотрел назад, на добрые триста метров петлястого карниза и, произнеся как молитву длинное блатняцкое ругательство, включил задний ход. Грузовик медленно пополз вверх.

Его пассажиры выстроились в тесный ряд на самом краю узкой дороги. Но начальник берлаговского конвоя считал, видимо, что так они окажутся слишком близко к его машинам.

— В сторону! Еще в сторону! — кричал он, взмахивая рукой уже таким образом, как будто он спихивал нежелательных встречных куда-то в самый низ сопки. Те, рискуя и в самом деле скатиться по ее склону, попятились еще.

Но и отсюда условия для разглядывания идущего мимо этапа были почти идеальными, тем более что сдерживаемые пятившимся впереди газиком машины едва двигались. Итэ-эловцы пялили глаза на настоящих врагов народа и Родины, понуро сидевших на дне автомобильных кузовов. Борта этих кузовов были надстроены решетчатыми деревянными щитами, как при перевозке скота. Но у машин-скотовозок дело этим и ограничивается, здесь же щиты были густо переплетены неизбежной «колючкой». Абы кого с такими предосторожностями этапировать не станут!

Ожидаемых кандалов, однако, на берлаговцах не оказалось. Они смиренно сидели, положив руки на колени, над левым из которых тоже был нашит номер. Такой же номер, белый

тряпичный прямоугольник с жирной трехзначной цифрой и буквой спереди, был и на шапках спецзаключенных.

Конвой этапа поражал своей боевой силой. Кроме автоматчиков среди конвойных были солдаты, вооруженные винтовками. Это, видимо, на случай дальнего боя. У многих к поясу были пристегнуты гранаты. В передней и задней машинах сидело по солдату, державшему наготове ручной пулемет. Конвойные, ехавшие в машинах вместе с заключенными, были отделены от них высокой деревянной решеткой, и в каждой из таких загородок скалилось по собаке.

И всё же, густо облепленные номерами преступники в кузовах никак не производили впечатления плененных людоедов. Это были, большей частью, уже пожилые люди с усталыми, изможденными лицами. Более того, многие казались даже знакомыми.

— Да это ж старший агроном из нашего совхоза! — толкнув соседа локтем, изумленно сказал электромонтер из Брусничного, — гляди, номер Ка — шестьсот тринадцать... — Сосед изумился еще больше. Этот агроном, фактический организатор одного из приполярных совхозов, вот уже много лет жил в своей конторке на тепличном хозяйстве. В лагерь он ходил вряд ли чаще одного раза в год, в дни общей проверки по формулярам, «инвентаризации поголовья», как называли эту операцию сами лагерники. Старый агроном «добивал» последние годы из полученных в ежовщину пятнадцати лет. — Степан Гаврилович, здравствуйте! — крикнул с обочины монтер.

Берлаговец криво улыбнулся и, скорей всего машинально, чуть приподнял руку от колена, сделал ею слабый приветственный жест. И тут же один из конвоиров в его машине, как ужаленный, вскочил со своего места под кабиной и выхватил из кармана полушубка наручники:

— Бруслета захотел, Ка — шестьсот тринадцатый! — Остальные солдаты в этой машине тоже вскочили и направили на зрителей дула автоматов: — А ну, отойди! — хотя отходить было некуда. Различия между заключенными на снегу обочины и их конвоирами берлаговские охранники, видимо, не делали.

Это были сплошь мальчишки, явно первогодки срочной службы. Такие принимают всерьез всё, что их политруки го-

ворят им и про их подконвойных, и про возможных пособников этих подлых преступников, и про высокое назначение конвойной службы, и, конечно, про опасности, связанные с охраной свирепых политических бандитов. Вид у сопляков был свирепый, вот-вот и в самом деле начнут стрелять.

Теперь этап провозжали молча, только глазами, хотя знакомых в нем оказалось очень много. Эта была, большей частью, лагерная интеллигенция из Брусничного и прилегающих к нему итээловских подразделений: врачи, инженеры, бухгалтеры и другие специалисты из заключенных. В свое время они оказались нужными при организации больниц, гаражей, подстанций и это спасло их от доходиловки общих работ. Как правило, эти люди отдавали себя своей работе целиком, так как она не только спасала их от гибели, но и была единственным содержанием их нынешней жизни. Нечего и говорить, что почти все они были «врагами народа». Однако, несмотря на тяжелые пункты одиозной Пятьдесят Восьмой статьи, большинство специалистов жили за зоной и сроки даже у двадцатилетников перевалили за половину.

Теперь было ясно, на какой контингент преступников рассчитывало начальство, отдавая приказ готовить для них укрепленные лагеря. Это была, по-видимому, очередная выдумка Верховного Управления лагерей, а может, кого и повыше. Притом кого-то, полностью игнорирующего интересы производства или ни черта в нем не понимающего. Для строительства лагерей нового типа отвлекается дефицитная в летнее время рабочая сила: из хозяйства Дальстроя выдергиваются и, вероятно, будут совсем загублены нужные и опытные в здешних условиях специалисты; производительность труда лагеря тем ниже, чем строже его режим, для поддержания которого требуется вон какая орава охранников-дармоедов.

Вот те и настоящие! Теперь итээловцев из Брусничного не радовало даже соображение, что репресссионистский пыл начальства будет отвлечен на этих несчастных берлаговцев. Особенно жалели врачей. Вон поехал хирург-чудотворец, в прошлом доцент из университетской клиники, спасший своим ножом великое множество людей, вон низко опустил голову доктор, без всякого рентгена видевший, что у больного



внутри. Теперь таких, конечно, больше не будет. В Берлаг, однако, хватало не только интеллигентов. Рядом с доктором сидел автослесарь-большесрочник, которого называли тоже «доктором», только автомобильным. Он умел заставлять работать казалось совсем уже износившиеся «драндулеты».

Было очевидно, что втайне подготовленная операция по укомплектованию заключенных нового лагеря была проведена весьма оперативно. Но одними только стариками ежовского набора населить многотысячный, судя по его многочисленным ОЛПам, Берлаг вряд ли было возможно. В большинстве машин ехали не эти старики, а судя по их виду, только что привезенные с Материка заключенные, в большинстве эстонцы, литовцы, латыши и «захидняки» из Западной Украины. Однако веры, что хоть эти «настоящие», больше не было. Людей с Запада гнали на Колыму уже давно, и все они были не только не свирепее других заключенных, а пожалуй, даже мягче их. На этих номера еще не были нашиты. Это сделают, наверно, уже на месте.

Газик с Фартового вскарабкался, наконец, на вершину сопки и въехал в «карман» на обочине дороги. Берлаговские машины покатались быстрее. Проехала и замыкающая «татра» с нахмуренными вооруженными мальчишками, убежденными, конечно, что они служат трудовому народу.

Недоумение было и на лицах итээловских вохровцев-конвоиров.

— А мне агроном этот, — вспомнил рядовой, — один раз огурца из теплицы попробовать дал. До того я, наверно, года три никакого овоща не пробовал... — И он вздохнул, то ли пожалев старика-агронома, то ли вспомнив о местах, где обыкновенный огурец не считается экзотическим фруктом, выращиваемым только для стола высокого начальства.

Однако более политичный ефрейтор не поддержал разговора, тем более что он был начальствующим лицом, да еще при исполнении служебных обязанностей.

— Все в машину! — Этапный газик уже спустился сверху, а его водитель затейливо ругался по поводу офицерюги-золотопогонника из берлаговского конвоя, записавшего номер его машины и посулившего написать на шофера рапорт за задерж-

ку в пути спецэтапа. А откуда ему было знать, что даже правила движения по дорогам для этого паскудного Берлага не писаны?

Если в «эпоху Сталина» Советский Союз почти не был конституционным государством, то по отношению к «государству в государстве», незаконному царству бериевского МВД, это было верно безо всякого «почти». О какой законности могла быть речь в непрерывно разбухавшей системе лагерей принудительного труда с ее миллионами бесправных «крепостных» с одной стороны, и кучкой всевластных сатрапов с их аппаратом понуждения с другой. Это была своеобразная феодальная иерархия со всеми присущими ей пороками: бюрократическим бездушием, угодничеством перед вышестоящими, выслужничеством и тупой жестокостью по отношению к основе всей этой системы — заключенному рабу. Довлеющие над страной уродства единоличной диктатуры сконцентрировались здесь как в фокусе увеличительного стекла. Чинопочитание, подхалимаж, почти узаконенное очковитительство сверху донизу, казенный догматизм, верноподданничество расцветали в атмосфере фактической безответственности за жизнь и достоинство людей, как анаэробные бактерии в гнилой воде.

Но самое худшее, возможно, состояло в том, что разбухавшая по свойству всякой бюрократии, генеральская и полковничья верхушка Главного лагерного управления требовала деятельности, чинов и орденов. И в этом своем стремлении она придумывала для себя всё новые объекты ложно патриотической и верноподданнической деятельности. Так, в первые послевоенные годы в недрах ГУЛАГа была изобретена некая чрезвычайная опасность, исходящая якобы от значительной части многочисленных политических заключенных. Для предотвращения этой опасности всех осужденных по тяжелым пунктам статьи о контрреволюционных преступлениях и соответствующим ей «литерам» надлежало изолировать от остальной массы лагерников в лагерях особого назначения. Вероятно, идея таких лагерей встретила высочайшее одобрение, возможно даже, что она и исходила от самого Вождя. Это было видно по преувеличенному до карикатурности усердию, с которым спецлагеря сразу же начали строиться и укомплектовываться. Паразитический аппарат МВД, начиная от гулаговских вель-

мож в Москве и кончая командиром и политруком охранного батальона на каком-нибудь Фартовом, получил новое и обширное поле деятельности. Патологическая жестокость и подозрительность на самом верш, сочетаясь с угодливостью, недоумием и карьеризмом снизу, породили новое детище, очередной злокачественный метастаз раковой опухоли политического угнетения.

Режим, учрежденный для спецлагерей, был суровее, чем даже режим каторжных подразделений, хотя к КТР мог за особо тяжкие преступления приговорить только суд, здесь же находились просто перемещенные из ИТЛ. Таким образом, в законное, по крайней мере по форме, решение суда вносилось кардинальное и совершенно незаконное изменение. Вряд ли где-нибудь еще надменное презрение органов тогдашнего МВД к законности вообще сказалось более ярко, чем при комплектации спецлагерей.

Производилась она по инструкции, составленной, конечно, в самом ГУЛАГе. Согласно этой инструкции, в лагеря особого режима водворялись все осужденные за контрреволюционные преступления на сроки выше десяти лет, хотя бы от этих сроков оставались только месяцы. Осужденные за шпионаж, политический террор и диверсию, а также заключенные по ли-теру ПШ («подозрение в шпионаже») перемещались в спецлагеря независимо от срока. По этой ПШ были заключены, например, многие тысячи бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги, добровольно приехавшие в СССР в середине тридцатых годов. Подлежали изоляции от остальных лагерников также «политические рецидивисты», т. е. осужденные вторично.

По не слишком внятному объяснению, которое давало иногда лагерное начальство по поводу режима спецлагерей, делавшего их во многом даже хуже каторжанских подразделений, следовало, что этот режим диктуется соображениями не дополнительного угнетения заключенных, а только стремлением обезопасить от них Советское государство. Скапливались в одном месте по нескольку сотен и даже тысяч злобные враги народа, способные на политические эксцессы. Возникал, конечно, вопрос: неужели такую опасность представляют быв-

шие многолетние бесконвойники; женщины из Прибалтики и Западной Украины, согнанные в лагерь нередко целыми селами только потому, что возле этого села укрывалась кучка националистов; старики и инвалиды?

Ответ заключался в другом: бериевские хриstopродавцы, используя шизофреническое перерождение мозга верховного вождя, усилившее в нем врожденную жестокость и склонность к крутым мерам, ловили рыбку в мутной воде всеобщей подозрительности и недоверия. Что может в лучшем свете представить перед тираном его верноподданного слугу, чем неусыпное радение о государственной безопасности? Такое радение должны были проявлять теперь даже наименее усердные и внутренне скептические из начальствующих. Кому охота быть обвиненным в преступной безмятежности? Учреждение спецлагерей расширяло деятельность МВД еще и потому, что все закончившие срок в этих лагерях по его хотению автоматически переходили под пожизненный гласный надзор того же МВД в качестве ссыльнопоселенцев в местах «весьма отдаленных». И лагеря спецрежима росли и множились на Крайнем Севере, в Сибири, Средней Азии, Дальнем Востоке и, конечно же, на Колыме.

Каждый из этих лагерей кроме номера имел еще собственное имя, отличавшееся тем, что оно не было связано, как обычно, ни с местностью, где он располагался, ни с характером его деятельности. Любой спецлагерь мог бы безо всякого ущерба поменяться именем с любым другим лагерем того же типа. Все названия были произвольно условными, даже если в них и звучал намек на географическое положение. Тот же «Береговой», например, имел такое же отношение к какому-либо берегу, как «Таежный», расположенный в степи, к лесу, а «Дубравный» — к дубам. Были еще «Минеральный», «Речной» и другие, смысл названий которых заключался в их бессмыслице и отражал разве что меру убогой фантазии своих авторов, генералов и полковников «от параша», как называли их непочтительные враги народа из лагерных интеллигентов.

Названия имели только крупные лагерные спецсоединения, охватывавшие целые районы. Их отдельные лагерные пункты именовались только по номеру, по соображениям той

же конспирации, сразу же, как всегда, ставшей секретом Полишинеля. Эмвэдэвское начальство обожало секретность, даже если дело шло о наименовании металла, добываемого на золотых приисках, или выписке спецзаключенному новых штатов взамен изношенных.

Совсем иной, чем у обычных лагерей, была и рабочая организация спецлагов. Их начальники не подчинялись, как в ИТЛ, начальникам производств, которые они обслуживали. Вообще тут всячески подчеркивалось, что соображения режима и охраны заключенных ставятся гораздо выше их трудоустройства и вообще производственных интересов. Охрана разделялась на внутреннюю, подчиненную начальнику лагеря и состоявшую из вольнонаемных надзирателей, и внешнюю, которую несли армейские подразделения войск МВД. Отношения между этими службами были определены чрезвычайно жесткими и сухими предписаниями, делавшими эти отношения чуть ли не антагонистическими. Они были основаны на казенном взаимном недоверии. Например, внутренняя и внешняя охраны обязаны были передавать друг другу заключенных непременно по строгому и сложному ритуалу, хотя бы дело шло об их ежедневном выходе на работу и возвращении в лагерь.

Все эти новшества, придуманные где-то в кабинетах ГУЛАГа, наносили делу страшный вред. Начлаг имел право по своему усмотрению, ссылаясь на соображения режима, комплектовать рабочие бригады из заключенных совсем не так, как того требовало производство. Плотников, например, направить на землекопные работы, а в бригаду строителей сунуть совершенно неквалифицированных людей. Мог он, ни перед кем не отчитываясь, под предлогом обслуживания лагерных нужд, и вообще недодать людей производству. Это, правда, противоречило финансовым интересам лагеря, который за выставленные на работу «крепостные души» получал арендную плату. А вот конвою, тому было на всё наплевать. Вооруженные подвинки, набранные в конвойные части по признаку малограмотности и провинциальной ограниченности, были, кроме того, подвергнуты еще и специальной политической обработке. Большинство из них были уверены, что их подконвойные — это сплошь предатели Родины и гестаповские палачи, кото-

рым советское правосудие даровало жизнь лишь по неизреченной милости Вождя народов, отменившего смертную казнь вообще. Мальчишкам, с одной стороны, импонировало доверие народа, поручившего им ответственное и опасное дело охраны подлых врагов, а с другой стороны, они знали, что за малейшее упущение они отвечают головой. К этому часто добавлялось еще усердие не по разуму, а у некоторых и стремление выслужиться. В результате заключенные в пути на работу и с работы становились объектом этого усердия, действительного или показного. От них требовали неукоснительного соблюдения «строя», придираясь к малейшему его нарушению, на людей орали, записывали их номера на предмет подачи рапорта о непослушании конвою, каждые несколько минут останавливали для пересчета или просто для «выстойки» на морозе. То же было и на полигоне. Охранники мешали работать, расставляя людей так, как им было удобно, нисколько не считаясь с интересами дела. Они без конца пугались, что кого-то недостает, сбивали людей в кучи и пересчитывали.

Еще хуже обстояло дело с использованием высококвалифицированных специалистов. Формально устав спецлагерей не возбранял назначение своих заключенных на работу по специальности. Но тот же устав не допускал и мысли о чем-либо расконвоировании или малейшем смягчении режима. Второй принцип сводил первый почти на нет. Чтобы организовать, например, работу нескольких спецлагерников-специалистов на приисковой электростанции, понадобилась бы едва ли не перестройка этой электростанции и дежурство возле нее целого взвода автоматчиков с собакой. В несколько лучшем положении оказались медики, так как их можно было использовать в лагерной зоне. Но их в подразделениях спецлага образовался такой избыток, что врачи почитали себя счастливыми, если устраивались санитарями при внутривагнерной больничке. Словом, хозяйственной и организационной деятельности МВД в целом изобретение спецлагерей причинило несомненный и существенный вред. Но вслух об этом, конечно, не говорили: политика и безопасность государства превыше всего.

А для десятков тысяч заключенных, угодивших в Берлаг на одной только Колыме, это было жесточайшим ударом, срав-

нимым по тяжести разве только с несправедливым и незаконным арестом. Особенно тяжело переносили этот удар старые лагерники из тех, на честнейшем труде которых было основано становление всего технического хозяйства Дальстроя. В благодарность за целое десятилетие работы они снова подвергались жестокостям и унижениям, в сущности, противозаконного берлаговского режима. Заключение были тут людьми под номерами, почти начисто отрезанными не только от воли, но и от своих недавних товарищей по заключению в ИТЛ. Писать домой, правда, разрешалось, но не более двух писем в год. Да и были это, собственно, не письма, а автографы, состоящие из двух-трех стандартных фраз: жив, здоров, посылаю привет... Ни о местности, где находится лагерь и даже об ее климате, ни об исполняемой работе, ни о своем настроении писать не разрешалось. Нельзя было и выражать надежду увидеться со своими близкими хотя бы в отдаленном будущем. Будущее спецлагерников заключалось в вечном поселении здесь же, в районе особого назначения. Отсюда не выпускали даже тех, кто завербовался в Дальстрой добровольно, и не впускали сюда никого, кто имел хотя бы отдаленную родственную связь с кем-нибудь из заключенных, даже бывших. Всё это в сочетании с бездушной атмосферой режимного лагеря многих из его заключенных поставило на грань отчаяния, а некоторых, давно уже уставших душевно, сломило окончательно.

Отдельный лагерный пункт № 12 Берегового лагеря при прииске Фартовом (обстоятельство, не подлежащее оглашению) принимал своих первых обитателей, прибывших с этапом из Брусничного. Происходила первая и, как всегда в таких случаях, подчеркнута официальная и придирчивая приемка-передача особо опасных преступников внешней охраной, она же этапный конвой, внутренней охране лагеря. Машины уже ушли, и арестанты, ожидая своей очереди, сидели на снегу дороги, ведущей к лагерным воротам. Напротив этих ворот, не решетчатых, как обычно, а глухих, с массивной вышкой часового рядом, стоял столик, за которым сидели начальник лагерной УРЧ и начальник этапа. Обычного плаката со сталинским заявлением, что труд в СССР — дело чести, доблести и героизма, над воротами не было.

По обеим сторонам дороги выстроились солдаты с автоматами, и почти на каждый десяток этих солдат один держал на поводке овчарку. Позади этапа и несколько поодаль от него дорогу перекрывал пикет из нескольких солдат с винтовками и двумя «дегтярами» на рассошках.

Сидящие на земле пятерки заключенных по команде вставали, подходили к столику и становились к нему в очередь. И каждый в порядке этой очереди произносил нечто вроде рапорта, начинающегося со слов: «Заключенный, личный номер такой-то...» Затем следовала фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок и прочие «установочные данные заключенного», его «позывные», как их называли в лагере. Всё это, кроме «личного» номера, для старых лагерников было делом привычным. Но на номере, хотя его можно было считать с собственного колена или шапки, чуть не все эти люди сбивались и путались, как путались когда-то на своих «позывных». Таково действие психологического отращения.

Однако начальник здешней учетно-распределительной части, молодой старший лейтенант с писарскими усиками, добивался, чтобы ритуал представления заключенного своему новому начальству соблюдался в точности. Свою службу в лагере бывший штабной только еще начинал, и власть над людьми, из которых многие были более чем вдвое старше его, ему явно нравилась. Сбивавшихся ретивый лейтенант заставлял отойти от стола, подойти снова и с самого начала повторить унылую тираду. Повторно у большинства она получалась еще хуже. От чувства унижения у некоторых срывался даже голос, и они начинали путать уже всё, включая статью, по которой был осужден, и год своего рождения. В таких случаях начальник УРЧ делал по адресу путаника-недотепы насмешливые замечания с явной претензией на колкость и остроумие. Когда, например, Ка – шестьсот тринадцатый, тот старый агроном, которому в дороге сулили надеть наручники, всё забывал начать свой рапорт со слова «заключенный», начальник спросил его, сколько лет он уже сидит в лагере?

– Двенадцать, – ответил агроном.

– И жалуешься, небось, что срок велик! А вот того, что находишься в заключении, никак запомнить не можешь...



Старик закусил губу, а стоявшие рядом надзиратели осклабились.

— Ничего, у нас запомнит... — протянул начальник берлаговского конвоя, тот самый, который заставил пятиться на вершину сопки итээловский газик.

После отметки в картотеке заключенных тщательно обыскивали, хотя никакой практической необходимости в этом не было, их так же тщательно уже обыскали конвойные перед посадкой в машины. Но, во-первых, это был ритуал, как бы подчеркивающий сухость и официальность отношений внутренней и внешней охраны, во-вторых, у заключенных отбирались сейчас «не положенные» в спецлаге вещи. К ним принадлежали все предметы «вольной» одежды, включая нижнее белье, все письменные принадлежности, книги и даже письма и фотографии из дому. Правда, письма и карточки отбирались с обещанием вернуть их после какого-то просмотра, но, судя по тому, как их бросали на снег, было очевидно, что все бумаги просто выбросят или сожгут.

Канитель сдачи-приема тянулась страшно медленно. Наступили сумерки, которые приблизила еще плотная шапка свинцово-серых облаков, которая к вечеру нахлобучилась еще ниже на вершины окрестных сопки. В распадке, в котором приютился ОЛП № 12, становилось почти темно, и зона вызывающе вспыхнула всеми своими огнями. Вдоль длинной еще темной полосы сидящих на дороге людей лег луч прожектора с вышки у вахты. Все заключенные сидели в одной и той же позе, уткнувшись лицом в колени, схваченные руками. В эту позу их согнули становившийся уже весьма чувствительным холод, душевная подавленность, мучительная пустота в желудке, а теперь еще и этот нахальный свет прямо в глаза.

Время от времени, по мере уменьшения числа этапников на снегу, их заставляли подниматься и на несколько шагов подходить ближе к лагерю. Соответственно короче и плотнее становились и ряды солдат по сторонам. Но если заключенные от холода всё больше сжимались, то тут от того же холода, скуки и желания поесть началось шевеление и притоптывание. В дороге было веселее, так как там почти всегда существовала возможность проявить служебное рвение при помо-

щи окрика, размахивания «бруслетами» или автоматом. А повод для этого подневольные пассажиры грузовиков давали часто. То кто-нибудь из них из-за онемевшей ноги пытался переменить позу, то шепотом обращался к соседу, то слишком внимательно «зыркал» по сторонам. И во всех этих случаях можно было свирепым голосом прокричать номер нарушителя, считывая его с тряпки на арестантском колене или шапке. Такое развлечение сочеталось со служебной практикой и демонстрацией своей преданности долгу бойца Советской Армии. Но сейчас, хоть убей, придраться было решительно не к чему. Враги народа застыли в своих скрюченных позах чуть не под стать мертвецам. Солдаты томились.

Но вот в дальнем конце оцепления этапа партии с автоматами насторожились, а одна из собак заурчала. Из рядов сторбленных фигур на дороге послышалось какое-то невнятное бормотание сначала одного, а потом и нескольких голосов, похожее на приглушенный спор. Никто, однако, не пошевелился. Поэтому установить, кто же именно нарушил приказ об абсолютном молчании было нельзя, и младший сержант, начальник отделения, был вынужден ограничиться только грозным окриком: «Прекратить разговоры!»

Бормотание стихло. Но через несколько минут кто-то в том же ряду резко вскочил на ноги. Соседи нарушителя, схватив его за полы бушлата, заставили опуститься на место:

— Совсем чокнулся, Кушнарев! Хочешь, чтобы из-за тебя и нас перестреляли?

Начальник отделения, однако, уже заметил его номер: «Жэ — триста восемнадцатый, выйти из строя!» Однако теперь Жэ — триста восемнадцатый съезжился на своем месте и не выходил. Очевидно, это был истеричный тип, под влиянием мгновенного нервного импульса сначала совершивший нарушение, а потом испугавшийся его последствий. Но младший сержант уже выхватил из кармана наручники.

— Кому приказано, Жэ — триста восемнадцатый?

— Выходи, Кушнарев! — шипели соседи нарушителя, — выходи, хуже ведь будет...

Кушнарев робко поднялся на ноги и двинулся к краю ряда. Но тут при виде направленных на него автоматных дул его охватил новый приступ истерии.

— Стреляйте! — закричал Жэ — триста восемнадцатый, наступая на ближайшего солдата с автоматом, который от неожиданности попятился, — Мне всё равно, стреляйте!

— Ткачук, Барса! — крикнул начальник отделения. — Большой он, гражданин начальник... — попытался заступиться за Кушнарева кто-то из сидящих на снегу.

— Разговоры! Больные в больнице! — Подбежал солдат с собакой: — Барс, взять!

Огромная овчарка с глухим рычанием бросилась на нарушителя и сразу же сбила его с ног. Послышался треск раздираемой материи. Собака входила в раж и захлебывалась от злости, рвала в клочья и без того изодранный бушлат Кушнарева.

— Отставить! — Ткачук с трудом оттащил Барса. — А ну, поднимайся! — пнул сержант сапогом в бок нарушителя, лежавшего на снегу с прижатыми к лицу руками. Тот, пошатываясь, встал на ноги. — Руки! — человек завел назад руки, и начальник отделения довольно ловко защелкнул на них наручники. — Садись вон там! — Два солдата, подталкивая Кушнарева в спину прикладами, отвели его немного в сторону. Теперь одна из понурых фигур темнела на снегу уже по другую сторону шеренги конвойных. Рядом с ним рычал и скалился на поводке собаковод Барс. Эпизод был мелкий, начальство у ворот не обратило на него внимания.

Муштра и шмон продолжались, но дело подвигалось еще медленнее, чем прежде, так как теперь принимали уже новичков, только что привезенных с Материка. Большинство были нерусскими, и чтение длинного шифра своих позывных многим из них не давалось почти совсем. У людей, еще недавно живших дома, была масса недозволенных в лагере вещей, возня с которыми сильно задерживала приемку. Кроме того, в Ногаеве новичкам выдали новые бушлаты и телогрейки, но еще без номеров. Теперь один из надзирателей в тех местах, где они должны были красоваться, вырезал ножницами огромные дыры. Завтра же сами заключенные залатают эти дыры прямоугольными латками со своими номерами, которые им выдадут в зоне. Дыра на месте самовольно споротого номера неплохо его заменяла. Мало что изменила бы даже серая латка на месте прорехи, слишком показательным было бы ее место.

Мысль современных тюремщиков направлял опыт старой каторги, на которой бубновые тузы не нашивались на арестантские халаты, а вшивались в них.

Тоже уже уставший от однообразно покорного и столь же однообразно бестолкового поведения принимаемых арестантов, начальник УРЧ оживился, когда к его столу подвели последнего из сегодняшнего этапа. Вид у него был измученный и как-то по-особенному угрюмый. Изодранный Барсом бушлат третьего срока имел только одну пуговицу. Жалкий вид этого человека совсем не соответствовал надетым на него наручникам. Вся фигура Кушнарера выражала страшную подавленность, потухшие глаза глядели исподлобья, но выражали теперь только затаенную тоску и усталость.

— Нарушил строй, товарищ старший лейтенант! — доложил младший сержант. Но обращался он не к начальнику лагерной УРЧ, а к начальнику конвоя, тоже старшему лейтенанту.

— Почему нарушил? — спросил тот.

— Не знаю, товарищ старший лейтенант! Какой-то вроде малахольный...

Начальник УРЧ смотрел на нарушителя с любопытством. Даже для него было очевидно, что от этого требовать рапорта по форме — дело безнадежное. Поэтому, взглянув на его колени, старший лейтенант полез в одну из стоявших на столе длинных коробок и достал формуляр Кушнарера. Прочтя его, он присвистнул и взглянул на понурого арестанта с еще большим любопытством:

— Да это бегунец, оказывается, стреляный воробей! — Он показал карточку соседу по столу. — Смотрите-ка, два раза в побеге был! По виду никак не подумаешь...

В формуляре значилось, что свой первоначальный срок, полученный им за антисоветскую агитацию, Кушнарер давно бы уже отбыл, если бы не два лагерных «довеска» за попытки побега. Одна из них была сделана еще до войны. Поэтому по статье «побег из мест заключения» беглец получил только три дополнительных года. А вот второй раз Кушнарер бежал уже в военное время, когда такое преступление квалифицировалось уже как контрреволюционный саботаж. Соответствующим был и второй, точнее третий срок — десять лет по статье пятьдесят восемь, пункт четырнадцатый.

— Все они волки в овечьей шкуре! — убежденно сказал начальник конвоя. — Может, ты опять хотел в побег уйти, Жэ — триста восемнадцатый? — сощурился на Кушнарера начальник УРЧ. — И куда же, позволь спросить?

Заклученный молчал.

— От нас, брат Жэ — триста восемнадцатый, никуда не уйдешь! — наставительно сказал старший лейтенант, — разве что вот туда... — Он ткнул пальцем в землю.

— А может, я туда и хочу! — сказал вдруг Кушнарера, и его выцветшие глаза оживились выражением.

— Ну, это дело хозяйское, — усмехнулся начальник, — нам лишь бы для отчетности не затерялся... — Он хохотнул и хлопнул рукой по своей картотеке. Кушнарера от этой шутки как-то съехался и снова сник, а старший лейтенант, сделав нужные отметки в его формуляре, сказал: — Так-то, Жэ — триста восемнадцатый! А за нарушение строя пойдешь сегодня ночевать в кондей... — Водворение в карцер было делом начальника лагеря, но его, вызванного зачем-то в Магадан в управление Берлага, и замещал как раз начальник учетно-распределительной части. Он был мужик не злой и никогда не упустил случая сбалагурить: — Надо же здешний карцер кому-то обновлять! Вот ты этим и займешься, Жэ — триста восемнадцатый...

Бывший аспирант кораблестроительного института Михаил Кушнарера за чуждые советским людям политические убеждения был арестован и осужден еще в тридцать седьмом году. Уже тогда это был постоянно хмурый молодой человек, отличавшийся притом рядом странностей. Приверженность к пессимистической философии сочеталась в нем со способностью и любовью к математике, умение находить трезвый подход к сложной теоретической проблеме — с чуть ли не мистицизмом, когда дело доходило до его взглядов на жизнь и смерть. Правда, эти два вида увлечений в Кушнарере обычно чередовались. Когда его отпускала философская хандра, он и сам признавал, что идея бессмысленности человеческого существования логически не совместима с какой-либо деятельностью вообще, а тем более с такой, как научная. Но это только подтверждает взгляд на сознательное существование как непрерывную цепь алогизмов. Действительно, обладая Разумом, человек живет по законам Инстинкта. Привлеченный эфемерными приманками, со-

зданными для него Природой в период, когда он не сознавал еще своего места во Вселенной, он и теперь тащится на поводу этих приманок. Это еще понятно в людях, не привыкших и не умеющих мыслить. Но и те, кто подобно Кушнареву знакомы с положениями угрюмой философии пессимизма от мудрецов древней Индии и Китая до Шпенглера и Шопенгауэра, ведут себя таким же образом. Они знают, что жизнь эфемерна, что человеческий разум бессилён, что для этого разума непостижимы ни Природа в целом, ни сам человек, что даже в лучшем случае на долю самых удачливых из людей сумма жизненных наслаждений не идет ни в какое сравнение с суммой неизбежных страданий. Практический вывод отсюда прост: жизнь — это игра, не стоящая свеч. Однако подавляющая масса людей отгораживается от этого вывода всякого рода надеждами, иллюзиями и самообманом. Преодолеть темный инстинкт жизни, добровольно шагнуть в небытие им мешает нехватка воли. Вот и тащат люди ее тяжелый воз, вытягивая шею к клоку сена, привязанному на конце дышла.

Кушнарев не составлял исключения и периодически страдал от сознания своей рабской подчиненности деспотическим законам существования. Выводило его из этого состояния, главным образом, только занятие теоретической гидромеханикой, предметом, который он очень любил и к которому проявлял недюжинные способности. Два старых тома шопенгауэровского трактата «Мир как воля и представление», шпенглеровский «Закат Европы», книги по индийской философии и конфуцианству перемешивались в неряшливой комнате молодого аспиранта с трактатами Эйлера и Бернулли, Светлова и Чаплыгина так же беспорядочно и сумбурно, как и мысли в его постоянно думающей голове. На титульном листе сборника лекций Жуковского под эпитафией «Человек полетит, опираясь не на силу мышц, а на силу своего Разума», рукою хозяина и, по-видимому, безо всякой связи с этим выражением, было выведено изречение из Конфуция: «Всякое существование есть страдание». Была тут и Библия, заложенная логарифмической линейкой на книге Экклезиаста. Библейский пророк импонировал убежденному атеисту Кушнареву мрачным духом своей философии безнадежности.

Его интеллектуальное уныние началось давно, еще в юношеском возрасте. Поначалу думали, что Мишины философствования на тему о бессмысленности и безысходности жизни — обычная дань мальчишеской рисовке. А рисоваться, пожалуй, было чем. Миша был начитан в таких областях, о которых его сверстники-школяры даже понятия не имели. Они, впрочем, не были сыновьями профессора юриспруденции, умершего незадолго до революции и оставившего жене и сыну богатую библиотеку, в которой было множество книг по истории и философии. Обычный подросток к этим книгам и на версту бы не подошел, а Миша рылся в них со странным, не по возрасту, интересом. Сначала ему нравилось выискивать в них удивительные мысли и выражения, нередко идущие вразрез с общепринятыми теперь представлениями, и поражать ими товарищей по школе и даже взрослых. А потом оказалось, что некоторые из этих мыслей вошли в такой резонанс с его собственным строем мышления, что стали почти навязчивой идеей на всю жизнь. Мрачным настроениям Кушнаррева-подростка немного способствовала и обстановка в семье. Мать, ставшая после с трудом пережитой Гражданской войны переводчицей с французского в каком-то издательстве, вышла замуж за вузовского преподавателя диамата. Миша прочел энгельсовского «Анти-Дюринга» и «Диалектику Природы», про-бывал даже читать «Капитал», но многого не понял и по мальчишеской ершистости почти ни с чем не согласился. С отчимом он вступал в частые философские споры, но вскорее сделал вывод, что тот не более чем начетчик и долдон. Диаматчик, в свою очередь, считал взгляды пасынка незрелой замуью и чепухой. Они поссорились. Уже окончивший школу, Миша ушел из дома, поступил рабочим на кораблестроительную верфь, а оттуда через два года в кораблестроительный институт. Жизнь есть жизнь. Мать его к тому времени умерла. Оказавшийся в полном одиночестве студент становился всё угрюмее. Нашлись, конечно, девушки, которые заинтересовались этим хмурым Чайльд-Гарольдом. И не только они пытались ему внушить, что с женитьбой все его упадочные настроения исчезнут. Однако принципиальный пессимист прочно сидел на своем коньке. Марк Аврелий и Конфуций, Шпенглер и Гартман,

безусловно, правы, жизнь есть бессмыслица. А брак, поскольку главное назначение этого института — продолжение человеческого рода, — бессмыслица в квадрате. От угрюмого бюрка отстали.

Однако по мере роста учебной нагрузки нездоровые настроения Кушнарева постепенно спадали. Его пытливый и беспокойный ум нашел пищу в решении задач по математической интерпретации гидродинамических явлений. Способного студента заметил руководитель кафедры гидромеханики. Это был не только большой ученый, но и талантливый педагог, сумевший отвлечь унылого парня от маниакальных идей теоретическими заданиями, имеющими немалый практический интерес. Профессор понимал, что философская оболочка этих идей в данном случае — лишь форма выражения болезненной меланхолии, ослабить которую можно только переводом мыслительных способностей меланхолика в другое русло. К концу последнего курса он преуспел в этом настолько, что мог поставить вопрос об оставлении Кушнарева на кафедре. Это было непросто. Нежелательный и в рядовом инженере характер убеждений выпускника был тем более нежелателен в советском ученом. Но авторитет руководителя кафедры был весьма высок, и его ходатайство уважили. Профессор не ошибся. Когда определилась тема кандидатской диссертации Кушнарева, то она обещала быть не тривиальной, «соискательской», а понастоящему ценной научной работой. А заодно оказалась и лучшим лекарством против черной кушнаревской меланхолии, к тому времени заметно остывшей.

Но тут в Советском Союзе были обнаружены бесчисленные вредительские, шпионские, диверсионные и террористические организации. Не обошелся без них и кораблестроительный институт. Руководителя кафедры гидродинамики, всемирно известного своими работами по теории обтекаемости, арестовали. Было объявлено, что он и целый ряд его коллег состояли в тайной контрреволюционной организации ученых-кораблестроителей, дававших вредительские установки для проектирования судов. По институту прокатилась волна арестов, захватившая не только крупных, но и начинающих ученых и даже некоторых студентов из числа наиболее способных. В ко-



раблестроительном, как и всюду, поселился дух взаимной подозрительности и страха. Почти уже покинувшая Кушнарева его извечная угрюмость вернулась снова. Исчезла и пыль, покрывавшая в его комнате творения апологетов пессимизма. Особенно тех из них, которые рассуждали о разгуле и непоколебимой власти Неразумной Воли в человеческом обществе, совершенно не по праву именуя себя разумным.

В связи с обострением политической бдительности было обращено пристальное внимание и на аспиранта Кушнарева с его чуждой советскому человеку идеологией. Припомнили, что и в студенческие годы, и на занятиях по аспирантскому курсу диамата он часто задавал каверзные вопросы руководителям занятий, а то и чуть не прямо выступал с пропагандой идеи реакционной, идеалистической философии. Возражать ему было трудно, так как вузовские гуманитарии-преподаватели, не говоря уже о студентах и аспирантах технического профиля, о Конфуции и Шопенгауэре, в лучшем случае, только слышали. Однако прежде было принято считать, что мышление и поведение Кушнарева — это результат своеобразного мозгового вывиха, весьма нетипичного, а следовательно, не столь уж и опасного с точки зрения его влияния на окружающих. Теперь же в свете разъяснений свыше о коварстве внутренней контрреволюции становилось ясным, что такое понимание дела суть оппортунистическое благодушие и политическое ротозейство. Терпимость к человеку чуждых взглядов была бы неприятием на деле сталинских указаний о необходимости непримиримой борьбы со всеми проявлениями немарксистской идеологии. Стала почти очевидной и связь между мировоззрением Кушнарева и симпатией к нему арестованного руководителя кафедры. Проследили и его генеалогию. Оказалось, что в анкете чужака при его поступлении в институт было указано, что его отец член ВКП(б), тогда как это был только приемный отец. В действительности же он происходил от профессора права царских времен и женщины дворянского рода. Сам Кушнарев обо всей этой возне за обитой железом дверью спецчасти института и не подозревал. Он снова вчитывался в строчки книг с дореволюционной орфографией и делал угрюмые замечания на семинарах по марксизму-ленинизму.

Прежде на них старались не реагировать. Спор с Кушнаревым на философские темы был как бы разговором на разных языках или спором о вере с каким-нибудь сектантом. Но теперь находились люди, которые вступали с этим чудаком в публичную полемику. Возможно, что не все из них были провокаторами. Большинство, вероятно, просто хотело погромче продекларировать свою приверженность стандартным догмам в споре с их противником. Поэтому нельзя утверждать положительно, что в спор о субъективном идеализме в философии на одном из аспирантских семинаров Кушнарев был втянут нарочито. Осталось также неизвестным, был ли написавший донос в НКВД участником этого спора или он только присутствовал на семинаре об «Анти-Дюринге». И уж подавно нельзя было узнать, действовал ли доносчик по собственной инициативе или по заданию ежовских «органов». Впрочем, это не представляло особого интереса даже для самого Кушнарева. На допросах в НКВД он скоро признал, что пропаганду реакционно-идеалистических взглядов на отношения людей в Обществе он вел с осознанной целью помешать слушателям семинаров правильно понять учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Рука следователя прослеживается в этих показаниях с совершенной очевидностью, как и поведение его подследственного с позиции «всё равно». Всё равно миром движет всё та же неразумная и злая подчас воля. Возможно, впрочем, что непротивление Кушнарева на следствии спасло его от куда более тяжелого обвинения. Не признай он себя сразу же антисоветским «болтуном», которого безо всяких хлопот можно было укатать в исправительные лагеря в индивидуальном порядке, его бы наверно включили в состав институтской вредительской организации. А так бывший аспирант получил по самому легкому «ширпотребскому» пункту Пятьдесят Восьмой статьи всего семь лет ИТЛ.

Многие из сокамерников Кушнареву завидовали. Сам он, однако, находился в состоянии тяжелой душевной депрессии. Теперь развитию такой депрессии не только ничто не препятствовало, но всё окружающее ей способствовало. И обстановка следственной тюрьмы НКВД, и явное торжество Неразумной Воли, и абсолютно явная бессмысленность дальнейшего

существования. Всё это часто создавало чувство безнадежности даже у людей с куда менее угнетенной психикой, чем у Кушнарёва. Многие здесь в те годы вскрывали себе вены отточённым о цементный пол крючком от брюк или куском стекла, удавливались на самодельных веревочках и даже разбивали головы об отопительные батареи.

А вот сторонник философского вывода о ненужности жизни благополучно прошел и через испытания ежовского следствия, и через неправду сталинского суда, и через тяготы многомесячного этапа до Колымы, чтобы долгие годы влечить здесь жалкое существование арестанта. На свое горе Кушнарёв оказался таким же жалким рабом инстинкта самосохранения, как и тысячи людей, никогда не слыхавших о Шопенгауэре. Одно дело исповедовать идеи философии пессимизма, другое — доказать свою способность следовать им на практике. Всякий раз, когда возникала одна из многочисленных возможностей мгновенным усилием воли разрешить, наконец, затянувшийся спор между разумом и инстинктом, этой воли Кушнарёву и не хватало. Каждую из попыток прыгнуть за борт арестантского корабля, выбежать из строя под пулю стрелка или иным способом привести в действие механизм смерти, где-то внутри него безотказно срабатывало какое-то предохранительное устройство, мешающее сделать последнее движение. Снова тупая бессмысленность инстинкта торжествовала свою очередную победу над неотразимой, казалось, логикой здравого смысла. И снова человек пытался оправдать свое безволие ссылкой на то, что задуманное на сегодня он может осуществить и завтра, хотя ему было мучительно стыдно перед самим собой.

Не находя в себе силы рассчитаться с жизнью, Кушнарёв, однако, внешне был к ней совершенно равнодушен. В лагере он быстро опустился, не предпринимал ничего, чтобы хоть как-нибудь приспособиться к обстоятельствам или несколько противостоять им. С тупой, безотказной покорностью инженер и бывший аспирант вкалывал на общих работах, хотя его статья не исключала возможности устроиться иногда каким-нибудь слесарем или дежурным электриком на прииске. Нормы выработки Кушнарёв выполнял редко, но никогда не делал попыток ни «туфтить» на работе, ни «косить» в лагерной столо-

вой. Он не следил за своей одеждой, был грязен, оборван больше других, словом, «плыл, не видя берегов». Не раз доходил почти до крайних степеней истощения, но все-таки не умирал. Человека, подававшего когда-то надежды, что он станет крупным теоретиком-гидромехаником, в лагере считали тупым, ни на что не годным дураком.

Его внутренняя война с самим собой затихала только в периоды спасительной деменции, голодного слабоумия. Полуживые от истощения люди почти безразличны к жизни и смерти, по крайней мере в мыслительном аспекте этих понятий. Им просто не доступно бухгалтерское в своей сущности сопоставление ценностей жизни и ее издержек. Животная сущность человека выступает в дистрофиках совершенно откровенно в виде примитивного стремления только к еде, теплу и сну. И это помогает им иногда выбраться из объятия медленной, но цепкой смерти.

Выбирался из этих объятий и Кушнарев. Возможно, что в этом ему помогала еще одна навязчивая идея, к которой он был, по-видимому, склонен от природы. С первого же месяца своей жизни в лагере им овладело неодолимое отвращение к мысли, что в случае его смерти здесь над ним будет проделан ритуал, обязательный для «оформления» умершего арестанта в «архивтри». Это оформление, согласно специальной инструкции ГУЛАГа, производилось в чисто рационалистических целях, чтобы в принципе исключить возможность всякой путаницы при лагерных захоронениях и оставить возможность в любой момент найти и проверить это захоронение. А вдруг под видом двадцатилетника Ивана будет погребен пятилетник Петр, а Иван впоследствии выйдет на свободу на пятнадцать лет раньше положенного срока? Такая возможность была почти только теоретической, но ради ее предотвращения у мертвых людей снимали отпечатки пальцев, а к большому пальцу левой ноги покойника прикрепляли бирку с его установочными данными. Этот ритуал показался Кушнареву кошунственным и омерзительным. Познакомился он с ним, и притом весьма близко, во время своей работы в похоронной бригаде одного большого прииска, на который бывший аспирант попал прямо с магаданской пере-сылки. Работа могильщиков считалась тут легкой, и Кушнарев

попал на нее по снисхождению к его истощенности и относительно нестрогому пункту строгой статьи.

С точки зрения философа, презирающего жизнь со всеми ее проявлениями, интерес к тому, как поступят с его бренными останками после смерти, был праздным, почти вздорным. Но это при здоровой психике. Кушнарев же был явно склонен к маниакальным психозам. Теперь он вбил себе в голову, что должен умереть по возможности скорее, но при этом так, чтобы Некто бездушный и глумливый не мог проделать над ним своих гнусных манипуляций. Какая прекрасная возможность в этом смысле представлялась Кушнареву в те дни, когда ему, как и другим подневольным пассажирам «невольничьего корабля» разрешалось выходить из трюма на палубу, чтобы пройти в подвешенный к борту парохода временный дощатый галюн. Секунда, и какое-нибудь Японское или Охотское море решило бы все проблемы! Правда, проблема укрытия от бирки перед Кушнаревым тогда еще не стояла, он просто не знал об этой бирке. А может быть, был бы решительнее, если бы знал?

Теперь задача осложнялась, никакого моря в лагере не было. Единственная возможность избавиться от бирки — это уйти и умереть в дебрях здешней лесистой тайги. Найти в ней тело мертвого человека практически невозможно не только для двуногих, но и для четвероногих следопытов даже в том случае, если оно лежит где-нибудь в зарослях. Но это тело может находиться к тому же на дне какой-нибудь таежной речки или озера! Кушнарев со злобным удовлетворением думал о том, какая это будет неприятность для лагерного начальства и конвоя. Занести пропавшего без вести беглого в «архив-три» нельзя, нет положительных доказательств его смерти. Нельзя, конечно, записать его и в «архив-один», список законно освободившихся. Остается «архив-два» — реестр ушедших «с концами». Хотя тюремщики почти убеждены, что девяносто девять из сотни таких загнулись в тайге, с точки зрения отчета перед высшим начальством им от этого не легче. Это, конечно, всё мелкие и второстепенные соображения. Главное в том, что здешние горы, распадки, ущелья и болота враждебны живому человеку, пытающемуся их преодолеть, но мертвых они укры-

вают надежно и верно. Нужно только добраться до них, пока тебя не поймают или не расстреляют. Поэтому нужно выждать, пока условия для рывка в тайгу смогут гарантировать безусловную удачу, иначе неизбежна всё та же проклятая бирка.

Эти условия образовались на одном из приисков, где Кушнарев попал в бригаду слабосильных и вместе с нею заготавливал дрова для лагеря в глухом лесистом распадке. Охранял многочисленную бригаду только один полусонный конвоир. Куда, к черту, мог уйти кто-нибудь из этих едва передвигающих ноги людей, к тому же еще сплошь горожан и штымпов? Тем более что стояла только еще ранняя для этих мест весна — конец июня. Снег в это время в распадках и на северных склонах сопок только еще начинает таять, по рекам и речушкам идет верховая вода, погода, как правило, стоит отвратительная, а еще через неделю начинается сокрушительный между гор весенний паводок. Даже заигравшиеся в бурю уголовники, и те никогда не делают в это время года своих «рывков», специально рассчитанных на то, чтобы быть пойманными, изолированными от своих и ценой дополнительного срока спастись от ножей свирепой хевры, не прощающей карточных долгов.

Но именно в один из таких дней, когда мокрый снег сменялся дождем и дул сильный, пронзительный ветер, построившаяся для следования в лагерь бригада оборванцев-доходяг не досчиталась Кушнарева. Его поискали между пнями лесосеки — нередко случалось, что кто-нибудь, сидя на таком пне, вдруг валится с него и больше уже не поднимается. Если это происходит не на чьих-нибудь глазах, то труп замечает снегом и его иногда не удается найти до весны. Сегодня снег только обшлепал лесосеку серовато-белыми пятнами и вряд ли мог по-настоящему что-нибудь укрыть. Никакого трупа, однако, не нашли. На место побега был отправлен небольшой отряд с собакой, но след беглого потерялся на залитом водой льду реки. Дальше вохровцы-оперативники идти просто поленились. Зачем силу тратить? Было известно, что бежавший — городской штымп, самый обыкновенный «черт мутной воды». Вряд ли у него есть нож, безусловно нет спичек, а запас провианта не превышает остатка от недоеденной утренней пайки. Куда такой может уйти? Вернется в лагерь с повинной, как возвра-

щаются почти все, еще не пробовавшие ночевать на мокром снегу под холодным дождем. Если, конечно, найдет дорогу обратно. Но вот зачем беглец сделал свой нелепый рывок? Штымп, конечно, в хевре не состоял, в карты не играл, и никакая опасность со стороны товарищей по лагерю ему не угрожала. Впрочем, из показаний собригадников Кушнарера, лагерного нарядчика и других соприкасавшихся с ним людей следовало, что в голове у него вроде не все дома. А в сумасшедшем доме, как известно, и валенок на голове носят.

Вспомнили, что Кушнарер говорил иногда что-то о том, что хорошо бы забраться в какой-нибудь таежный распадок и там подохнуть. Тогда-де не будет ни бирки на левой ноге, ни «рояля», ни архива-три. Его слушали пренебрежительно, пожимали плечами. Если уж жить надоело, то расстаться с ней всегда можно с достаточным комфортом. Удавился же в барачной сушилке на самодельной веревочке старик дневальный! Ночью, потихоньку, безо всякого шума. А хочешь с треском, так сделай вид, что идешь с топором на конвоира, мигом уложит. А там с биркой или без бирки — не один ли черт? Только слабо, небось! Тем более слабо робкому интеллигенту идти искать своей гибели в дебри горной тайги.

Оказалось не слабо. Этот рохля с виду осуществил свой план. По крайней мере, первую его часть. Он действительно ушел в горы, где вряд ли можно найти в такое время что-нибудь другое кроме смерти. Но это было не самое трудное. Оставался еще вопрос: сумеет ли Кушнарер выдержать характер до конца и принять эту смерть? Или скиснет, не выдержав мучений голода и холода, и вернется. Мнения на этот счет разделились. Двое самых азартных из спорщиков даже заключили между собой пари на половину дневной хлебной пайки. Если в течение недели беглец не вернется, выигрывал тот, который ставил на последовательность Кушнарера. Но он проиграл. На третий день после своего побега, полуживой от усталости и голода, Кушнарер вышел к одной из застав оцепления прилагерной местности и сдался. Избитого прикладами и изодранного собаками — это была здешняя традиция, обязательная в отношении даже тех из беглых, которые возвращались добровольно, — его, скованного наручниками, показали на одном из утренних раз-

водов. Это тоже была обязательная традиция; глядите все, чем кончаются побеги из лагеря! Если бы беглеца застрелили, то перед лагерными воротами положили бы его труп. Предотвратить подобную демонстрацию мог только его уход «с концами». Теперь уверовавший было в стойкость штымпа блатной только плюнул, глядя на его жалкую, съжившуюся фигуру:

— Эх, падло, зря только поднял!

Под следствием беглеца держали недолго, да и расследовать, собственно, было нечего. Следователь недоумевал только, куда это он собирался уйти с такими как у него средствами? Кушнарев угрюмо отмалчивался. Было похоже на правду, что он какой-то «чокнутый». Это, однако, не резон, чтобы дело оставить без последствий, всякого рода чокнутыми в лагере хоть пруд пруди.

Кушнарева с его бегляцкой статьей перевели теперь на золотой рудник, где золотоносный кварц добывался шахтным способом. На производствах такого типа легче обеспечить охрану заключенных, чем на открытых приисках. Не было теперь надежды и попасть в какую-нибудь слабо охраняемую слабосиловку. Но всё это, в сочетании с еще дополнительным сроком, только усилило навязчивую идею маньяка. Когда на третьем году войны на золотодобывающую фабрику при руднике поступило оборудование из Штатов, для помощи в разборе технической документации на английском языке из забоя извлекли Кушнарева, как-никак бывший аспирант. Его подкормили — от доходяг на умственной работе толку еще меньше, чем на физической, — и немного приодели. Разрешили даже иногда возвращаться в лагерь без конвоя, хотя расконвоировать его официально мешала бегляцкая статья. Кушнарев злоупотребил доверием к себе и снова бежал.

На этот раз его искали всерьез. Время было летнее, а главное, беглец не был теперь просто преступником, пытавшимся избежать наказания, на которое был осужден. Его надлежало рассматривать как контрреволюционного саботажника, не желавшего работать на добыче стратегического металла, к которым причислялось и золото. Однако старания целого взвода оперативников с двумя собаками успехом не увенчались. Их ошибка заключалась в том, что солдаты искали беглого во всех направлениях кроме того, по которому он ушел. Оно было со-



вершенно безнадежно в смысле возможности куда-нибудь выйти за пределы Колымо-Индигирского района особого назначения.

Однако повторилось почти всё, что было при первом побеге Кушнарева. Через неделю после его ухода из лагеря к костру геодезистов, занимавшихся топографической съемкой окрестностей высокогорного озера, подошел пошатывающийся от слабости человек в лагерном одеянии. Встреча с беглыми из лагерей была таежным топографам не в диковинку. Но этот забрел в места, в которые незачем было заходить ни одному здравомыслящему беглецу, и вообще производил впечатление почти помешанного. Когда его спросили, куда, собственно, он направлялся, следуя по такому безнадежному пути, беглый ответил, что на дно вот этого озера. Да вот беда, тонуть он не умеет... Таежники переглянулись и, ни о чем более его не спрашивая, покормили Кушнарева и показали ему дорогу к ближайшему вохровскому пикету.

Психическая ненормальность Кушнарева была теперь очевидной даже для лагерных следователей. Поэтому он был подвергнут в Магадане психиатрическому обследованию. Однако вовсе не на предмет освобождения от ответственности за повторный побег. Наоборот, правосудие должно было получить врачебную санкцию на осуждение частого дезертира с трудового фронта, да еще в военное время, а главное, вышибить у него и ему подобных саму мысль о возможности их защиты медициной. Тут эта наука была представлена либо офицерами медицинской службы в подчинении у того же МВД, либо вчерашними заключенными. Заставить таких написать то, что требуется, труда не составляло. И психиатры написали, что Кушнарев Михаил Алексеевич, возраст — тридцать шесть лет, отрицающий какую-либо наследственную отягощенность, страдает хронической угнетенностью психики и склонностью к навязчивым представлениям. Однако свои поступки он сознает достаточно ясно и нести за них ответственность может. Да и что другое, впрочем, они могли написать о состоянии подследственного, который, когда его спросили, понимает ли он, где он находится и с кем разговаривает, ответил, угрюмо усмехнувшись, что может даже сказать «мама», сосчитать до пяти и предсказать вывод граждан экспертов. Лагерный суд

признал Кушнарера виновным по статье 58, пункт 14 и размахнулся теперь уже на «всю катушку». Повторно получающих каторжные сроки можно было уподобить современным сизифам, если бы не одно обстоятельство. В отличие от Сизифа мифического, они толкают свой камень на гору, которая становится всё выше.

Года четыре теперь уже трижды осужденный арестант мыкался по всяким штрафным командировкам, много раз «доходил», тяжело болел, но и на этот раз умудрился выжить. Операция «заберложивания», как называли перевод в Берлаг из ИТЛ лагерные остряки, застала Кушнарера на управленческой пересылке в Брусничном. И здесь он был отобран как несомненный «политический рецидивист» на этап в лагерь для особо опасных политических преступников.

В начале ноября начальник учетно-распределительной части ОЛПа № 12 совместно с заместителем начальника лагеря по режиму производил проверку соответствия «личных номеров» на одежде заключенных с этими номерами в их формулярах. Это было связано с мероприятиями по подготовке к предстоящему революционному празднику. Годовщину Октября, так же как и Первое мая, тюрьма встречает чрезвычайным усилением бдительности. В подразделениях Берлага сейчас шла работа, напоминающая подготовку к отражению штурма. В бараках проверялись решетки и запоры, ограждение зоны тщательно очищалось от снега, чистилось и проверялось оружие охраны. Проверка номеров была сейчас тем более необходима, что на днях сюда поступил большой этап прямо с Материка. Теперь с приемкой очередного этапа канителились несколько меньше. Мешали очень крепкие уже морозы, да и сама нудная процедура сдачи-приема заключенных начинала надоедать даже таким ее любителям, как здешний начальник УРЧ. У принимаемых в лагерь уже не прощупывали всех швов на их одежде, не отдирали подметок у ботинок и даже не прорезали дыр на их бушлатах и телогрейках. Как и нашивание номера, это было возложено на самих заключенных, конечно, с последующей, строжайшей проверкой исполнения.

Именно такая проверка и производилась сейчас в бараке культурно-просветительной части лагеря. КВЧ формально полагались и в спецлагах. Здесь под нее был построен неболь-

шой барак-полусарай, внутри покамест почти совсем еще пустой и голый. Согласно штатному лагерному расписанию были тут замешены и должности работников КВЧ, ее начальника и дневального. Начальник, полуграмотный, но неглупый малый, бывший штабной писарь, сразу понял, что он попал тут на «пенсию без отрыва от производства» и редко появлялся даже на территории лагеря. Как и большинство его коллег по лагерной службе, он целыми днями бродил с ружьем по окрестным распадкам, постреливая куропаatok. Старик-дневальный из заключенных был, наоборот, сильно перегружен. Художник по профессии, он целыми днями был занят писанием номеров на белых «латках», которые приносили ему заключенные. Таких латок приходилось на каждого по несколько штук, и общее число номеров исчислялось целыми тысячами. Из своих прямых обязанностей старик, в прошлом признанный мастер, выполнил только одну. Над маленьким дощатым помостом в конце барака, полом предполагаемой в будущем сцены, он повесил длинный плакат на полосе красной материи. Плакат гласил: «Сила советского воспитания заключается в том, что это воспитание ПРАВДОЙ!» Была на кумаче воспроизведена и подпись автора этого утверждения — «М. Горький».

Наблюдение за тем, чтобы вновь поступающие в лагерь заключенные правильно и своевременно нашивали на свою одежду полученные номера, было возложено на дневальных барачков. Они выдавали новичкам на время их работы иголку и нитки, а затем их, уже занумерованных, представляли перед лицом лагерного начальства. Кучка таких, уже прошедших проверку, толпилась у выхода из барака КВЧ, а их дневальный, опираясь на палку, по-военному вытянулся перед столом, за которым сидело начальство:

— Разрешите быть свободным, гражданин старший лейтенант! — Бывший профессиональный военный обращался к старшему в чине начальнику УРЧ, хотя дело относилось больше к компетенции начальника по режиму, молодому офицеру с кислым лицом и злыми глазами. Сидел дневальный за службу во власовской РОА в чине артиллерийского штабс-капитана. Для работы на приисковом полигоне нестарый еще изменник Родины не годился. Взрывом мины на фронте ему оторвало правую ступню.

— Будешь свободен через двадцать пять лет! — сострил на свой всегдашний манер старший лейтенант.

Власовец криво усмехнулся и, тяжело припадая на толстую палку, поковылял к двери. Свой «бессрочный срок» он, действительно, только еще начинал.

К столу подошла новая группа лагерных новоселов, ожидавших в углу своей очереди. Эту возглавлял дневальный совсем другого вида, чем бравый штабс-капитан. Он остановился перед начальством уныло понурясь и, глядя в пол, что-то невнятно забормотал. Это бормотание перебил начальник УРЧ:

— Когда ты научишься правильно обращаться к начальству, Жэ — триста восемнадцатый? А ну отойди и повтори обращение!

Кушнарев — это был, конечно, он, ссутулясь еще сильнее, отошел на пару шагов назад, затем вернулся и сдавленным голосом забубнил уже более внятно:

— Дневальный барака номер три, заключенный номер Жэ — триста восемнадцатый... — затем следовал доклад о том, что для проверки их личных номеров им приведены сюда новоселы барака номер три.

Начальник УРЧ слушал всё еще сбивчивый рапорт Кушнарева насмешливо прищурясь. А тот, ссутулясь всё сильнее, ждал нового приказа отойти и повторить этот рапорт с таким видом, с каким ждут удара палкой.

В спецлагере нельзя было обратиться к кому-нибудь из начальства или надзирателей просто, а нужно было стать навтыжку, произнести эту проклятую тираду с личным номером, фамилией, позывными и прочим, чтобы сказать затем, что заключенный имярек просит разрешения сдать в сапожную мастерскую для подшивки свои разбившиеся ЧТЗ. Без такого разрешения сделать этого было нельзя. Находились среди лагерного надзора и такие, которые, обрадовавшись возможности помуржить какого-нибудь мучительно смущающегося интеллигента или старика крестьянина, заставляли их выйти из помещения, войти снова, сорвать с головы шапку и повторить длинную преамбулу простой и коротенькой просьбы. Случалось, что заключенный не выдерживал этой пытки унижением и пускался наутек — пусть лучше из разваливающейся обуви торчат пальцы наружу, чем служить шутком у ухмыляющегося дер-

жиморды. Но это было предусмотрено. Обычно в таких случаях глумливый прохвост выбегал вслед за убегающим заключенным и грозно кричал:

— Вернуться, номер такой-то... — Засим следовало издевательство уже по усиленной программе.

Сейчас, однако, немного подумав, старший лейтенант не стал продолжать муштры явно неспособного даже к намеку на выправку интеллигента и сделал знак своему писарю вызывать заключенных по списку. «И — двести первый!» — выкрикнул тот. Из кучки заключенных отделился пожилой человек, поговору крестьянин, и начал скороговоркой бормотать свои «позывные». Этот, по-видимому, не был новичком в лагере.

— А ну повернись! — приказал ему начальник по режиму. Номер на спине телогрейки был правильный. — Покажи бушлат! — заключенный развернул бушлат, который держал под мышкой. На нем был тот же номер, но следовало еще проверить, есть ли под ним дыра: — Надорви угол! — старик торопливо, перекусив нитку зубами, выполнил приказание. — На рубахе номер нашит?

— Номерков не хватило, гражданин начальник!

— Как это не хватило! Ты сколько латок художнику отдал?

— Пять. Да только он пятого номерка не сделал, не успел говорит... Завтра, говорит, доделаю...

— Филонит придурок... Шингарев!

— Слушаю, гражданин начальник! — Из угла торопливо подошел с кисточкой в руке старый изможденный человек с номером на черной лагерной рубахе. Он и сейчас рисовал такие же номера в дальнем углу за столиком.

— Почему не полные комплекты номеров готовишь?

— Не успеваю, гражданин начальник. Я их и так сегодня чуть не полтыщи нарисовал...

— Не картины для выставки рисуешь, можно и побыстрей пошевелиться! Или думаешь, мы на твою работу другого мазила в лагере не найдем?

— Я этого не думаю, гражданин начальник.

— А не думаешь, так выполняй задание! Тут твоя «заслуженность» до лампочки! Понял?

Всем недовольный и раздражительный младший лейтенант считал себя неудачником. И больше всего потому, что его поче-

му-то обходили в чинах. Преуспевающим в этом отношении он злобно завидовал, а теперь, получив возможность отыграться на некоторых из таких, не упускал этой возможности. Вызвав к себе под выдуманном предлогом бывшего полковника, немолодого уже и больного человека, начреж злобно и пренебрежительно окидывал его взглядом и затем говорил что-нибудь вроде:

— Ты почему, номер такой-то, по стойке «смирно» не стал, когда с надзирателем во дворе встретился?

— Я стал, гражданин начальник!

— Какая это стойка? А сейчас как стоишь? Не забывай, что ты тут не полковник, а заключенный преступник! Понял?

Не любил младший лейтенант и штатских, достигших на воле видного общественного положения, всяких там директоров, докторов и кандидатов наук, заслуженных деятелей и тому подобных. Не будь дневальный КВЧ заслуженным деятелем искусств какой-то из союзных республик, начальник по режиму был бы к нему, вероятно, менее строг.

Старик отошел в свой угол, а писарь назвал номер следующего заключенного. Когда все новоселы барака номер три были уже проверены, его дневальный вместо просьбы о разрешении обратился к старшему лейтенанту с просьбой об освобождении его от дневальства. Даже для человека, у которого по всеобщему мнению были «не все дома», это была очень странная просьба. Какая работа для заключенного в лагере может быть проще и легче, чем несложные обязанности дневального? Начальник УРЧ посмотрел на него с удивлением:

— И куда же это ты податься захотел, Же — триста восемнадцатый?

— Прошу отправить меня на шурфовку, гражданин начальник!

Тот, видимо, решил вначале, что ослышался: «Чего, чего?» — Кушнарев повторил просьбу.

Шурфовка, «битье» шурфов на полигоне, была тяжелейшей работой на прииске. Она заключалась в выдалбливании в скалистом грунте колодцев для закладки взрывчатки под слой «торфов», сланцев, закрывающих золотоносные пески. Шурфовщики по четырнадцать часов в сутки работали киркой и

ломом на жестоких уже морозах, не имея возможности обогреться. Добровольно проситься на эту каторжную работу мог только окончательно помешанный человек.

– У печки, что ли, надоело сидеть?

– Не получается у меня дневальства, гражданин начальник!

– Образование, что ли, не позволяет полы подметать?

– Не умею я на горло брать...

– Это верно, товарищ старший лейтенант, – подтвердил присутствовавший тут же надзиратель, «прикрепленный» к третьему барaku, – Дневальный он никудышный. В бараке замерзаловка, кипятку и то достать не может...

Это была правда. И дрова, и кипяток в здешнем лагере в большом недостатке. Дневальными бараков они брались с бою, и робкому, не умеющему работать локтями Кушнареву часто или ничего не доставалось, или доставалось то, что не брали другие.

– А почему на него не жаловались? – спросил начальник УРЧ.

– Да его в бараке за чокнутого считают, называют «Догорай веники», – рассмеялся надзиратель. – Он и в самом деле большой вроде.

– А вот из лагеря бегать, так не больной! – заметил начальник по режиму, подозрительно глядя на Кушнарера. – Теперь вот на шурфовку просится... Опять что-то затеял, Же – триста восемнадцатый?

– Ничего я не затеял, – буркнул Кушнарер, – нравится мне на шурфовке работать, вот и всё...

Начальники переглянулись. В здешнем лагере, правда, есть один заключенный, который проделывает над собой еще и не такие номера. Пришил прямо к животу тряпку со своим номером, голый садится в снег... Но тот, возможно, симулирует сумасшествие, «косит на восьмерку», чтобы его не гоняли на работу. Этот же сам на нее напрашивается. Впрочем, вряд ли тут может быть какой-нибудь подвох. А если даже и есть, то за его последствия ответит внешняя охрана.

– Что ж, – сказал начальник УРЧ, – не хочешь в тепле метлой работать, вкалывай ломом на морозе. Вот только подбе-

рем тебе заместителя без высшего образования... — Этой шутке улыбнулся даже вечно хмурый начальник по режиму.

После праздника тридцать первой годовщины Октябрьской революции, когда заключенных водили на работу с увеличенным числом конвойных, а их бараки запирались на замок даже днем, Кушнарев сдал новому дневальному барака № 3 два ведра, бачок для воды и метлу. На следующий день утром он вышел на развод с бригадой, бывшей шурфы на здешнем полигоне. Новые собригадники знали, что со своей завидной должности Кушнарев ушел добровольно, и недоуменно пожимали плечами. Впрочем, чокнутый — он чокнутый и есть.

Согласно распоряжению заместителя начлага свою первую ночь в здешнем лагере Кушнарев провел в карцере, кондовой бревенчатой избушке с решетчатыми железными дверями внутри, еще пахнувшей лиственничной смолой. Кондей, конечно, не отапливался, но бушлат на его первом заключенном оставили, а наручники с него сняли. Это было сделано, вероятно, снисходя к сомнительности психического здоровья нарушителя. Однако нарушение строя есть нарушение, тем более что оно было произведено заключенным, дважды бежавшим из лагеря. Наутро Кушнарева отвели к местному оперуполномоченному. Надо было выяснить, не затевал ли он побега и отсюда.

Как и почти весь начальствующий персонал нового лагеря, опер тоже был демобилизованным из армии офицером. Но в отличие от большинства своих коллег, бывших служащих штабов и интендантства, он, видимо, воевал по-настоящему. Гораздо убедительнее, чем орденская колодка на кителе лейтенанта, об этом говорила толстая палка, на которую опирался при ходьбе лагерный «кум». Человек, по-видимому, неглупый и незлой, бывший фронтовик с любопытством всматривался в изможденное лицо первого особо опасного преступника, с которым ему приходилось сталкиваться. Папка с лагерным делом Кушнарера лежала перед ним на столе.

Если бы опер начал беседу с нарушителем, как обычно здесь, на «ты», в грубом или издевательском тоне, то Кушнарев, как всегда, просто замкнулся бы в себе и молчал. Но лейтенант пригласил его сесть, обращался на «Вы» и, расспрашивая о прошлом заключенного, причинах его странных по-



бегов и истерическом поведении вчера перед лагерными воротами, проявлял, по-видимому, искреннее сочувствие. Измученный вечной и безрезультатной войной с собственной душевной слабостью, а теперь еще и надломленный этим неожиданным водворением в особо режимный лагерь, Кушнарев, как это часто бывает с истеричными людьми, расчувствовался. И поведал человеку с суровым, но вдумчивым лицом, о своем стремлении уйти от постылой жизни и от посмертной бирки. Но смерти, как выяснилось, он безвольно и малодушно боится. И теперь уж не понять, он ли цепляется, вопреки рассудку, за эту жалкую жизнь, или она сама держит его железной хваткой. Все попытки Кушнарева покончить с собой кончаются тем, что темный инстинкт стремления жить выводит его из положений, в которых погиб бы всякий другой...

— Значит, и вчера, когда Вы кричали бойцам «Стреляйте!», Вы тоже делали такую попытку? — спросил внимательно слушавший опер.

— Нет, это была просто бездумная нервная вспышка. Умереть так — это значит быть обреченным на бирку. Рассудок, однако, всё чаще делает срывы...

— А вообще Вы полагаете, что он у Вас в порядке? — чуть заметно усмехнувшись, спросил уполномоченный.

— Такой вывод сделан магаданской психиатрической экспертизой, — усмехнулся и заключенный — ее заключение вот в этой папке...

Опер встал из-за стола и, опираясь на свою палку, прошелся по комнате. Ему не раз приходилось слышать, что дурак и сумасшедший — это далеко не одно и то же. Но в заключении с теми, кто соответствующими органами признан психически нормальным, надлежит и обращаться как с психически нормальными. Лейтенант остановился перед понуро сидевшим арестантом:

— Вот что, заключенный Кушнарев! Здесь есть только одна возможность избежать бирки, которой Вы так боитесь, — это честно отбыть свой срок! Всякие глупости надо прекратить! Отсидели десять лет, отсидите и остальные восемь... Вашу вчерашнюю выходку я оставляю без последствий, но это в последний раз. Можете идти!

В тот же день Кушнарёва к его удивлению назначили не в одну из производственных бригад, а дневальным в барак. Потом он узнал, что неожиданный «блат» устроил ему опер.

Толстый слой глины, которым был обмазан этот барак, еще не просох, когда в него поселили берлаговцев, главным образом работяг приискового полигона. Поэтому здесь было почти всегда не только холодно, но и сыро. Дров для железной печки, особенно при таком нерасторопном дневальном, каким был Кушнарёв, едва хватало, чтобы протопить ее перед самым возвращением бригад с полигона. Когда же изредка ее протапливали более основательно, глина издавала тяжелый, удушливый запах.

По вечерам здесь шли унылые разговоры о тяжелых условиях жизни и работы в этом чертовом Берлаге. То ли дело обычные ИТЛ с их дополнительным питанием за свой счет, зачетами рабочих дней, свободой передвижения на работе! С тех пор как в сочетании с гарантпайком всё это было введено, люди рвутся на работу, чтобы сократить себе срок, заработать лишнюю копейку на своем лицевом счету, лишнюю миску супа. Здесь же никому не начисляется ни одной копейки. За найденный при шмоне рубль сажают на целый месяц в БУР, да еще отдают под настоящее следствие: где взял? Существуют, правда, повышенные категории питания, но заработать такое питание практически невозможно. Превращенные своими политруками в злых полуидиотов, подвинки-конвоиры не только изматывают своих подконвойных еще по дороге на прииск, но и отчаянно мешают работать. Если ты, скажем, выбил бурку для шурфа на нужную глубину, стой и замерзай! На новое место бригаду не поведут, пока этой работы не закончат самые неумелые и слабосильные. Если у тебя затупился или сломался инструмент, считай, что день пропал без пользы. Замену такого инструмента производят обычно вольные десятники, но тут этих десятников и даже начальника прииска к заключенным и на пушечный выстрел не подпускают. В результате всего этого план прииска по «вскрыше» торфов отчаянно горит. Горит и финплан лагеря. Начальство экономит на гарантпайке, выдавая его недопеченным хлебом и баландой из плохого ободранного овса с длинными «усами». Нет даже тухлой селедки.

В бараке КВЧ под плакатом о воспитании правдой была приколата газета «Советская Колыма», тот ее номер, в котором на прииск «Фартовый», как не выполняющий плана, была помещена большая карикатура. Она изображала нерадивых работяг, загорающих на приисковом полигоне под ласковым солнцем. Пузатые дядьки возлежали в одних трусах на кучах песка рядом с составленными в козлы кирками, лопатами и ломами. «Фартово лодырям на Фартовом!» — гласила хлесткая надпись под карикатурой. В бараках смеялись. Вот бы автора этой карикатуры отвести на здешний полигон в одних трусах! Если в обычных лагерях работяг не выводили на работу уже при пятидесяти двух градусах, то для Берлага это нововведение писано не было.

Сразу же после проверки, которая происходила в бараке, всякие разговоры прекращались. Измерзшиеся за день и усталые работяги залезали на свои нары и засыпали. Дневальный, однако, не имел права спать до отбоя, точнее, до вечернего обхода лагеря дежурным комендантом. Он должен был встретить его рапортом по форме, что всё население барака находится на месте и что посторонних в нем нет. После этого барак до утра запирался на замок.

В этот вечер в конце октября в нем было особенно холодно, так как морозы на дворе достигали здесь уже почти сорока градусов, а Кушнареву досталась на топливо только одна тонкая и сырая жердь. Обругав неспособного дневального: «Как ты на воле жил, такой чугрей?» — работяги завалились спать, а он, привалившись к почти холодной печке, думал свою обычную, горькую думу о том, какой же он жалкий, слабовольный и никчемный человек. Он не сумел воспользоваться ни одной из бесчисленных возможностей, которые на протяжении многих лет предоставляли ему лагеря обычного режима для расчета с ненужной и тяготившей его жизнью. Всегда робел, когда дело доходило до последнего, решающего усилия и откладывал на «потом». И вот дооткладывался. Никто, конечно, не мешает сделать это усилие и здесь. Но избавиться от последующего лежания в земле с инвентарной биркой на левой ноге и фанерной эпитафией из своих собственных установочных данных здесь нельзя. В спецлагере стерегут так тщательно не людей — им и без охраны уйти отсюда почти некуда, — а некие

предметы с инвентарными номерами. И дело не в том, жив или мертв заключенный, а в том, чтобы он сохранился как этот предмет. И из такого отношения к заключенным здесь не делается никакого секрета. Кушнареву почти прямо говорили об этом и местный опер, и здешний начальник УРЧ: от бирки-де не уйдешь... Опер, правда, советовал терпеть и «тянуть» оставшиеся восемь лет. Но теперь это уже невозможно. Предыдущие десять лет заключения не прошли бесплодно, а режим в спецлагере таков, что рано или поздно, а «загнешься на тачке», не выдержав изнурительной работы, холода и хронического недоедания. На дневальство особенно надеяться не приходится, непременно и скоро отсюда выгонят за нерасторопность. А это значит, что через год, от силы два, придется лежать в здешней мертвецкой с фиолетовым номером на пятке, ожидая очереди к «роялю» и бирке. От сознания этого охватывает чувство безысходности, которое бывает, наверно, у приговоренных не только к смерти, но и к посмертному глумлению над их телом. И всегда, когда это чувство особенно сильно, Кушнареву кажется, что оно знакомо ему уже давно, едва ли не с детства. Ощущение того, что происходящее сейчас когда-то уже было, известно всем. Чаще всего оно оказывается ложным, но здесь было что-то другое. Кушнарев напрягал память, пытаясь вспомнить, что же именно, но не мог. Кроме разве того, что тягостное чувство связано у него с чем-то случившимся давно, давно, как будто даже в какой-то другой жизни.

Тяжелые мысли роились в тяжелой голове дневального всё больше путаясь, а сама она клонилась всё ниже. И вот исчез уже из глаз кусок грязного пола за печкой и край нижних нар со свисающим с него рукавом бушлата. Их место заняла поляна среди тропического леса с высокой дикарской хижинкой посередине. В углу хижины, на охапке пальмовых листьев лежит человек, обессиленный лихорадкой. Недалеко от его ложа сидит перед дымным костром на корточках другой человек, темный и обезьяноподобный. Это Игрну, шаман племени охотников за черепами и главный препаратор трофейных голов. Вот и сейчас он любовно поворачивает очередной трофей так и этак, тщательно прокаливая его в дыму костра. Игрну – артист своего дела. Сквозь дым хижины шамана видно, как с ее потолка свисает множество его изделий.

— Скоро и ты умрешь, — говорит шаман безнадежно больному белому. — А я высушу твою голову и повешу ее вон там, на самом видном месте... — Отталкивающая физиономия дикаря становится еще уродливее от выражения на ней радостного удовлетворения, а умирающего охватывает чувство безнадежности и тоскливой, бессильной злобы.

Сознание задремавшего человека как бы раздваивается. Тоска европейца, погибающего в тропических джунглях, — его тоска. Но Кушнарев знает, что видит только сон, навеянный какими-то воспоминаниями, и напряженно старается вспомнить, какими именно? Ах, да! Это же рассказ Джека Лондона «Красный звон», читанный в детстве и произведший тогда на Мишу Кушнарева сильнейшее и жуткое впечатление. Не тогда ли и зародилось в нем это неодолимое отвращение к посмертному надругательству над человеком, вспыхнувшее впоследствии в такой острой, болезненной форме? Читая рассказ, Миша остро сопереживал страданиям его героя и ненавидел Игрну; и чего только белый человек церемонится с этой отвратительной обезьяной? Да бабахнул бы шаману в башку из лежащего рядом ружья, которое дикари называют «громобойным младенцем»! Но автор, оказывается, имел в виду и этот вариант развития событий. Вот больной с усилием поднимает свое тяжелое ружье и целится в голову Игрну. Но тот только ухмыляется:

— Ну что ж, если ты меня убьешь, то твою голову засушит кто-нибудь еще из племени, но всё равно она будет висеть вон там...

Ружье бессильно падает, а рядом с ним падает на руки и голова пленника. Теперь Кушнарев спит уже по-настоящему и видит настоящий сон. Игрну вдруг оказывается одетым в офицерский китель с орденской колодкой на груди. Он показывает рукой в потолок хижины, где между высушенных голов свисает на шпагате фанерная бирка с номером и установочными данными Кушнарева, и голосом опера глухо произносит:

— Не уйдешь от нее, не уйдешь! — Потом шаман снова превращается в кривляющуюся обезьяну, подсакивающую к нему с визгом: — Не уйдешь! — Обезьяна множится в целое стадо себе подобных, и все они, приплясывая, кружатся вокруг бессильно лежащего человека и верещат: — Не уйдешь от бир-

ки, никуда не уйдешь! — И вдруг в этом человеке вспыхивает такая ярость, что к нему возвращаются утраченные силы.

— Уйду! — вскрикивает он и бьет кулаком по полу хижины. Пол оказывается неожиданно твердым и гулким как барабан, в который ежедневно колотят дикари. Видение исчезает. Снова виден кусок барачного пола за печкой, но теперь на нем стоят две пары добротных валенок. В валенки заправлены стеганые штаны, чуть выше закрытые полами овчинных полушубков. Обход!

Испуганно протирая глаза, дневальный вскакивает. За спанье до отбоя его могут сейчас отвести в кондей. Однако люди в полушубках настроены весьма благодушно. Они считают дневального третьего барака немного трахнутым, обиженным богом.

— Этак ты печку расколотишь, дневальный! — говорит дежурный по лагерю. — Куда это ты уходить собрался?

— Известно куда, в побег, — смеется надзиратель, ответственный за барак № 3. Он же у нас на этом чокнутый... — и крутит пальцем перед звездочкой на своей шапке.

— Ну нет, брат, — говорит комендант, — отсюда никуда не уйдешь, разве что на небо вознесешься, Иисус Христос... — Надзиратели смеются, окидывают взглядом барак и, не требуя рапорта, уходят. Слышно, как снаружи гремит железная полоса, которой перекрывается дверь, и два раза поворачивается ключ в тяжелом амбарном замке.

И эти о том же... Как сговорились все! «Разве что на небо вознесешься...» «Вознесся на небо», — говорили на руднике, где пришлось работать Кушнареву, про одного тамошнего взрывника. Он подорвался на своих же шпурах в глубокой траншее. Сидя в «блиндаже», укрытии для работяг во время общего отвала, Кушнарев сам видел, как над этой траншеей, среди высоко взметнувшихся камней летело что-то похожее на бушлат. У спецчасти лагеря, в котором содержался погибший заключенный, тогда возникли еще затруднения с его оформлением в «архив-три». На одной из рук у него были оторваны пальцы, и снять отпечатки было не с чего... Среди вялых мыслей Кушнарева вдруг блеснула идея, заставившая его вздрогнуть, а затем замереть с открытым ртом. Взрыв — вот решение мучаю-

шей его проблемы! Человек, попавший в смерч огня и со свистом несущихся камней, умирает мгновенно. Кушнарев почувствовал, что перед этим видом смерти у него нет того страха, который он испытывал перед удушением водой или гибелью от голода. А главное, взрыв может быть и такой силы, что угодивший под него человек превращается почти в ничто, а его останки разметываются по окрестностям или погребаются под камнями. В этом случае не к чему бывает подвязывать бирки и не с чего снимать отпечатки пальцев.

Идея покамест была сырой. Конкретизировать задуманное, а затем и осуществить его, можно было только работая на полигоне, на котором сейчас готовился гигантский взрыв «на выброс». Лучше всего в бригаде шурфовщиков.

Как ни плохо шли дела на Фартовом, а подготовка первого участка его полигона под такой взрыв приближалась уже к концу. Сквозь слой окаменевших глин толщиной около восьми метров до уровня погребенного золотиносного песка здесь густо, через каждые два-три метра, были проделаны маленькие шахты. Это и были «шурфы», которые вместе с двумя сотнями других заключенных вот уже почти три недели «бил» и Кушнарев. На первом участке эта работа была уже закончена. На дно шурфов заложены заряды, по целому ящику взрывчатки на каждый, и подведены провода электрозапалов. Теперь оставалось только снова засыпать колодцы камнями и щебнем и повернуть рукоять запальной машинки. Тогда сотни тонн аммонита, взорвавшись одновременно, поднимут на воздух и сбросят на борта полигона сотни тысяч кубометров камня. Дно древней реки с ее золотым песком будет обнажено и почти готово для выема и промывки этого песка. Это и есть взрыв на выброс.

Сегодня на первый участок, находившийся несколько в стороне от других участков прииска, направлялись только бригады шурфовщиков. Все прочие в целях безопасности были отправлены кто на расчистку дорог от снега, кто на заготовку дров. Работа предстояла нетрудная, засыпка шурфов, но сделать ее надо было быстро. На двенадцать часов дня был назначен взрыв.

Холода перевалили уже далеко за сорок, а на восходе солнца и за все пятьдесят, близился колымский декабрь. Мороз

зло хватал людей за носы и щеки, особенно тех, у кого они и прежде были обморожены, а таких здесь было большинство. Боль и страх остаться без носа и ушей заставляли даже самых робких из заключенных забывать о правиле держать руки на этапе только за спиной. Но подносить их к лицу значило нарушать это правило. Следовал окрик кого-нибудь из бдительных конвоиров. Теперь придирки к этому виду нарушения строя вышли на первый план даже по сравнению с придирками к плохому равнению в шеренгах и «в затылок», тоже почти невозможными на горных тропах. Получившие замечание брались под особое наблюдение. После второго, а тем более третьего предупреждения на нарушителя надевались наручники. Если же он не подчинялся приказу выйти из строя, то на морозе держали всю колонну. На лица конвоиров были надеты вязаные маски с прорезью только для глаз, и особенно спешить им было некуда. Вступивший в препирательство с конвоем, в конце концов, выходил. Таких кроме заковывания в наручники обычно травили еще собакой и записывали их номера на предмет рапорта начальнику лагеря о заключении непослушного арестанта в кондей. Происходившее каждое утро и каждый вечер происходило и сейчас. Однако сегодня конвоиры только записывали номера нарушителей строя, но почти не останавливали колонны и не производили с ними расправы на месте. Видимо, существовал приказ не задерживать шурфовщиков по дороге на работу, чтобы не сорвать отвал в назначенный час. Несвоевременность взрыва, если бы она произошла по вине берлаговского конвоя, могла иметь неприятные последствия даже для его командования, хотя, в общем-то, интересы производства были этому «до лампочки».

Когда замечание по поводу руки в рукавице, поднесенной к многократно обмороженному лицу, получил и Кушнарев, он сначала сразу же завел эту руку за спину. Но потом, как будто вспомнив что-то, не только вернул ее на место, но добавил к ней и другую руку.

— Же — триста восемнадцатый! — крикнул сержант, начальник конвоя. — Кому сказано? — руки назад! — И так как нарушитель снова не послушался, скомандовал: — Колонна, стой!



Когда заключенные остановились, последовал приказ Жэ – триста восемнадцатому выйти из строя.

– Не выйду! – отозвался тот.

– Не выйдешь, подам начлагу рапорт!

– А хоть его жене подавай! – ответил Кушнарев.

Такое вызывающее поведение было вовсе ему не свойственно. Несмотря на свои странные «рывки», обычно он вел себя с начальством и конвойными как робкий, забитый штымп.

– Ладно, сволочь фашистская, ты у меня в карцере насидишься! – злобно пригрозил сержант, пряча в карман вынутые было наручники.

– Это ты – фашист! – раздался в ответ голос Кушнарева.

Начальник конвоя остолбенел от неожиданности и злости. Он был убежден в своем праве оскорблять заключенных, но ему и в голову не приходило, что сам он и его команда мало чем отличаются от молодчиков из СС. Задерживать этап, однако, было нельзя. Поэтому начальник конвоя только погрозил кулаком строптивому арестанту:

– Ну, погоди! – и скомандовал: – Шагом марш!

– То ты тележного скрипу боишься, – вполголоса сказал Кушнареву его сосед по ряду, – то, как дурак, на рожон лезешь... Ты ж сейчас не меньше десяти суток кондея отхватил, а то еще и дело заведут...

– Не будет теперь никакого дела! – со странной уверенностью сказал Кушнарев.

Сосед пожал плечами:

– Смотри, тебе жить...

Жить... Многие замечали, что в последние недели, несмотря на тяжелый труд на морозе, недоедание и издевательства конвоя, Кушнарев как-то странно приободрился. Он теперь не плелся как прежде, а ходил, меньше горбился, глаза перестали быть тусклыми, а взгляд приобрел уверенность. Но никто не знал, что произошло это именно потому, что жить более он не собирался. И не только не чувствовал в себе прежних колебаний и страха перед смертью, но и шел на нее сейчас с чувством какого-то просветления, почти радости. Всё у него было в деталях продумано заранее, всё укладывалось в стройную схему. Так бывает всегда, когда решение верно в принципе.

Изрешеченный шурфами полукилометровый участок полигона представлял собой узкую, шириной немногим более ста метров, и слегка изогнутую полосу на дне неширокого распадка. С одной стороны она почти вплотную примыкала к довольно крутой и высокой сопке, с другой полигон ограничивал продолговатый, невысокий бугор. На гребне этого бугра стоял столб с подвешенным к нему рельсом. С его помощью всп в окрестностях полигона будут оповещены, что сейчас произойдет взрыв. По другую сторону бугра, почти рядом со столбом, находилась искусственная пещера, блиндаж взрывников. Туда, к запальной машинке, сходились провода ото всех электродетонаторов, заложенных в ящики с аммонитом на дне шурфов.

Работа сегодня шла быстрее обычного, так как конвойные, с нетерпением ожидавшие невиданного ими зрелища большого взрыва, ей, против обыкновения, почти не мешали. Последний ряд шурфов был засыпан за целый час до назначенного времени.

Затем по боковому склону сопки, граничащей с полигоном, заключенных отвели на ее гребень. Восхождение по заснеженному склону было нелегким, но зато здесь находилось самое безопасное место в ближайших окрестностях взрыва. В стороны камни отлетают иногда на километр и более, вверх же они поднимаются не выше чем на сотню-другую метров. Хотя общее количество заложенной в шурфы взрывчатки было огромно, она находилась на значительной глубине под землей и была сильно рассредоточена. Главный взрывник заверил начальника конвоя, что ни один камень на вершину сопки не залетит.

Бывший фронтовик решил, однако, принять дополнительные меры для обезопасения людей и приказал заключенным, когда те немного отдышались после подъема на гору, сложить по ее краю подобие длинного бруствера. Поверхность сопки подверглась сильному выветриванию, и огромные камни валялись здесь в изобилии. Когда невысокий бруствер был готов, последовал приказ залечь за ним всем. Приближалось время взрыва. Заключенные в тесный ряд легли на снег посредине ненужного ограждения, солдаты расположились на

некотором расстоянии от них по его краям. И все, приподнявшись, принялись смотреть сквозь дыры между камнями на полигон внизу. Отсюда он был виден как на ладони и казался узенькой, саблеобразной полоской серого щебня на фоне сверкающего под солнцем снега. Многие испытывали не только любопытство, но и нервное напряжение сродни страху. Особенно конвойные. Никто из них не видел еще ничего подобного тому, что предстояло увидеть сейчас.

На той стороне полигона к рельсу на столбе подошел человек и часто заколотил по нему молотком. Окончив звонить, он нагнулся и что-то сделал у себя под ногами. Все знали: это он зажег запальный шнур заряда-петарды. Взрыв этой петарды — и последнее предупреждение для попрятавшихся людей, и сигнал к включению запальной машины. Длина шнура под ногами у взрывника — ровно один метр. Значит, гореть он будет почти точно сто секунд. Начальник конвоя вынул из кармана часы и начал следить за их секундной стрелкой. Две, три, пять, десять секунд... До взрыва остается еще целых полторы минуты...

— Стой, стой! — вскрикнул вдруг, почти взвизгнув один из солдат и, вскочив, пустил очередь из своего автомата куда-то по направлению к полигону.

Скосив глаза в сторону заключенных, он увидел, как один из них перескочил через импровизированный бруствер и бросился вниз по склону. Это произошло в месте, где только что сложенный заборчик из камней пересекал дорожку, протоптанную вольнонаемными рабочими прииска. Их поселок расположился в распадке по эту сторону сопки под ее более пологим склоном. Чтобы не обходить сильно вытянутую гору идя на работу, работяги помоложе, когда выпало уже достаточно снега, проложили путь на полигон прямо через ее вершину. Они поднимались сюда и затем по противоположному изогнутому склону съезжали вниз на «пятой точке». Это сильно сокращало путь, но требовало известной сноровки и смелости. Скорость спуска, особенно после того как снег долго не выпадал и спусковая дорожка до глянца отполировывалась бушлатами и полушубками ребят, была очень большой. Пойти же кубарем, слететь с этой дорожки и треснуться о какой-

нибудь выступ склона означало увечье, а то и смерть. Между самыми смелыми из вольняшек здесь устраивались даже соревнования по скорости спуска. Чемпионы этих соревнований скатывались вниз меньше чем за одну минуту, хотя длина склона со стороны прииска составляла здесь что-то около километра. И только эти чемпионы решились на такой спуск сегодня. Нового снега не было уже больше недели, и дорожка к полигону на фоне заснеженного склона сопки выделялась пугающе блестящей узкой полоской.

Отчаянный беглец стартовал совсем не так, как парни с поселка при спуске с горы. Те усаживались на дорожку, обычно подложив под себя какую-нибудь тряпку, чтобы не протирать одежды, и обхватывали руками колени. Этот же бросился на нее плашмя, лицом вниз и сразу же заскользил к полигону. Так прыгают с невысокого берега в воду пловцы, когда хотят поскорее набрать скорость.

В нескольких шагах от бруствера дорожка круто загибалась вниз. Поэтому впопыхах пущенная из-за этого бруствера очередь бдительного конвойного вряд ли задела беглеца. А когда по нему начал строчить уже целый взвод, он был уже далеко от стрелков и удалялся от них со всё возрастающей скоростью.

— За мной! — выхватив наган, начальник конвоя перемахнул через бруствер и, утопая в снегу, побежал вниз по склону. Вспомнив, однако, что впереди не неприятельские позиции, а гигантский фугас, приближение к которому не сулит ничего доброго, лихой сержант в нерешительности остановился. Остановились и немногие последовавшие за ним солдаты, среди которых был и ефрейтор с собакой. — Спускай Гитлера, Жигаев!

Но тот сделал бы это и без команды, если бы не ожидание взрыва внизу:

— Нельзя, зря только собаку загубим!

Неопытные юнцы сильно преувеличивали опасность для себя предстоящего взрыва. Кроме того, им казалось, что до него остались уже считанные секунды, часы были только у начальника конвоя. Кто-то бросился назад, к гребню с бруствером, за ним остальные. Собаковод хотел последовать за

ними, но его сдерживала рвущаяся вниз овчарка. Гитлер уже понял, что кто-то убегает и его следует догнать и рвать зубами. Тащить собаку обратно, ухватившись за поводок, ефрейтору помогал сержант.

— Слабо! — не выдержал кто-то из заключенных за бруствером. Злорадный выкрик напомнил конвоирам, что две сотни охраняемых ими опасных врагов заодно с тем, который делает сейчас свой отчаянный рывок. Не зря начальство говорит, что их ни на секунду нельзя спускать с мушки. Некоторые из заключенных приподнялись на своих местах и смотрели уже поверх бруствера.

— Лежать, мать вашу! — заорал сержант, обрадовавшись возможности проявить какую-то деятельность, и выстрелил из нагана.

Нарушители плюхнулись обратно в снег. Однако ложности положения начальника конвоя это не изменило. Чтобы маскировать перед подчиненными свою растерянность и почти паническое состояние, он снова вынул часы. Наблюдение за ними полезно еще и в том отношении, что позволяет упорядочить мысли. На всю эту кутерьму ушло уже пятьдесят секунд. Значит, для реализации его плана у беглеца остается еще две трети минуты. А план этот заключается, конечно, в том, чтобы до взрыва перебежать начиненный взрывчаткой полигон и укрыться от града камней где-то на той его стороне. Фашист рассчитывает на выигрыш времени, который получит из-за того, что на пару километров оторвется от своей охраны, прежде чем взрывники дадут сигнал отбоя и можно будет начать его розыск. Затея, конечно, сумасшедшая и безнадежная. Если даже беглец не подорвется на полигоне, он всё равно будет пойман. Особенно если кинется в какой-нибудь из окрестных распадков. Тогда Гитлер будет колошматить беглого уже через какой-нибудь час. Но и в этом случае для начальника его конвоя неизбежны неприятности. Пусть только на этот час, но особо опасный подконвойный всё же уходил из-под охраны. И прежде всего потому, что она была расположена неправильно, в нарушение конвойного устава. И сооружение бруствера, и вытягивание в одну цепочку охраняемых и охранников — ненужная выдумка, теперь сержант и сам это понимал. Но кто мог подумать,

что среди этих охраняемых найдется такой, который не только не побоится взрыва на полигоне, но даже попытается его использовать в своих преступных целях! Для начальства это, конечно, не резон. Провинившегося служаку отправят на какой-нибудь пикет, а вожденная третья лычка на погонах отдастся на него в неопределенность. Всё это, однако, в лучшем случае, если беглец будет пойман до истечения суток. А что если он знает, что после предстоящего взрыва снега кругом провоняют аммоналом и следа на нем собаки взять не смогут! Тогда ничто ему не мешает забиться в какую-нибудь дыру здесь же на прииске и не быть обнаруженным до утра, а может быть, и дольше. В этом случае об исчезновении из-под охраны спецзаключенного будет доложено по телеграфу самому Берии и объявлено ЧП в масштабе всесоюзного МВД. Виновный в упущении опасного заключенного будет отдан под суд Военного трибунала. А тот усмотрит в действиях начальника конвоя и самоуправство и, наверное, преступную трусость. Кто мешал ему, например, попытаться настигнуть преступника, следуя за ним по его же дорожке и тем же способом? Ах, страх перед взрывом! А вот беглец этого взрыва не побоялся!

Однако часы и менее паническая линия мысли не подтверждали такой мрачной перспективы. В оставшееся между концом спуска и взрывом время беглец вряд ли успеет перебежать полигон и перебраться на ту сторону бугра, где для него еще есть какой-то шанс на спасение. Он почти наверняка попадет или под самый взрыв, или под целые тонны камней, которые обрушатся на него с неба. Правда, и в этом случае останется обвинение конвойного начальника в нарушении устава. Тем более что неизбежны затруднения, связанные с оформлением погибшего фашиста на архив-три. Даже ради такого важного дела вряд ли станут разгребать ту гору камней, под которой будут погребены его разорванные в клочья останки.

Напряженно следивший за стрелкой своих часов и одновременно за скользившим вниз человеком, сержант напоминал сейчас судью на каком-нибудь спортивном соревновании. Он был, однако, скорее болельщиком. Главным из тех, кто не желал удачи герою этой жуткой игры. Противоположными были желания у другой, более многочисленной группы болель-

щиков, расположившихся в центре. Правда, лишь до того, как кто-то сказал:

— А Кушнарев-то, товарищи, вовсе не в побег идет... — И тогда даже тем, кто не знал этого человека раньше, стало ясно, что перед ними совершается осознанное и теперь уже неотвратимое самоубийство; вспыхнувший было спортивный ажиотаж быстро угас, как неуместное сейчас и бессмысленное чувство.

На флангах этого пока не понимали. На одном из них продолжал следить за часами начальник конвоя. Остается двадцать секунд, пятнадцать, десять... Теперь беглецу никак не перебежать смертного поля, даже если он совершенно цел, не подстрелен и не расшибся. Облегченно вздохнув, сержант спрятал часы. Темный предмет в конце дорожки перелетел через снежную осыпь у основания сопки и упал на щебень полигона. Если бы не белая тряпка номера на его спине, он почти перестал бы быть виден. Две-три секунды белое пятно оставалось неподвижным. На флангах раздались радостные выкрики: палили по беглецу кажется не зря.

Он, однако, поднялся и, прихрамывая, поковылял к середине полигона.

— Всё равно не уйдешь, сволочь! — крикнул кто-то из солдат и на радостях пустил из автомата короткую очередь.

Но человек внизу, видимо, и не пытался перейти полигона. Он остановился, обернулся лицом к сопке и прощальным жестом поднял вверх руку. Теперь даже те на гребне горы, кто раньше презирал Кушнарёва за его житейскую неприспособленность, склонность к философской зауми и бесплодную войну с собственной природой, прониклись к нему чувством, близким к почтению. Этот человек пошел на добровольную, красивую смерть, возвышающую перед этими желторотыми крикунами не только его, но и всех, над которыми они ежедневно измываются. Теперь кое-что дойдет, наверное, даже до их забитого политруковским лганьем сознания. Выкрики на флангах действительно затихли. Зато в центре кто-то крикнул:

— Прощай, Кушнарёв! — как будто тот мог его слышать.

Но он, конечно, знал, что на него глядят сотни пар человеческих глаз. В таких случаях даже у людей, слабых духом,

нередко просыпается гладиаторская гордость. На миру, говорят, и смерть красна!

Раскатисто грянула петарда на той стороне полигона, и почти вслед за ее взрывом сопка дрогнула, как от подземного толчка. Изогнутая темная полоса внизу среди заснеженных сопок мгновенно превратилась в котел клубящейся пыли и взметнувшихся камней. Впрочем, как и предвидели взрывники, на значительную высоту вырывались только некоторые из них. Но и эти, далеко не долетев до вершины сопки, возвращались вниз. Тяжелый, казавшийся не очень громким, но слышный в десятках километров от места взрыва гул прокатился по окрестностям. В течение нескольких секунд после того, как он затих, было слышно, как свистят и гремят о дно распадка падающие назад камни.

Пылевое облако внизу, казавшееся вначале упругим и плотным, быстро становилось разреженным и косматым. Со стороны низкого, оранжевого солнца космы каменной пыли были красноватого цвета и казались более легкими, чем другие, освещенные менее ярко. Скоро стал виден и длинный, широкий ров, проделанный взрывом. Его глинистого цвета дно окаймляли серые валы взорванного камня, «банкеты» полигона.

Люди на гребне сопки, безоружные, с номерами на спинах, и их вооруженные охранники теперь уже не лежали за своим ненужным бруствером, а стояли. И все пристально до боли в глазах всматривались вниз, хотя ни один из них не смог бы ответить на вопрос, что, собственно, он силится там разглядеть?



## Начальник

Грузовик свернул с шоссе в узкий, извилистый распадок и через несколько минут остановился. Это значило, что наш маленький этап прибыл на место своего назначения — «дорожный» лагерь двести тридцатого километра Тембинской трассы, где мы будем обслуживать самый скверный участок одной из самых скверных колымских дорог. Знать пункт своего назначения, а следовательно, и свой маршрут, этапникам, конечно, не полагается. Однако в пределах Колымо-Индигирского района особого назначения это правило соблюдается редко. Здесь такая осведомленность вряд ли поможет бежать даже самому решительному арестанту, кругом ведь «вода, а посерединке — беда». Тем более не может быть в ней никакого проку для трех десятков «доходяг», вывозимых с недалекого отсюда прииска «Порфирный». Мы были списаны с него за непригодность к дальнейшему использованию в качестве «исполняющих обязанности рабочих» или «вторых», как называли еще заключенных в официальных бумагах того времени. Будучи врагами народа, мы считались недостойными носить гордое звание «Рабочий».

Но если называть вещи своими подлинными именами, то ближе всего заключенные в те годы находились к положению рабочего скота, не имеющего к тому же никакой бухгалтерской ценности в отличие от скота четвероногого. Особенно после того, как двуногие «рогатки» утрачивали способность не только «водить» автомобиль «рено» (ручек две, а колесо одно), но зачастую даже передвигать собственные ноги.

Мы слышали, как вышел из кабины ехавший рядом с шофером начальник нашего конвоя и направился с этапными

документами на лагерную вахту; как со своего сиденья — доски в передней части кузова — прыгнули два солдата. Не отходя от машины, они курили, разминая затекшие ноги, и, теперь уже не зло, поругивали чертову «Тембинку».

Никто из нас не поднял головы, чтобы взглянуть на свой новый лагерный «дом». Все продолжали сидеть на дне кузова, уткнувшись лицом в колени и натянув на головы ворота своих ватников. Спины этих ватников и нахлобученные на самые уши тонкие каторжанские картузики густо облепил снег. Снег был и на дне кузова и слегка уже подтаивал под жесткими мослами, заменявшими нам теперь ягодицы. Таял он и вокруг пальцев, торчащих из рваных резиновых «чуней» — подобий калош, надетых на босу ногу.

От того, что в глубоком распадке не было жестокого, пронизывающего ветра и мы не слышали больше его злобного воя, наше оцепенение полумертвых от холода дистрофиков начинало проходить, хотя еще не настолько, чтобы кто-нибудь из нас добровольно предпринял хотя бы малейшее движение. Почти не было в здешнем распадке и снега. Он только слегка еще припорошил склоны сопки, обступивших расположенный здесь лагерь и крыши его бараков. Облепивший нас снег мы привезли с перевала, с которого только что спустились. Говорили, что паскуднее Остерегись нет перевала не только на тембинском ответвлении главного колымского шоссе, но и на всей Колыме. Трудность его преодоления заключалась не только в крутизне и узости петлястой дороги на сопку. Эта трудность едва ли не круглый год усиливалась снежными заносами, которые наметала здесь свирепая, никогда не утихающая пурга. Хребет Тас-Кыстабыт был тут достаточно высок, чтобы соскабливать на себя в виде снега почти всю влагу, которую несли с Тихого океана достигающие здешних мест ветра, и предоставлять им полную свободу. По меньшей мере три четверти года перевал Остерегись, если, конечно, он был вообще проходим, являлся пугалом даже для неробких и бывалых колымских шоферов.

Стоял только еще конец августа. Но наш слабосильный ГАЗ едва пробился сегодня через заносы, которыми снежная буря на сопке успела уже перемести ее «пережимы» — так на-

зывались здесь узкие до жути карнизы, вырубленные в боках угрюмой конической горы взрывами аммонита и кирками строителей дороги, всё тех же «и. о. рабочих». Зима на перевале со странным и пугающим названием-предостережением начиналась на добрый месяц раньше, чем на других участках и всюду-то неприятного и зловещего Тас-Кыстабыта.

Мороз только вступал еще в силу, но ветер эту силу тут никогда и не терял. На поворотах «серпантина», по которым петляла дорога, карабкаясь на хмурый и высоченный Остерегись, казалось, что ветер вот-вот сбросит в тартарары наш старый грузовик с его задыхающимся мотором. А поскольку это пока ему не удавалось, он обрушивал всю свою злобу на нас, голодных и полураздетых пассажиров этого грузовика. Ветер, как плетью, хлестал нас снегом, сметая его со склонов и скал сопки, штопором вкручивал этот снег в неплотности «щита», который образовали наши спины, когда все мы, как перочинные ножики, сложились вдвое на щелястом полу дряхлого кузова. Кроме этого «щита», своих изодранных ватников да еще привычного тупого терпения мы ничего не могли противопоставить ледящей, как будто сознательно злобной стихии. Вот разве только еще свою благоприобретенную за долгие годы каторги способность впадать в полубесчувственное состояние, нечто подобное анабиозу низших животных.

Каждый из тех, кто пережил эту каторгу, нередко задавался потом вопросом: смог бы он прежде, когда был еще сытым и здоровым человеком, выносить то, что выносил впоследствии в состоянии крайнего изнурения? И сам давал на него неизменно однозначный ответ — нет, не смог бы! Во всяком случае, без тягчайших последствий. Парадоксальный вывод, который следует отсюда, находит свое объяснение: людей, попадающих в обстановку хронических, неизбывных бедствий, нередко спасает от окончательной гибели почти полное притупление их нервной и психической восприимчивости. У большинства из нас это притупление достигало такой степени, что не только душевных, но даже особенно острых физических страданий мы уже не испытывали. Мучительные эмоции и бесчисленные болевые сигналы, посылаемые в мозг страдающим телом, в конце концов были просто выключены. Бывают

обстоятельства, когда они являются даже не бесполезным излишеством, а опасным и вредным усложнением. Поведение изнуренных до крайности людей всегда подчиняется еще одному закону — подсознательному режиму экономии жизненных сил. Без настоятельной необходимости доходяги не делают ни одного лишнего движения, часто производя при этом впечатление тупоумных или глухих. Некоторые утрачивают даже способность дрожать от холода. Все эти полезные теперь качества удалось, конечно, приобрести не сразу и далеко не всем. Подавляющее большинство привезенных на Колыму арестантов, не обладавших некоторым предварительным запасом физической и душевной прочности или не получивших сколько-нибудь достаточного времени для акклиматизации в условиях голода, холода и изнурительной работы, давно уже лежали «под сопками» с фанерной биркой на левой ноге.

Мы почти не разговаривали. Дистрофиков отличает еще и тупая молчаливость, способная произвести иногда впечатление немоты. Только в самом начале подъема на перевал, увидев вершину Остерегись в косматой шапке бурана, молодой хлопец откуда-то из Приднепровья вспомнил, видимо, свое село: «А у нас зараз чернослив уже поспивает...» Ему никто не ответил. А потом мы сжались на полу грузовика до физически возможного предела и почти полностью выключились из активной жизни. Сначала, когда машина «забуривалась» в очередном сугробе, конвоиры пытались согнать нас на дорогу и заставить подтолкнуть застрявший грузовик. Но мы оцепенело продолжали сидеть на своих местах, как будто не слыша свирепых окриков и даже не чувствуя пинков. Кончалось это всегда тем, что, изматерившись до хрипоты, нащелкавшись затворами винтовок и пнув того, кто был поближе, сапогом или прикладом, солдаты слезали сами. В своих крепких яловых сапогах, шапках-ушанках и дубленых полушубках они приплясывали у борта машины, который заслонял их от ветра. В это время шофер-заключенный, конечно из «бытовиков», энергично шуровал лопатой, выгребая из-под колес газика снег. Потом садился за руль и, гудя и завывая под стать ветру, грузовик снова двигался по страшному прижиму до следующего заноса.

Но однажды он застрял, казалось, совсем уж безнадежно, и солдаты решили продолжать движение своего этапа пешком. Мы уже переваливали через вершину сопки, но на этой стороне ветер был еще лютее. Стараясь перекричать этот вой, конвоиры совещались у кабины грузовика, обсуждая вопрос, как им быть с нами: оставить ли замерзать в кузове или согнать с него и заставить зайти хотя бы за ближайший поворот? Солдаты не сомневались, что в этом случае мы загнемся еще быстрее. Но было желательно, чтобы осталось какое-то доказательство существования мер, предпринятых для нашего спасения. Хотя и почти уже бросовой, но мы числились рабочей силой, и бойцам ВОХР надлежало показать своему начальству, что они пекутся о ее сохранении. Мат и щелканье затворов были на этот раз особенно свирепыми. Но и теперь никто не поднялся с места даже при ударе окованным торцом приклада. Тогда вохровцы отстегнули задний борт кузова и стали сдвигать с него людей на снег. Те падали, почти не меняя своей скрюченной позы эмбрионов, как будто были уже окаменевшими трупами. Только парень из украинского села, вспоминая о своем черносливе, сделал слабую попытку подняться. Но, взглянув сквозь разрывы в снежных вихрях на теснящиеся до самого горизонта гигантские черные конусы, он снова опустился на снег. Его сосед по сугробу слышал, как хлопек по-детски заплакал в ладони прижатых к лицу рук: «Матинко моя ридна!»

Убедившись, что заставить своих подконвойных двигаться самостоятельно им никак не удастся, солдаты прокричали, что за такое неподчинение нас следовало бы расстрелять, но делать этого нет необходимости, так как через какой-нибудь час мы подохнем тут и сами. И что это будет очень хорошо. Меньше останется на свете «темнил» и дармоедов, которых надо охранять, да еще и тютюшкаться с ними... Солдаты закинули на плечи винтовки, обошли грузовик, перед которым продолжал раскапывать сугроб упрямый водитель, и пошли на спуск, утопая в снегу. Но тут шофер, рискуя свалиться вместе с нами и машиной с узенького карниза над тремя километрами крутого склона, провел ее по притоптанному конвойными снегу и каким-то чудом сумел вывести грузовик на нижние петли серпантина.

Все это происходило каких-нибудь полчаса тому назад. Мы не подошли и на этот раз, и теперь с медлительностью оттаивающих рептилий соображали, неужто снова остались живы? Наконец кто-то из вохровцев крепко постучал прикладом винтовки о борт нашего грузовика и прокричал ненатуральным утробным и угрожающе свирепым басом:

— А ну, вылезь! Быстро!

Вряд ли конвойный, отдавший этот приказ, надеялся на особую быстроту его выполнения. Не было в такой быстроте сейчас никакой необходимости. Но таков уж привычный стиль обращения охранников к заключенным. Почти все их распоряжения начинаются с этого «А ну!» и кончаются почти обязательным «Быстро!».

Мы зашевелились в своей полузасыпанной снегом коробке и начали медленно подниматься на онемевших ногах. Прошла не одна минута, прежде чем все пассажиры грузовика поднялись, наконец, на ноги и стояли в нем полусогнувшись, как будто боясь стряхнуть облепивший их снег. Понадобился повторный окрик, подкрепленный густым лагерным матом, чтобы мы начали неуклюже переваливаться через высокие борта машины. Приземлиться без падения на каменную почву удалось немногим, почти все свалились мешком. Но доходяги ушибаются в таких случаях редко. Выручает легковесность — у большинства вес тела достигает едва половины нормального — и своего рода натренированность. Дистрофики падают очень часто, почти на каждой попавшей под ноги кочке.

Наконец кое-как из кузова выбрались все и стали тесной кучкой — обтянутые дряблой кожей и обвешанные невообразимой рванью скелеты. Рвань официально именовалась лагерным обмундированием «третьего срока». Сквозь громадные прорехи штанов из бумазеи, надетых только на короткие ветхие трусы, виднелись синие узловатые палки ног. Ватники у многих были изодраны и прожжены настолько, что фестоны грязной ваты, свисавшей у них вокруг бедер, образовывали у некоторых подобие ритуальных поясов, как у африканских шаманов.

— Ну и фитили! — Плотный человек в новых ватных штанах и такой же телогрейке, по-видимому, здешний староста или

нарядчик, восхищенно скалился, глядя на нас: — Вот уж фитили... Дает Король!

— А ты что, работяг от него ждал? — усмехнулся немолодой надзиратель, вероятно, дежурный по лагерю. — Пока из последнего доходяги последней тачки грунта не выбьет, с прииска не отпустит. Разве что в Шайтанов Распадок...

Веселый придурок — оказалось, что он тут и надзиратель и староста одновременно, так как лагерь был малочисленный, — захохотал. Как и «дежурняк», он, видимо, хорошо знал прииск, с которого нас привезли, и его начальника Королева, прозванного «Королем» за властность и бессердечную расчетливость рабовладельца. В Шайтановом Распадке расположилось лагерное кладбище Порфирино. Говорили, что из десяти эков, проработавших у Королева два сезона, девять отправляются на «Шайтанку». Мы принадлежали к той десятой части, которая умудрилась на Шайтанку не попасть и теперь подлежала как «отработанный пар» передаче лагерям неосновного производства. Предполагалось, иногда не без некоторого основания, что в качестве дорожников, лесорубов, рабочих сельскохозяйственных лагерей и т. п. мы еще сможем некоторое время приносить Дальстрою какую-то пользу. Однако даже такую сомнительную рабсилу рачительные хозяева основных предприятий, вроде того же Королева, старались удержать у себя до крайнего, возможного предела в надежде, конечно, выбить из них лишнюю тачку золотоносного грунта. В смысле времени, таким пределом здесь были последние числа августа, и вот почему: первого сентября зимний сезон в Дальстрое считался уже официально наступившим. А это значило, что «покупатель», т. е. лагерь, куда прииск или рудник направлял, удовлетворяя его заявку, партию «крепостных» третьего сорта, если заключенные не были одеты, пусть в драное, но всё же зимнее, обмундирование мог этой партии и не принять. Но поступить так еще вечером тридцать первого августа покупатель права не имел. Сегодня было как раз тридцать первое. Кулак Королев резонно рассудил, что добытые нами тачки песка уже не окупят даже рваных ватных штанов и бурок ЧТЗ, в которые прииск обязан был бы обрядить нас завтра, и «сбагрил» доходяг на Тембинку точно «впритирку» с концом сезона.

— Шмутье-то на фитилях в утиль только, — заметил староста и, покрутив головой, добавил: — Утиль в утиле присылает жмот... — Под «жмотом» он подразумевал, конечно, Королева и, довольный забавным сочетанием слов, захохотал.

— Ничего не скажешь, Королев — мужик хозяйственный... — согласился с ним дежурный и крикнул: — А ну, разбирайся по пяти! Быстро!

Что это могло относиться только к нам, явствовало уже из интонаций команды-окрика. Такие басовитые, ненатурально свирепые интонации умеют придавать своему голосу, кроме пастухов и погонщиков животных, только тюремные надзиратели и конвойные солдаты. Вяло перебраниваясь, мы начали бестолково строиться в шеренги, в которых вместо пяти у нас получалось то четыре, то шесть человек. Предстояла обычная канитель сдачи-приема полученного лагерем пополнения. Но затем нас, конечно, пустят в сарай. Перспектива обогреться и, быть может, получить миску горячей баланды воодушевила даже самых «доходных». Поэтому через каких-нибудь минут пять мы уже построились в несколько кривеньких, колеблющихся рядов.

Из проходной вахты лагеря вышел угрюмый человек в офицерской фуражке и ватнике защитного цвета. Его давно небритое и как будто заспанное лицо показалось мне не только уже виденным где-то, но и хорошо знакомым. Но вот где и когда виденным — этого я припомнить не мог.

— Тё работяги, — пренебрежительно махнул на нас рукой дежурный, обращаясь к человеку в защитном ватнике. — Будем принимать? — Это был скорее полувопрос, чем вопрос, но он означал, что человек с заспанным лицом — начальник здешнего лагеря.

Тот посмотрел в нашу сторону, но как будто сквозь нас, равнодушным, каким-то пустым взглядом. Ощущение от этого взгляда было таким, как если бы на месте глаз на одутловатом лице начлага находились две небольшие дырки. Снова во мне зашевелилось ощущение, что когда-то я много раз ощущал на себе этот неприятный взгляд. Но вялая память дистрофика отказывалась что-либо уточнить в этом неопределенном воспоминании. Да и мало ли я видел за свой почти уже пятилетний каторжный срок всяких лагерных угрюм-бурчеевых!



А память доходяги такая штука, что даже товарища, с которым пару лет спал рядом на одних нарах, через год узнать уже не можешь. Поглядев на нас, а точнее на место, где мы стояли с полминуты, начальник неопределенно повел плечом и зашагал куда-то в сторону, не удостоив своего подчиненного ответом. Но, пройдя несколько шагов и что-то, видимо, вспомнив, он вернулся к дежурному, державшему пакет, поданный ему начальником нашего конвоя, мотнул подбородком в нашу сторону и что-то ему сказал. Теперь пожал плечами уже дежурный. Было похоже, что он не уверен в разумности какого-то распоряжения, полученного от начальника. И хотя оно, несомненно, касалось нас, вряд ли это распоряжение могло быть серьезным. Формально мы даже не были еще приняты в здешний лагерь, и дело шло, вероятно, о помещении, в которое нас следует сейчас отвести.

Началась давно всем знакомая процедура приемки заключенных от этапного конвоя. Лагерный староста громко зачитывал очередную фамилию по списку, извлеченному из запечатанного пакета. Вызванный должен был отозваться своим именем-отчеством, годом рождения и «установочными данными». У многих эти данные выражались длинным рядом путаных букв и цифр, запомнить и произнести залпом которые не всегда может даже человек с ясной головой. Тут же были люди, из которых далеко не все могли сразу припомнить даже собственное отчество.

Деменция. Таким ученым словом врачи называют слабоумие, вызванное хроническим голоданием. Для человека, находящегося в этом состоянии, хитроумная цифирь почти кодовых обозначений статей и пунктов уголовного кодекса, по которым он был осужден, бывает почти непосильной для припоминания. Доходяги путали срок со статьей, ее пункты с данными о поражении в правах и т. п. У некоторых получалось что-то вроде: «Статья... как ее... два “а”, срок — пятьдесят восемь лет...»

Развлекаясь замешательством и бестолковостью дистрофиков, староста мурыжил их тем усерднее, чем меньше у тех сохранилось способности к запоминанию и элементарному соображению. Кроме веселой забавы тут было, очевидно, еще приятное чувство превосходства над этими людьми. Поэто-

му, когда кто-нибудь из вызванных зарпортовывался совсем уж безнадежно, придурок со снисходительным презрением махал рукой и приказывал:

— Ладно уж, отойди! И где вас только понабирали, таких чугреев? — Многие из «чугреев» имели высшее образование и даже ученые степени.

Наконец ритуал приобщения нас к списочному составу лагеря Двести Тринадцатого километра закончился. Получив от дежурного надзирателя расписку, что партия заключённых принята в полном составе и сохранности, одетая «по сезону» и накормленная «по норме», наш бывший конвой удалился. Еще раньше укатил в здешний гараж на своем грузовике наш лихой водила. Теперь оставалось только войти в лагерь и облепить печку в каком-нибудь из бараков. Холод чертового перевала засел, как нам казалось, по самые кости. И кто знает, может быть, казавшийся незлым комендант прикажет даже выдать нам по черпаку баланды, хотя свой целодневный рацион мы получили еще ранним утром на прииске. Поэтому, не ожидая команды и почти без обычной бестолковости, мы сами построились по пяти перед лагерными воротами. Но их почему-то не открывали. Дежурный комендант ушел на вахту, а староста не только не оценил нашей организованности и инициативы, но еще и обругал:

— Чего это вы, как бараны на ворота уставились? Они ж не новые... — Это была очередная острота, и довольный ею староста захохотал.

Мы слабо загалдели:

— Как чего? Разве нас не в этот лагерь привезли?

Староста ухмыльнулся:

— В этот. Но только до возвращения работяг с трассы вас не велено в него пускать. Чтобы вокруг столовой да на помойке не шакалили. Приказ начальника!

Мы запротестовали уже громче:

— Где это видано, чтобы озябших людей обогреться не пускать? Мы ж тут загнемся до вечера!

Староста перешел на решительный тон:

— Не загнетесь! А ну, отойди от ворот, кому сказано?

Привычным движением сытый и дюжий придурок пнул плечом крайнего в переднем ряду. Удар был умело нацелен

наискось нашего строя, и весь он оказался мгновенно смятым. Несколько человек упали наземь.

— Вот это да! — довольно загоготал староста, — первого бьешь, а десятый валится... — Но тут он построжал снова: — Вот что, фитили! Стоять тут и ни шагу в сторону, пока развод не вернется! Не то... — Он указал на место на углу зоны, ткнул рукой в сторону вышки с часовым и показал, как вскидывается винтовка: — Понятно?

Это-то было понятно. Но вот зачем здешнему начальнику понадобилось держать нас на холоде до вечера, этого мы понять не могли. Чтоб не шакалили! Так в его лагерь мы приехали не на один только сегодняшний день!

По всему было видно, что ни в зоне, ни за зоной тут особенно-то и не расшакалишься. Немного в стороне от лагеря сбились в кучу несколько самодельных лачуг. В них жили, наверное, вчерашние здешние зэки, отбывшие в этом лагере срок и оставшиеся работать на дороге. В стороне от них стояли домики казенного вида, очевидно квартиры дорожно-го начальства, надзирателей и этого прохиндея — здешнего начальника. А что он прохиндей, сомнений быть не могло. Иначе зачем бы ему так бесцельно мучить только что доставленных к нему работяг? День едва только перевалил на свою вторую половину, а развод вернется с работы уже затемно. Значит, торчать вот так нам придется часов шесть или семь.

— Хороший хозяин и собаку в дом обогреться пускает... — вздохнул кто-то.

— Так то хороший... — возразил ему другой.

— Садись, на чем стоишь! — сказал кто-то из наших многочисленных блатных и опустился на притрушенную снегом землю, привычно натянув на голову драную телогрейку. Кое-кто последовал его примеру, но большинство осталось стоять на ногах, сбившись в тесную кучу, как овцы перед бураном: не так холодно и надо меньше усилий, чтобы не свалиться. Разговоров больше никаких не велось, мы снова впали в состояние обычного полуоцепенения.

Лагерь дорожников занимал всю ширину узкой впадины между двумя довольно высокими сопками. На третью, замыкающую распадок, он вползал доброй третью своей площади. Небрежно обритая пилами зэков, она некрасиво щетинилась

тонкими разной высоты пнями; здесь был когда-то редкий и чахлый лиственный лес. На боковых сопках, как видно, никогда ничего не росло. Бурые, в красноватых промоинах от весенних потоков, а теперь еще и посеревшие от присыпавшего их первого снега, их склоны имели унылый и тоскливый вид. Распадок расположился высоко в горах, и через его открытый конец был виден типичный для этих мест угрюмый горный пейзаж, напоминавший поверхность кипящего густого варева, внезапно застывшего в своем котле. Некоторые из дальних сопок тоже были уже посеревшими от снега, другие оставались еще темными. И только одна, гораздо выше и ближе других, была уже на добрую треть своей высоты белой. Кроме того, ее контуры на фоне тяжелых снеговых облаков были не резкими, как у соседних гор, а казались размытыми, особенно на вершине, которая как бы дымилась и постоянно меняла свои очертания. Ниже, по заснеженным склонам вилась узенькая полоска серпантина, которая на своих верхних петлях то показывалась сквозь рваную занавеску пурги, то снова за ней скрывалась. Конечно же, это была Остерегись.

По площади своей зоны и числу бараков лагерь Двести Тринадцатого был довольно велик. Но большая часть его строений стояла сейчас заколоченной. Некоторые бараки, давно уже заброшенные, совсем покосились, а на их крышах из дранки зияли большие дыры. Здешний лагерь, видимо, кишел эками во времена строительства Тембинской трассы, когда в нем жили те, кто прокладывал тяжелый участок этой дороги и вырубал карнизы на склонах окаянной Остерегись. Почти все эти люди давно отдыхали вон там, где под бурым горным склоном находилось лагерное кладбище. Его было легко узнать по длинным рядам колышков с фанерками на верхнем конце. На этих дощечках размером с небольшой тетрадный лист были выписаны все те же «установочные данные», от которых заключенному никуда не уйти и после своей смерти.

В зоне лагеря никого сейчас не было видно. Только из задней двери лагерной кухни несколько раз выходил какой-то «кухраб» с помойным ведром, в грязной белой куртке, да к избушке санчасти проковылял человек, двумя руками опирающийся на кривую палку. Кухраб сонно и безо всякого любо-

пытства поглядел на нас с полминуты, а калека и вовсе не обратил внимания. Очевидно, здесь освобождали от работы только таких больных, кто в доказательство своей болезни «приносил под мышкой» собственную голову. Обычно прохиндеи-начальники под стать себе подбирают и лагерную обслугу.

И обнесенная колючей проволокой лагерная зона меж безрадостных гор, и вышки-раскоряки на ее углах с безразлично поглядывавшими на нас часовыми, и ворота из жердей, сколоченные не без некоторой затейливости и напоминавшие деревенскую первомайскую арку – всё это было уже тысячу раз виденным, осточертевшим «до блевотины», как говорят блатные. Такой же надоевшей была и выцветшая надпись над воротами, предупреждавшая за подписью самого Сталина, что «Кто не работает, тот не ест». Уже кто-кто, а мы-то знали, что в лагере только тот и ест, да еще «от пуза», кто не работает, и как этот здешний староста погоняет да мучает других. Нет, ничего доброго не сулил нам этот вымерший лагерь! Когда на Порфирном нам объявили об отправлении на этап, у многих шевельнулась надежда попасть в такое место, где посытнее кормят. Пределом таких мечтаний являются сельхозлагеря, в которых, однако, на Колыме занято вряд ли более половины процента ее бесчисленных заключенных. Но перед самой посадкой в машину мы узнали, что «проданы» в дорожный лагерь да еще на Тембинскую трассу, и всякая надежда угасла. В дорожных лагерях кормили еще хуже, чем на приисках, ведь это было не основное производство, а работа здесь была того же типа, с постоянным применением кайла, лопаты и тачки. Правда, по своей напряженности она обычно не была такой каторжной. На основном производстве главный залог выполнения производственного плана заключался в умении не щадить ни сил, ни жизней заключенных рабов, и многие из начальства в этом умении преуспевали. На уже действующих дорожных участках постоянного повода для проявления особого начальственного усердия не было, дело сводилось тут только к поддержанию дороги в рабочем состоянии. Тем более не было начальникам дела до того, реален или нереален подтвержденный дорожным десятником объем работы, необходимый для выведения экам их скудной «шестисотки». Дей-

ствительно ли существовала показанная в рабочей ведомости как удаленная горная осыпь, или она осыпалась с карандаша этого десятника? И не увеличил ли этот карандаш вдвое, а то и втрое число кубометров отброшенного снега? Лагерная «туфта-матка», праведная «ложь во спасение» процветала здесь всюду, но «заряжать» ее на дорожных работах было проще, чем на всех других. Случалось, что такая туфта была просто необходима. В дни, например, когда работы почти не было или сильная пурга делала всякую работу бесполезной. В такие дни и конвоиры, которые тоже предпочитали тепло казармы ветру и морозу трассы, нередко уводили заключенных в лагерь раньше положенного времени. Лагерное начальство обычно не замечало этого нарушения режима.

Все эти спасительные отступления от гулаговских предприятий проводили к тому, что заключенные дорожных лагерей могли существовать на своем голодном пайке довольно долго, гораздо дольше, чем на приисках. На вопрос о своем житье-бытье они обычно отвечали: «К бабе не захочешь, но помереть не помрешь». Так до поры отвечали и дорожники Двести Тринадцатого, хотя их положение было хуже, чем у других. Ведь именно на их участке громоздилась Остерегись, одно восхождение на которую требовало больше энергии, чем ее заключалось во всей их традиционной шестисотке хлеба. Спасти здесь заключенных от быстрого смертельного изнурения мог только неглупый и незлой начальник. Но по дороге сюда мы видели на Остерегись прижавшихся к ее скалам и полузанесенных снегом здешних зэков с лопатами. Они, конечно, ничего не делали, так как работа по расчистке дороги в такую пургу является бросовым мартышкиным трудом. На место одной отброшенной лопаты снега ветер тут же наметает десять. Заставлять истощенных людей делать альпийское восхождение на гору, чтобы заниматься на ней бесполезной работой, мог даже по колымским понятиям, только последний прохиндей или дурак. Отсюда было видно, что фанерок с лагерными эпитафиями на здешнем кладбище подозрительно много. Обычно они не выстаивают больше одного-двух лет, и присутствие такой фанерки на колышке служит свидетельством относительной недавности погребения.

На вышках лагеря сменились часовые. Они принимали свои посты, когда нас проверяли по списку. Значит, с тех пор прошло уже четыре часа. В распадке почти стемнело, хотя горы вдаль были видны еще довольно хорошо. Но теперь тяжелые серые тучи спустились еще ниже и неслись быстрее, временами задевая за вершины сопки, обступивших казавшийся замершим лагерь. Перестала быть видной и вершина Остерегись. Ее укутали лохматые облака, сгрудившиеся вокруг сопки ниже, чем в других местах. В каком-то сарае за зоной застучал движок, и над колючей оградой лагеря вспыхнули тусклые фонари. Теперь небо казалось совсем черным, и на нем были видны только слегка подсвеченные этими фонарями разлохмаченные края самых низких из облаков. Но внизу по-прежнему были тихо. С точки зрения защиты от ветра место для лагеря было выбрано удачно.

Шел, вероятно, уже десятый час вечера. Так как утренний развод во всех лагерях производится в шесть часов утра, то здешних заключенных, значит, заставляют находиться на трассе полных четырнадцать часов — продолжительность рабочего дня, принятого для промывочного сезона на приисках и совершенно не обязательного здесь. Тем более на такой работе, как сегодняшний мартышкин труд на сопке. Даже Король на Порфирном морил людей только тогда, когда надеялся на получение в результате этого нескольких лишних граммов «первого металла», как, играя в какое-то подобие полусекретности, колымское начальство называло золото.

Наконец со стороны входа в распадок послышались хриплые окрики и понукания конвоиров. Скоро в свете призонных фонарей показались возвращавшиеся с работы дорожники. Они, как и следовало ожидать, с ног до головы были облеплены снегом. На плечах люди несли железные и деревянные лопаты, долженствующие по мысли здешнего начальника противостоять действию горной пурги. Вид у заключенных, даже у тех, кто шел впереди, был едва ли не хуже, чем у работяг прииска. Там почти всегда находились относительно еще свежие люди. Здесь же была сплошная «слабосилровка». Небольшая колонна, человек всего в двести, растянулась на добрых полкилометра. Задние, несмотря на окрики и даже тол-

чки прикладами, еле плелись. И всё же среди этих людей нашлись такие, которые проявили к новичкам некоторый интерес. Обычно он связан с надеждой найти среди новоприбывших знакомых. В течение безрадостной лагерной жизни это вносит иногда, хотя и кратковременное — на один-два вечера — оживление. Говорить, оказывается, обычно почти не о чем — всюду одно и то же.

Один из таких любопытных подошел к нам почти вплотную, взглядываясь в серые лица прибывшего пополнения.

— Что у вас тут за начальник? — спросил я у него.

Вопрос был почти праздным. Ответ на такой вопрос давала и физиономия здешнего начальника и обстановка в лагере. Как вскоре выяснилось, это мне только казалось. Спрошенный хотел что-то ответить, но тут конвойный, только сейчас заметивший присутствие на плацу новых заключенных, замахнулся на нас прикладом:

— А ну, отойди! — Нас отогнали шагов на двадцать в сторону. После того как развод выстроился перед лагерными воротами по пяти, их открыли.

— Первая, вторая... — начал отсчитывать проходящие мимо него шеренги дежурный. Очередь ряда, в которой находился парень, спрошенный мною про начальника, была еще далеко. Видимо, обязательный человек, он пытался теперь ответить на мой вопрос странными телодвижениями. Рисовал рукой в воздухе круг с каким-то крючком сбоку, показывал, как держит на этой руке что-то тяжелое, затем опускал ее на уровень бедер и хлопал себя по штанам. За этим занятием он не заметил, как его пятерка тронулась вперед, и, получив от вохровца доброго матюга, побежал ее догонять. Я, конечно, ничего не понял.

К нам подошел уже знакомый староста:

— Ну, бригада ух, становись по пяти!

«Бригада ух, работает с десяти до двух!» была одной из многих не слишком блестящих остроумием лагерных присказок. Уже на территории лагеря, провожая нас в какой-то дальний барак, староста еще раз предупредил, что если кто-нибудь из нас «сорвется» по дороге в надежде «пошакалить», то такого ждет карцер. Постоянное повторение одинаковых угроз и



предостережений, как детям или слабоумным, было вызвано тем, что доходяги и в самом деле обычно ведут себя как умственно неполноценные люди.

Барак, в который он нас привел, был совершенно пуст и, видимо, давно уже необитаем. Даже при свете фонаря «летучая мышь», который принес с собой староста, — шел третий год войны, и электролампы на Колыме стали крайне дефицитным предметом — было видно, что и на покосившихся нарах, и на железной печке барака лежит толстый слой пыли. В помещении было холодно, как в сарае, и нигде не было видно и намека на дрова. На вопрос, где их взять, староста ответил, что на склоне какой-нибудь из сопок. Старые горные лесосеки часто подходят к самой трассе, и пней на них хоть завались. Вот как выйдем завтра на дорожные работы, так и наберем дров для нашего барака. Дело нехитрое. Зашел в какой-нибудь распадок, выворотил пяток старых пней да принес их в лагерь, вот те и дрова! Тут все так делают, не к теще в гости приехали.

— А до утра, выходит, опять замерзаловка?

Нет, почему же замерзаловка! Во-первых, в присутствии людей место под крышей теплее становится, а во-вторых, сейчас нам принесут целый жбан кипятку и пару кружек. Веселись, мужики! Ведро воды, да еще горячей, заменяет кило масла.

— А кормить нас когда будут?

— Еще чего? Вас утром на Порфирном кормили.

— Так то пайка только да утренняя баланда, а нам еще обед полагается.

— Пустой твой номер, парень, да два порожних, — староста покачал пальцем перед самым носом попытавшегося «закосить» непричитающийся нам рацион. — В аттестате, брат, всё проставлено. Вы ж штрафники, не выполняющие...

Это было верно. С тех пор как, обессилев от изнурения, заключенный не мог более выполнять лошадиных лагерных норм, его, как злостного срывщика производственного плана, переводили на штрафной паек. По мысли высокоумных генералов из бериевского ГУЛАГа, такими «ударами по брюху» из заключенных вышибалась их постоянная склонность к «филонству». Мы не выполняли приисковых норм и наполовину и получали поэтому меньше половины и без того голод-

ного хлебного пайка и поллитра пустого супа на день. То и другое было нам выдано еще утром, перед посадкой в машину.

— А что если начальника попросить, чтобы накормили, — предложил кто-то из неисправимых рогатиков, — мы же сюда работать, а не подыхать приехали!

Старосту это предложение привело в самое веселое настроение:

— Попроси, попроси... Получишь... От бублика дырку.. — И он захохотал, представив себе, видимо, что-то необычайно нелепое и смешное.

Делать было нечего, и мы начали готовиться провести ночь в неотопливаемом бараке. Для этого нужно было объединиться по двое, чтобы, положив на голые нары ватник одного компаньона, укрыться ватником другого. Кооперировались обычно по признаку одинаковой изодранности телогреек. У кого они были поцелее, те не хотели объединяться с обладателями совершенного уж рванья. Послушав с ухмылкой споры доходяг о том, где дырка на ватнике важнее, спереди или сзади, староста ушел. Но уже от порога еще раз предупредил:

— Слышь, фитили! Не вздумайте вокруг столовой шляться да на помойке селедочные головки собирать! Она у нас «запретке», охрана по ней, как снайперы по немецкой траншее, пристрелялась... — Вспомнив что-то веселое, староста ослабил: — Одного такого любителя головок только вчера под сопку сволокли, — придурок хохотнул и ушел.

Я лежал, плотно прижавшись к костлявой спине соседа, но от нее не исходило даже намек на тепло. Наоборот, и он, и я начинали дрожать от холода, ощущение которого сделалось теперь еще мучительнее. Это происходило именно от того, что некоторую дозу тепла мы все-таки получили, и обрели, таким образом, способность чувствовать холод. Вероятно, это чувство обострилось не только у нас двоих.

— Да что нам тут, загибаться, что ли? — вскочил вдруг со своего места Ленька Одесса, мелкий блатной-отказчик.

На протяжении почти всего промывочного сезона Одесса на работу не выходил, предпочитая сидеть в карцере и получать штрафную трехсотку с самого начала. Всё равно ею же кончится. Опыт показал, что, честно вкалывая на полигоне за

дополнительные полкило хлеба в день, работяга «доходит» скорее, чем «отказчики». Демонстративное отрицание настоящими «законниками» дисциплины каторги связано у них и с трезвым расчетом. Не всегда удавалось испугать отпетых уголовников и дополнительной десяткой срока за «контрреволюционный саботаж», которую давали отказчикам от работы с начала войны. Не всё ли равно, сколько ты «останешься должен» прокурору, пять или пятнадцать лет? В таких местах как Порфирный, да, наверно, и этот Двести Тринадцатый, всё равно угодишь в «архив-три» через год-полтора, хошь работай, хошь не работай. Так умнее, вероятно, отправляться в «архив» не порадовав лагерных начальников особым усердием. Логичность этого рассуждения понимали многие и из рогатиков, но следовать ему они не могли по причине органической неспособности к неподчинению власти.

— Эй, Карзубый! — Ленька тормозил своего дружка, худенького, тщедушного паренька, который был намного моложе Одессы, считал его своим наставником по блатной линии и во всем подчинялся. — Сыпь за огнем, будем нары жечь!

Тот понял приказание старшего товарища сразу и побежал в соседний барак, а Одесса, ухватившись за конец доски-горбыля на своих нарах, попытался его оторвать. Но силенки у него, как и у всех нас, было с «комариный нос», а горбыль оказался пришитым довольно крепко. Отчаянно матерясь и скрипя зубами, инициатор смелой затеи бился сначала один. Сочувствовали этой затее, конечно, все, но предпочитали прикидываться пока спящими — за ломку нар в бараке придется здорово отвечать. Но когда, отчаявшись справиться с горбылем в одиночку, Ленька завел тонким плачущим голосом: «Да помогите ж вы, падлы, асмодеи!» — помощники у него нашлись. Усилиями нескольких человек доска была, наконец, оторвана. Выломать второй горбыль при помощи первого было уже легче, и уж совсем спорным делом оказалось расщепление досок ударами о край железной бочки, служившей здесь печкой. Из многочисленных трещин старого дерева сыпались желтые, похожие на сухую шелуху, клопы, и медленно ползли по грязному полу.

— Тоже доходные, гады, — заметил кто-то, — сейчас они на нас отохрут...

Однако «отожраться», по крайней мере сегодня, клопам на нас не удалось, хотя Ленька уже через минуту вернулся с горячей головней, и в нашей печке споро и весело загудел огонь. Быстро раскалившуюся бочку тут же тесно обступили. Жались теперь к ней и те, кто в ломке нар не принимал никакого участия, хотя такие, большей частью, держались позади. Впереди же были лихие заготовители топлива для печки, которые вскоре притиснулись к ней так плотно, что на некоторых начала уже дымиться их грязная рвань. К запаху паленой пыли и паутины в бараке прибавился еще и запах жженой тряпки. Никто, однако, не протестовал. «Лучше сгореть, чем замерзнуть» — гласила одна из самых ходовых поговорок колымских блатных. Ее нетрудно понять, когда кажется, что холод, засевший в твоих костях, может прогнать только огонь, а скажем, парной бани или африканской жары для этого недостаточно. Среди пиршеств плоти как-то не принято числить также и наслаждение теплом. А оно, между тем, для промерзшего человека может быть даже более сильным, чем наслаждение едой для изголодавшегося. Впрочем, для обоих случаев надо сделать поправку. Понятие «наслаждение» вряд ли применимо при удовлетворении физиологических потребностей, достигших крайних степеней. Голодный почти не замечает вкуса пищи, а иззябший до той степени, в которой пребывали обступившие печку люди, не чувствует даже той степени жара, при которой возможны настоящие ожоги, проявляющиеся потом.

И уж подавно никто из нас не заметил, как открылась дверь и в барак вошли надзиратель и староста.

— Кто разрешил в активированном бараке печь растапливать? — грозно рявкнул дежурный.

Те, кто жался к печке сзади, с неожиданной для доходяг скоростью метнулись к своим нарам. Передние сделать этого не могли, и большинство из них остались стоять на месте, нагнувшись над печкой и шевеля над ней пальцами. Староста посмотрел на кору от горбыля вокруг печки, на еще ползавших по полу клопов, снял с гвоздя висевший рядом с печью фонарь и прошел с ним в глубь барака. Обнаружить разломанный лежак было, конечно, проще простого.

— Нары они ломают, — доложил дежурному староста. — Фитили, фитили, а шкодить с ходу начинают.

— Кто нары ломал? — спросил надзиратель.

Все, конечно, продолжали молчать.

— Известно, шакалы, — ввернул староста, — разве они признаются...

— А не скажут, кто ломал, все в карцер пойдут!

— Я ломал! — неожиданно заявил Карзубый. Ему было уже лет семнадцать. Но от вечного недоедания он так и не дотянулся до нормального для своего возраста роста, а от страшной худобы казался еще меньше. Впечатление детскости усиливала в нем и шепелявость. У Карзубого спереди, действительно, не хватало двух зубов.

— Ты, говоришь, ломал? — Надзиратель окинул подростка презрительно недоверчивым взглядом. — Да ты ж доски поднять с пола не сможешь, не то что от нар ее оторвать.

— А я доски вагой отдираю, — сказал мальчишка.

— Какой такой вагой? Где она?

— Спалил. Говорю, я нары ломал! Вот и веди в кондей.

— И сведу, раз тебе за других так сидеть хочется! — Дежурный начинал сердиться по-настоящему. Он отлично понимал, что ломка нар — групповой проступок, строго говоря, даже общий. И что, принимая на себя всю ответственность за него, парнишка пытается отвести наказание от других. Необычное препирательство еще продолжалось, когда мы услышали глуховатый, какой-то тусклый голос, почти лишенный интонаций:

— Всех в карцер! — Начальник лагеря вошел в барак неслышно, как кот, и, наверно, уже довольно давно стоял в стороне, слушая спор Карзубого с надзирателем.

В моей голове снова заработал, вернее, пытался заработать механизм памяти — голос угрюмого начлага тоже показался мне очень знакомым. Но пружине этого механизма не хватало завода, и он тут же остановился.

— Я один ломал нары! — уже выкрикнул Карзубый по-мальчишески звонко и почти без обычной шепелявости. Идея героического самопожертвования овладела им настолько, что помогла преодолеть не только голодную вялость, но даже этот

недостаток. А оно, это самопожертвование, было очень нешуточным. Здешний карцер, конечно, не отапливается. Значит, наказанный в течение нескольких суток будет изнывать в нем практически без сна после целодневного торчания с киркой и ломом на трассе. Ничего, конечно, не изменится, если это наказание будет общим, но обычно общность страданий всё же несколько помогает их переносить. Тут, однако, был случай противоположного свойства. Добровольно принятая на себя роль мученика за всех поднимала мальчишку в собственных глазах, и ради нее он мог бы совершить и не такой еще подвиг. Определение «за всех» является тут не вполне точным. Карзубый принимал вину на одного себя не из-за каких-то там рогатиков-фраеров, а из-за нескольких высоко чтимых им представителей воровского племени, которые были среди нас. И прежде всего, конечно, из-за друга и покровителя Одессы. Ввиду его малолетства, хилости, а главное, незначительности совершенных им преступлений — что-то вроде таскания мокрого белья с веревки — Карзубого не принимали всерьез и в лагерной хевре. Он никак не мог подняться в ней выше положения захудалого сивки. Стать же полноправным «законником» было его лютой мечтой, как и всех почти малолетних преступников в лагере. Подросток был готов на многое, если не на все, чтобы заслужить признание старших уголовников. Одним из путей к этому было принятие на себя чужой вины — хевра это ценила.

Но подвиг самопожертвования Карзубого сейчас явно срывался. Начальник тяжелым, размеренным шагом направлялся к выходу. Мальчишка побежал за ним:

— Гражданин начальник!

— Повесь на х... чайник! — как эхо отозвался тот своим глухим голосом, берясь уже за дверную скобу. И так же глухо пролаял, повернувшись вполоборота, как будто обращаясь к дверному косяку: — Всем трое суток с выводом! И всех с утра на перевал! — И начлаг захлопнул дверь перед самым носом оторопевшего Карзубого.

Но он был не единственным оторопевшим от диковинной реплики странного начальника. Сама по себе она, конечно, никого не могла удивить, так как была одной из самых популярных среди подобных ей по своей идиотичности лагер-

ных присказок. Однако чтобы такую присказку употреблял сам начальник, который в лагерях подобных этому является, строго говоря, даже не начальником, а властителем над сотнями своих подданных, все новоприбывшие заключенные встречали впервые.

Но только не я. И если я и удивился теперь, то не поведению начлага, а степени утраты своей памяти. Это ж надо, «дойти» до того, чтобы забыть самого «Повесь-чайника», под началом которого я был около года в сельхозлаге Галаганнах, расположенном на самом берегу Охотского моря. Меня из этого лагеря вместе с почти всеми другими «контриками» вывезли в самом начале войны. За прошедшие с тех пор два года я умудрился забыть даже этого самодура и деспота и вспомнил его, только когда тот как бы представился всем нам своим полным именем. Иначе как «Повесь-чайником» его не называют нигде, как вероятно, и в этом лагере. Теперь я понимал и странные жесты здешнего работяги перед воротами и многое другое, что весь день никак не могло всплыть на поверхность моей обесиленной памяти.

Все ошеломленно молчали. Поведением своего начальника был смущен, по-видимому, даже дежурный надзиратель, с явным избытком пристальности изучавший сейчас поломанные нары. Только староста довольно ухмылялся, наслаждаясь эффектом, который произвел на новичков идиотический выпад их нового начальника. Он, видимо, очень любил всё огорашивающее и ошеломляющее.

К печке опять жались все. Терять было нечего, а в перспективе у нас было семьдесят два часа непрерывного страдания от холода. Особенно мучительным он покажется сейчас, когда нас отгонят от печки. Это произойдет, как только дежурный до конца исследует сломанные нары, по которым он постукивал сапогом, рассматривая их с фонарем в руке, хотя было очевидно, что ему совершенно безразлично, какая часть старого барака, предназначенного на слом, спалена в печке.

— Ну, пошли! — Комендант досадливо махнул рукой по направлению к двери.

Отбыть свой срок в лагере сельскохозяйственного производства было мечтой едва ли не всех заключенных на Колыме.

Но осуществиться эта мечта могла лишь у немногих сотен человек из многих сотен тысяч. Да и то такими счастливыми были почти одни только женщины, старики и инвалиды. Мужчины же среднего возраста, если и направлялись иногда в сельхозлагерь из лагерей основного производства, то только после того, как они изнурились на добыче первого, второго или еще какого-нибудь из занумерованных колымских металлов до полной потери работоспособности. Да и то временно, в расчете на то, что, поправившись на «легкой» работе и достаточно сытной кормежке, эти люди через год-два снова смогут быть возвращены тому же основному производству. Лагерь с полевыми работами от зари до зари в чуть не постоянное здесь охотскоморское ненастье, повалом и сплавом леса, промыслом рыбы и морского зверя в штормовую погоду считался в Дальстрое своего рода санаторием для заключенных. Всё в мире относительно, даже банальность этой набившей оскомину истины.

Галаганский совхоз обслуживал своей продукцией главным образом магаданское начальство. По морю, другого пути отсюда не было, в короткую прибрежную навигацию в дальстроевскую столицу отправляли отсюда картошку и капусту, молочные и мясные продукты, соленую и копченую рыбу — сельское хозяйство здесь объединялось с рыболовецким. Вряд ли, однако, можно сказать, что снабжение высокопоставленных дальстроевских чиновников овощами из Галаганнаха было очень уж устойчивым. Посевы часто губил мороз, а еще чаще уже готовую продукцию топило море. В иные годы оно разбивало в осенние штормы чуть не все наличные буксирные баржи, которые изготовлялись из дерева на местных верфях. Куда более надежным было здесь снабжение сельскохозяйственными продуктами местного лагеря. Заключенных сельхозлага от пуза кормили отходами, которые всё равно больше некуда было девать. Несортовыми овощами, побочными продуктами колбасной фабрички и бойни, непромысловой рыбой, которая к немалой досаде рыбаков постоянно лезла в сети вместе с лососем, корюшкой и сельдью. На протяжении многих лет всё это шло в лагерный котел. Такие порядки давно стали здесь привычными и казались естественными даже высшему лагер-



ному начальству. В конце концов, тут был даже не просто лагерь, а как бы лагерный курорт.

Про житез эзков в Галаганнахе по Колыме ходили легенды. Рассказывали, например, что заключенные в этом лагере просто так, из форсу, время от времени вымащивают плац для разводов своими хлебными пайками. Что они устраивают забастовки, если борщ за обедом покажется им недостаточно наваристым или компот сварен не из тех фруктов, которые им нравятся. Что здешние блатнячки — как и все сельскохозяйственные лагеря, Галаганнах был «смешанным» — выговорили себе у начальства незыблемую, хотя и неофициальную привилегию — они выходят на работу только до тех пор, пока им позволяют беспрепятственно встречаться с мужчинами.

Нечего и говорить, конечно, что всё это было фантастическим преувеличением куда более скромной действительности, созданным завистливым воображением голодных и обездоленных людей. А основанием для подобных рассказов явилось необычное для Колымы здешнее благополучие заключенных, их сытость, их почти постоянное общение с женщинами.

Они жили в отдельной зоне общего лагеря, отгороженной от мужской половины высоким забором с воротами. Запирались эти ворота только на ночь, хотя вход мужчинам в женскую зону не разрешался ни в какое время суток. Зато женщины до сигнала отбоя могли появляться в мужской части лагеря почти свободно. Поводов для этого, как действительных, так и выдуманных, могло быть сколько угодно. Здесь находились общие для всех заключенных лагерные службы и учреждения, столовая, кухня, каптерка, учетно-распределительная часть и известная даже за пределами Галаганнаха местная КВЧ — культурно-воспитательная часть. Формально всякий лагерь для заключенных имеет такую «часть», так как ее существование вытекает не только из принципа советских мест заключения — не только карать, но и воспитывать преступников, — но и из их штатных расписаний. В этих расписаниях обязательно предусматривается и должность вольнонаемного начальника КВЧ, и «рабочая единица» ее дневального из заключенных. Другое дело, чем занят этот персонал. На приис-

ке вроде Порфирино или на том же Двести Тринадцатом начальник культурно-воспитательной части — обычно откровенный и совершеннейший бездельник, сонная фигура которого даже редко появляется в лагере. А дневальный барака КВЧ — всего лишь ее сторож. На голодный желудок никто ни петь, ни играть не будет, это весьма древняя истина. Но если даже допустить, что заключенные чисто мужских лагерей были так же сыты, как и на Галаганнахе, вряд ли бы они проявили сколько-нибудь значительную склонность к художественной самодеятельности. И дальше чьего-нибудь тоскливого брэнчання на балалайке в помещении КВЧ или партии в «козла» дело всё равно не пошло бы. Нигде правоту фрейдистской ереси о взаимном стимулировании деятельности полов нельзя проследить с такой наглядностью, как на примере кружковой работы в лагере. Общение заключенных оживляется здесь с такой же степенью очевидности, как половой гормон в высшем организме способствует его жизнедеятельности. Благоприятное влияние такого общения нередко преодолеvalo даже самые неблагоприятные внешние факторы. А их было предостаточно и на Галаганнахе, басни о райской жизни на котором оставались баснями. Рабочий день по продолжительности, а на многих работах и по напряженности, был здесь вполне каторжным. Летом на полевых работах в страдную пору он доходил до шестнадцати и даже восемнадцати часов в сутки без единого за весь сезон выходного дня. Зимой, правда, снижался до двенадцати часов, и выходные иногда случались. Именно в этот период короткого рабочего дня галаганская КВЧ и развивала свою деятельность.

Был здесь и неременный для всякого лагеря карцер и штрафные бригады. Любовь между заключенными мужчинами и заключенными женщинами, конечно же, категорически запрещалась, и притом не только формально. За связь между ними полагались и нередко назначались всяческие административные кары, начиная от трех суток кондея с выводом, перевода на более тяжелую работу, отсылки на дальнюю «командировку» и кончая угоном в горные лагеря. Последняя мера касалась, правда, одних только относительно здоровых мужчин, но она была поистине грозной.

Однако до появления здесь нового начальника, кроме одного-двух особо ретивых надзирателей, никто на Галаганнахе не проявлял чрезмерного усердия в выискивании нарушений лагерного режима и лишних поводов для репрессий. К ним прибегали, только когда такие нарушения становились очень уж очевидными, например, когда блатные слишком демонстративно «крутили» запретную здесь любовь.

Лагерная самодеятельность при прежнем начальнике всячески поощрялась. Особенно умелых кружковцев переводили на более легкие работы, перед спектаклями их даже отпускали иногда на час-два раньше времени с работы. Даже у молодых мужчин – участников самодеятельности несколько уменьшались их шансы загреметь в горный лагерь. Такое отношение к ней со стороны здешнего начальства диктовалось, правда, не столько соображениями культурно-воспитательной работы среди заключенных, сколько интересами его самого и вольного населения поселка. Тут не было даже кино, и три четверти года посёлок был почти отрезан от всего мира. Поэтому лагерная КВЧ давала концерты и спектакли не только для заключенных в их столовой, но и в поселковом клубе. И хоровой, и музыкальный, и драматический кружки были здесь очень сильными. Среди здешних заключенных, особенно женщин, было много профессиональных музыкантов и артистов. Тогда только еще закончился знаменитый «ежовский набор» 1937 года. Самодеятельностью здесь увлекались всерьез, и ее участники находили в себе силы ежедневно оставаться в лагерном клубе до отбоя, а то и позже, после своего полусуточного рабочего дня. Но дело заключалось не в одном только увлечении музыкой или самодеятельными спектаклями. КВЧ была также наиболее удобным местом для встреч и бесед мужчин и женщин, влюбленных, флиртующих или просто дружески относящихся друг к другу. Может показаться парадоксальным, но проявление такой дружбы в лагере связано с большими затруднениями, чем самая интимная, но кратковременная близость. За лишние четверть часа сидения рядом в лагерной столовой или стояния во дворе зоны бывшего доцента и бывшей журналистки может последовать грубый окрик дежурного надзирателя, в то время как минутное свидание в кустах

летом или где-нибудь на чердаке барака блатного и блатнячки останется незамеченным. Да и репрессии за «интеллектуальную» любовь всегда в лагере были гораздо строже, чем за любовь «собачью». На этот счет существовали, вероятно, соответствующие, хотя и неписанные, инструкции. Однако даже к многочасовым беседам заключенных интеллигентов — участников самодеятельности, если эти беседы велись в клубе, придаться было трудно. Тут было место творческой деятельности высокого класса, часто требующей долгого обсуждения.

Так было при прежних галаганских начальниках, в том числе и непосредственном предшественнике Повесь-чайника. Это был пожилой суховатый и подтянутый человек, отнюдь не склонный к попустительству, но и не делавший ничего, что могло бы отягчить жизнь заключенных сверх той меры, на которую обрекал ее казенный устав лагеря и реальная жизненная обстановка. Как уже говорилось, с каторжанской точки зрения, эта обстановка в Галаганнахе считалась весьма благоприятной. Однако всякое начальство, особенно когда оно правит долго, неизбежно надоедает. Поэтому, когда стало известно, что Мордвин — так за его происхождение называли прежнего начальника — заканчивает срок своего договора с Дальстроем и уезжает на Материк — до войны это разрешалось, — многие даже обрадовались. Не потому, что при новом начальнике что-то непременно изменится к лучшему, а потому, что в какой-то степени все-таки станет иным. На фоне вечного однообразия — а жизнь для подавляющего большинства заключенных была здесь хотя и сносной, но весьма однообразной, — всякое возможное изменение ожидается как благо. «Хоть гирише, абы инше», — говорят в таких случаях украинцы. Частенько, однако, это «инше» никак не окупает его издержек. Так, во всяком случае, получилось у нас на Галаганнахе с нашим новым начальником. Это стало ясно на первом же утреннем разводе в его присутствии.

Чуть в стороне от входа на лагерную вахту стоял человек с угрюмым и как будто сонным выражением на одутловатом лице. С безразличным видом новый начлаг смотрел куда-то в сторону, а если и переводил иногда взгляд на людей, то смотрел, казалось, не на них, а куда-то дальше, в какую-нибудь сте-

ну или забор. Поначалу это могло быть объяснено тем любопытством, с которым на своего нового начальника пялили глаза несколько сотен мужчин и женщин. Подобное любопытство может смутить иного человека даже тогда, когда оно исходит от подчиненных, почти подданных ему людей. Я работал тогда в бригаде лесоповальщиков, заготавливавших для поселка дрова и строительный материал в недалеком лесу. Бригадиром у нас был молодой, но очень толковый поволжский немец Отто Пик. Со знаменитым в те годы ученым-полярником у Пика совпадало не только имя, но и отчество. Поэтому в лагере его в шутку часто величали Отто Юльевичем Не-Шмидтом. Не-Шмидт был настоящим специалистом по лесоразработкам, работавшим до ареста в мордовских лесах, а главное, очень заботливым бригадиром, всегда готовым отстаивать интересы своих работяг. Те отвечали на это старанием и дисциплинированностью. Вот и сейчас у нашего бригадира возникло очередное препирательство с лагерным каптером, вынесшим к разводу для раздачи лесорубам меньше рукавиц, чем их было ему сдано накануне как уже утильные. За решением возникшего спора Пик направился к новому начальнику. Вытянувшись перед ним почти по-военному, как того всегда требовал Мордвин, Не-Шмидт громко и отчетливо произнес:

— Разрешите обратиться, гражданин начальник!

Вот тут-то все мы и услышали поразившее нас тогда, но вскоре ставшее привычным глухое и тусклое: «Повесь на х... чайник!» Сохраняя на своей угрюмой физиономии прежний как бы невидящий взгляд, начальник размеренным шагом направился куда-то даже не спросив обратившегося к нему заключенного, что тому нужно. Пик от неожиданности и изумления открыл рот и растерянно посмотрел вслед уходящему. В женской штрафной бригаде восторженно взвизгнули блатнячки, по глупости они вообразили, что новый начлаг свой в доску. Дежурный комендант и лагерный староста озадаченно переглянулись. Поведение начальника, да еще с первого же дня своей службы на новом месте, было более чем странным. Но худшее заключалось, конечно, вовсе не в его поведении. Скоро в нашем Галаганнахе начались новые порядки. Резко ухудшилось питание заключенных. Чисто искусственно наш

рацион подтягивался к тому, который предусматривали скудные гулаговские раскладки. От сверхнормативных продуктов, которые-то главным образом и создавали в сельхозлаге его благополучный климат, новый начальник отказался как от неположенных. Так, например, лагерный суп часто готовили на отваре из костей, поступавших с сельхозовской бойни. Теперь же нам варили стандартную лагерную баланду, а кости выбрасывали. Если бросовую рыбу из сетей не могли съесть ездовые собаки, то ее тоже выбрасывали. Даже мелкую картошку во время уборки и капустный лист Повесь-чайник не разрешал закладывать в котлы, если их количество превышало положенное. За варку картошки на поле или рыбы на разделочных плотах он сажал в кондей.

Поначалу к режимщику-буквоеду отправлялись ходоки от бригад с просьбой хотя бы частично восстановить прежний рацион, всё равно ведь добро пропадает! Но начальник таких ходоков почти не слушал и только бросал через плечо: «Не положено!» Если же его продолжали упрашивать: «Гражданин начальник!» — то следовало неизменное: «Повесь на х... чайник!» — и проситель умолкал, как выключенный репродуктор. В дурацком на первый взгляд отклике был резон. Конечно же, нового начальника за глаза уже называли не иначе как «Повесь-чайник».

Повесь-чайник прижал заключенных в Галаганнахе не только по части питания, постепенно он отменил и все другие виды здешней «лафы». Например, уход с открытых работ в лагерь до истечения положенного по уставу рабочего дня, даже если дневная норма была выполнена, а продолжать работу было уже нельзя из-за наступившей темноты. Особенно явно сказывались нелепости и прямой вред новых порядков на работе в лесу в зимнее время. Норму по повалу леса, рассчитанную умниками из ГУЛАГа на двенадцатичасовой день, за каких-нибудь четыре-пять часов тусклого полярного дня можно было выполнить только при крайнем напряжении всех физических сил. Лесорубы в бригаде Пика начинали работать, как только в сумерках рассвета можно было кое-как увидеть, куда подает спиленная лесина. И в одних только телогрейках в самый жестокий мороз, почти без единого пе-

рекура, работали так до поры, когда уже в сумерках вечера дневная норма была схвачена. Платой за это напряжение было право отправляться по своим баракам. Но запас мускульной энергии у рабочих был к этому времени исчерпан уже настолько, что прежде чем идти в лагерь, лесорубы, чтобы немного отдышаться, должны были с полчаса посидеть у костра.

Новый начал усмотрел в этом непорядок. Заключение обязан работать не менее двенадцати часов в сутки. А если по каким-либо обстоятельствам работы производить нельзя, то он всё равно должен оставаться на своем рабочем месте. Так гласит гулаговский талмуд! Заключение эту тенденцию ежовско-бериевского талмуда и таких начальников, как наш Повесь-чайник, переводили фразой: «Мне не работа твоя нужна, а нужно чтобы ты мучился». Но это было верно лишь отчасти. Людоедская и меркантилистская тенденции в лагерях принудительного труда тех времен сочетались самым прихотливым образом, а иногда и вступали в противоречие друг с другом. Мучения заключенных рабов неизбежно оборачивались снижением отдачи их труда. Так получилось и в лесорубной прежде гремевшей бригаде Пика, и почти во всех рабочих бригадах на нашем Галаганнахе. На работу в лес мы ходили теперь под конвоем — иначе как удержать там людей, когда они выполнили дневное задание? Заключение и их конвоиры долго сидели у костра, ожидая полного рассвета, — не валить же впотьмах лесину соседу на голову! Затем начиналась вялая работа, и когда снова темнело и продолжать повал было уже нельзя, дневная норма бывала выполнена меньше чем наполовину. Угрюмо сидя у костров, лесорубы ждали теперь команды «стройся» для следования в лагерь. Затем добрый час шли до лагеря — засчитывать время на ходьбу до места работы и обратно в рабочее время начальник запретил. С производственной точки зрения всё это были весьма зловредные мероприятия, но букве и духу талмуда они соответствовали вполне. Поэтому, хотя совхозовское начальство тоже сразу же не полюбило Повесь-чайника, сделать с ним оно пока ничего не могло. На занятиях кружков самодеятельности новый начальник обязал присутствовать дежурных надзирателей. На эти занятия разрешалось являться только тем их участникам, кто был непосредственно занят

на предстоящей репетиции. Остальные пускай сидят по своим баракам.

— Нечего тут любовь крутить! — заявил начлаг.

В бараке КВЧ поселился унылый дух унтера Пришибеева, и активность галаганских кружковцев начала заметно снижаться.

С лагерной любовью Повесь-чайник повел активную и планомерную борьбу. Он не только обязал надзирателей замечать и «брать на карандаш» пары, проявляющие склонность к подозрительно долгим разговорам, но и организовал слежку за ними при помощи специальных стукачей. Замеченных в грехе любви начальник вносил в особый кондуит, который держал у себя на столе. Для попавших в этот кондуит мужчин резко увеличивалась вероятность уйти в горные лагеря с первым же этапом. От этого не спасало даже отличное умение играть на баяне или петь под гитару цыганские романсы. Даже самых лучших доярок и телятниц начальник переводил с работы на фермах в штрафную бригаду, если те крутили любовь. Всем заключенным было запрещено иметь хотя бы одну носильную вещь сверх положенного комплекта. Это тоже было придумано не самим нашим начальником, а куда более высокими по рангу составителями правил жизни в местах заключения. Однако Мордвин, которого все теперь вспоминали со вздохом, разрешал тем, кто работал на особо грязных работах, например, рыбникам или уборщикам навоза, держать в бараке смену для своей невообразимо уж грязной робы. Теперь же даже разделщики рыбы сидели вечером на своих койках в набитом людьми помещении в той же пропитанной рыбьей кровью и насквозь провонявшей одежде, в которой они целый день работали на рыбном промысле.

При прежних начальниках в нашем лагере практиковалось премирование отдельных заключенных за особо хорошую работу. По этому поводу по лагерю издавался особый приказ, и награды вручались на общем собрании заключенных. Самой крупной из вещевых премий был костюм — штаны и рубаха из хлопчатобумажной ткани. За отличную работу на косовице в сенозаготовительном сезоне я тоже получил такой костюм и бережно его хранил, надевая только в редчайшие здесь выход-



ные дни. Поэтому мой выходной костюм остался еще почти новым, когда в нашем бараке был устроен неожиданный ночной «шмон» на предмет изъятия излишних вещей. При этом неуклонно соблюдался принцип: если у лагерника находили два предмета одинакового назначения, то отбирался тот, который был лучше, новее или чище. Даже хорошо уже зная повадки Повесь-чайника, я тогда всё же не думал, что засунутая в огромный мешок для отбираемых вещей моя драгоценная «пара» не будет возвращена после объяснения начальнику, что это премия, выданная мне его предшественником при торжественных обстоятельствах. Поэтому я обратился к присутствующему здесь же начлагу:

— Гражданин начальник! — и, услышав почти автоматическое «Повесь на х... чайник!», сразу же осекся, хотя чувство обиды и сожаления по чистым штанам и рубашке были во мне чрезвычайно сильны.

Галаганский лагерный «рай» при новом начальнике быстро потускнел и захирел. Производительность труда заключенных заметно снизилась, и было известно, что это привело к глухому, но всё время усиливавшемуся конфликту между Повесь-чайником и директором совхоза. Чем этот конфликт закончился, я мог теперь только предполагать, увидев бывшего начальника лагеря, расположенного в «Колымском Крыму», как назывался на Колыме район Галаганнаха, в этой дыре среди угрюмых гор Тас-Кыстабыта. Тогда вскоре началась война, и в целях безопасности на случай столкновения с Японией всех заключенных врагов народа вывезли в глубинные районы Колымо-Индигирского района. Я с ходу попал на Порфирный и оказался настолько крепким, что понадобилось целых два года, чтобы быть списанным в слабосиловку и снова попасть под начало к Повесь-чайнику.

Здесь, как я узнал вскоре, он начальствовал уже около года. Свою маниакальную приверженность к соблюдению всяких ограничивающих, угнетающих и запрещающих правил Повесь-чайник проявил, конечно, и тут, благо ГУЛАГ издавал их в изобилии. И если заключенные на местах не вымирали все поголовно, то только потому, что лагерное начальство, большое и малое, зачастую делало вид, что не замечает посто-

янных нарушений этих правил. Там же на Колыме, где гулаговские инструкции по части рабочих норм, питания, режима и прочего соблюдались неукоснительно, лагеря быстро превращались в «холодные освенцимы», как их прозвали позднее. Старался по возможности обойти инструкции московских генералов от лагерных и тюремных дел и предыдущий начальник Двести Тринадцатого. Точнее, он просто не мешал делать этого дорожным десятникам, бригадирам и даже конвойным солдатам. Лагерные приписки, «туфта», были здесь ложью во спасение, благодаря которым несколько продлевалась жизнь заключенных. Лагерные нормы по раскайловке и вывозке камня вручную, очистке трассы от снега и т. п. были здесь такими, что выполнить эти нормы могли иногда разве только два или три сытых и здоровых человека. Разницу между ними и тем, что мог сделать истощенный человек, возмещала фантазия десятника и его «карандаш».

Верный себе Повесь-чайник всякие приписки сразу же запретил, ведь это обман государства! Наведение в здешнем лагере должного порядка было делом куда более простым, чем в сельхозлаге, люди работали здесь только под конвоем и не более чем в двух-трех местах сразу. Заставить их находиться на этих местах все положенные двенадцать, а то и четырнадцать часов ежедневно было очень нетрудно. Правда, заведовал дорожными работами не лагерный начальник, а начальник участка и его десятники. Но закон-то был не на их стороне, когда они «заряжали туфту» или неделями не предпринимали ничего, чтобы бороться с заносами на сопке, так как это было бесполезно.

Посаженные на почти постоянный теперь штрафной паек, дорожники Двести Тринадцатого начали погибать едва ли не быстрее, чем на прииске. И происходило это даже не из-за готовности здешнего начальника отдать людскую жизнь за лишний грамм металла, а только из-за его бездушия бурбона и прохиндея. Две трети «фитилей», прибывших с нами осенним этапом из Порфирино, догорели еще до наступления нового года. Первым из этого этапа под сопку отправился Карзубый, так и не доживший до осуществления своей убогой мечты стать полноправным членом хевры. Впрочем, на Двес-

ти Тринадцатом, как и в других подобных лагерях, хевры практически теперь и не было. Всякая организация, чтобы существовать, должна хоть чем-нибудь заниматься. А чем было заниматься ворами в здешней доходилровке? Делить награбленное? Так грабить здесь было не у кого и нечего. Судить воровским судом нарушителя блатной этики? В силу тех же причин таких нарушителей тоже не было. Играть где-нибудь под нарами в самодельные карты, «чесать бороду королю», как говорят блатные, было не на что. Да на голодное брюхо шибко-то и не поиграешь. Из серой массы фраеров и штымпов «законники» не могли тут выделиться даже отказчеством. Оно здесь имело бы полнейший смысл, так как больше полкило хлеба в день нельзя было получить даже вкалывая наравне с рогатиками. Но карцер у Повесь-чайника не отапливался и в лютый мороз. Поэтому соблюдение принципа «Кашки не доложь, да на работу не тревожь» зимой было почти равносильно самоубийству.

Случалось, что из-за заноса или обвала, над удалением которого работали дорожники, останавливалась проезжая этапная машина. Стоило этапному конвою на минуту зазеваться, как с этой машины неизменно спрашивали: «Ну, как тут у вас?» Такие встречи были одним из средств межлагерной информации. По отношению к дорожникам Двести Тринадцатого такой вопрос был, в сущности, излишним. Наш вид совершеннейших доходяг отвечал на него достаточно красноречиво. Однако это был почти уже ритуал, соблюдаемый неукоснительно, как вопрос гостя-китайца своему хозяину, больному раком желудка, об его пищеварении. Ответ не требовал, впрочем, затраты особых усилий. Спрошенный молчал, обращал к земле большой палец, как это делали зрители в древнеримском цирке, требуя добить поверженного гладиатора, или складывал крестом два указательных пальца. На немом языке, широко применявшемся в лагере, это означало: «Плывем и берегов не видим». Комментариев к нему никогда не спрашивали.

И всё же к весне надежда на облегчение существования у нас появилась. Дело в том, что Повесь-чайник неожиданно исчез с Двести Тринадцатого километра. И не как-нибудь, а

был арестован и увезен под конвоем в Усть-Тембинск, центр нашего горнорудного управления. Арест начальника явился в лагере настолько знаменательным событием, что интерес к нему проявили даже дистрофики 3-й степени, вставшие, казалось, в полнейшее безразличие ко всему на свете.

Повесь-чайник пил. Я знал об этом еще с Галаганнаха. Но пьянствовал он исключительно дома, разделяя выпивку разве только с собственной женой. От него часто несло винным перегаром, однако понять, когда начальник пьян, когда он с похмелья, а когда совсем трезв, было непросто. Выражение обрюзгшего лица у него постоянно было почти таким, как у других после хронической пьянки, а речь всегда отрывистой и маловразумительной. Да в иные дни Повесь-чайник ни разу ни к кому не подходил и ни с кем не заговаривал, а как бирюк бродил где-то в стороне. Здесь, впрочем, он пил сильнее, чем на Галаганнахе. В те дни, когда в поселке давали спирт, из домика начальника почти всегда слышались приглушенные вопли его жены, которую, напившись, он истязал. Это было несчастное, видимо, до крайности запуганное и забитое существо. На улице жена начлага появлялась редко и ни с кем почти никогда не разговаривала. Говорили, что муж разрешает ей отлучку из дому только по неотложным хозяйственным делам, только в раннее дневное время и только на строго определенный срок. В окна начальнического домика были вделаны решетки, а на дверях домика почти всегда висел большой амбарный замок, хотя было точно известно, что начальничиха дома. Вряд ли это было просто мерой по охране супружеской верности, пусть даже понимаемой на уровне пещерного человека. Скорее тут действовал врожденный инстинкт тюремщика, усиленный найденной по призванию профессией. Если верно, что всякая эпоха получает нужных ей людей, то в эпоху Сталина-Ежова-Берии должны были непременно выкристаллизовываться и типы тюремщиков в их чистом духе. Странная чета жила замкнутой, угрюмой жизнью, ни с кем не общаясь. Так было даже в сравнительно нескучном и многолюдном Галаганнахе, тем более так было и здесь.

Слышали на поселке крики начальничихи и в ту ночь, когда в пятидесятиградусный мороз муж выбросил ее избитую

и почти раздетую из домика и запер дверь изнутри. Наутро женщину нашли на крыльце полуживую, без сознания и жестоко обмороженную. В усть-тембинской больнице ей ампутировали обе ноги и кисть одной из рук. Попытки добиться от пострадавшей, почему она так долго терпела истязания изверга-мужа и не попросила приюта у соседей даже погибая на морозе, ничего не дали. Одни говорили, что жена Повесь-чайника совершеннейшая дегенератка, другие – что она пьяница под стать мужу и была мертвецки пьяна в ту ночь, когда в одной только рубашке он вытолкнул ее на мороз.

Повесь-чайника судили. С облегчением мы узнали, что его приговорили к двум годам лагерей. Срок по понятиям того времени совершенно ничтожный, но осуждение лагерного работника означало, что его карьера тюремщика окончена. В местах заключения могут работать и злобные садисты, и формалисты-душегубы, вроде того же Повесь-чайника, но людям с отметкой о судимости здесь места нет. То ли предполагалось, что, побывав в заключении, они набираются духа солидарности с заключенными, то ли тут действовали кастовые соображения: работники всех систем НКВД суть рыцари без страха и упрека. Сам же по себе лагерный срок для бывшего лагерного прохиндея вряд ли мог явиться очень уж большим несчастьем. Те, кто порадел ему на суде, на котором было признано, что пьяная сама выскочила из дома в одной рубашке, а ее муж виновен только в том, что не принял мер по ее спасению, порадеют ему, наверно, и в заключении. Но вряд ли они сумеют спасти его от «темной». Попавшие в лагерь бывшие надзиратели, милиционеры, прокуроры, не говоря уже о лагерных начальничках типа нашего Повесь-чайника, могут считать свои дни сочтенными.

К нам приехал новый начальник. Не то чтобы очень хороший, но и не мешавший восстановлению здесь обычных порядков. Лому, кирке и тачке на трассе снова усердно помогал десятипалый карандаш. Никто особенно не приглядывался, ежедневно ли выдерживает озябший конвой заключенных положенное число часов на трассе или приводит их иногда на отдых раньше времени. И по-прежнему ли требует лекпом в санчасти, чтобы явившиеся к нему на прием обязательно предьяв-

ляли из-под мышки собственную голову. Даже развеселый здешний староста уже меньше развлекался «игрой в кегли», когда при ударе по одному человеку падает добрый десяток доходяг. Словом, всё вошло в свою обычную колею. Вскоре затихли и разговоры о бывшем начальнике, сумевшем раньше времени загнать под сопку добрую сотню заключенных. Ряды фанерок с установочными данными продолжали, конечно, удлиняться и теперь, но в темпе, который считался как бы нормальным. На вопрос приезжих зэков о нашем житье-бытье мы не показывали больше ни креста, ни обращенного к земле большого пальца, а отвечали обычным унылым: «Помереть не помрешь...» Но всё же, хотя тоже уныло и медленно, умирали. Шансы дотянуть до конца срока, особенно у тех, у кого этот срок оставался еще большим, были весьма не велики.

Всё меньше становились эти шансы и у меня. Однако пути господни действительно неисповедимы. Когда я весной предпоследнего года войны всё еще оставался в живых только благодаря удивительной жизненной цепкости своего еще молодого тогда организма, в учетно-распределительную часть Двести Тринадцатого на меня пришел спецнаряд. Лагерное управление в Усть-Тембинске приказывало заключенного имярек по профессии в прошлом инженера-электрика доставить в довольно отдаленный отсюда пункт для работы по специальности. Уже на следующий день под персональным конвоем покинул я постылый лагерь между унылыми сопками, под одной из которых кладбище зэков так и не пополнилось за мой счет.

К концу второго года войны Дальстрой начал получать из Соединенных Штатов по знаменитому «лендлизу» большое количество техники, ранее здесь почти отсутствовавшей. Техническая политика организаторов колымской каторги сводилась к откровенному акценту на примитивный ручной труд, на знаменитый лагерный «давай! давай!». Дело тут было не только в бедности технического снабжения, но и в ставке на истребление при помощи изнурительного труда жертв сталинского беззакония. Если гитлеровцы в результате удушения газом не получали от своих жертв почти ничего, кроме их тряпья, изредка золотых зубов и кучки пепла для удобрений, то

тут польза было куда большей. Она заключалась во многих кубометрах золотого песка, километрах горных дорог, траншей и штолен оловянных и иных рудников. Как уже говорилось, меркантилизм и палачество тут то сочетались, то сталкивались. И, пожалуй, самое крупное из этих столкновений произошло тогда, когда Дальстрою понадобились квалифицированные специалисты для обслуживания новой здесь техники. Там, где на целые десятилетия вперед предполагалось безраздельное господство тачки, кайла и лопаты, появились американские экскаваторы, впервые увиденные в СССР бульдозеры, самоходные буровые станки и множество других горных машин. Автомобильный парк Дальстроя обильно пополнился грузовыми автомобилями марки «даймонд» и «студебеккер». Даже не очень большие начальники разъезжали теперь на полувоенных «джипах» и «бьюиках». Быстро ставшее очень большим техническое хозяйство требовало управления, обслуживания и ремонта. За счет поставок по тому же лендизу было построено несколько ремонтных заводов и множество мастерских, электростанций и гаражей. А вот людей, понимающих толк в технике, богатый союзник не поставлял, и их отчаянно не хватало. Вспомнили, что на протяжении ряда лет перед войной дальстроевские пароходы привозили сюда многотысячные этапы, в составе которых находилось, несомненно, и великое множество технических специалистов всех рангов и профилей. Однако никакого учета прибывающих заключенных по их профессиональной подготовке тогда не велось. Зачем? Всё это была лишь безликая рабсила, кое-как разделенная при поверхностном медицинском осмотре на категории: «ТТ», «СТ» и «ЛТ». Кроме этих букв, означающих пригодность лагерника к тяжелому, среднему и легкому физическому труду и его установочных данных, о рабочей единице не было известно почти ничего, да ничего в ней и не интересовало. Более того, если эта «единица» являлась по своей статье «врагом народа», то всякое ее использование иначе, чем на грубой физической работе, рассматривалось чуть ли не как контрреволюционное попустительство по отношению к тем, кто поднял руку и голос против Народа, Партии и ее Вождя. В девяти из десяти случаев квалифицированный рабочий, не говоря уже об

инженерах или доцентах, «загибались на тачке» гораздо раньше, чем их товарищи по каторжному труду из числа крестьян или грузчиков. До поры до времени это вполне соответствовало расчету высшего руководства НКВД. Но вот неожиданно понадобились не их слабые плечи, а умение и знания этих людей. И тогда-то обнаружилось, что подавляюще большая их часть уже лежит под сопками. А сколько их было! — сокрушалось теперь производственное начальство. Тех, кто еще уцелел, было приказано выявлять и беречь. Учет специалистов задним числом был организован повсюду, включая и самые глухие «командировки» и «подкомандировки». Дело это было не легким, так как в лагерных делах почти не было данных об образовании и квалификации заключенных, и этим широко пользовались самозванцы. Не беда, что обман неизбежно раскроется. До того можно будет не одну неделю прокантоваться на этапах и пересылках.

Несмотря на неизбежную в таких условиях путаницу и бестолковщину, некоторое количество настоящих специалистов было выявлено и приставлено к делу по своей специальности. Правда, это понятие толковалось здесь очень широко, и соответствие полученной работы профилю и уровню квалификации заключенного было чаще всего весьма относительным. И всё же выдающиеся в прошлом инженеры, кандидаты или даже доктора технических наук считали величайшей удачей своей нынешней жизни работу в качестве технолога небольшой ремонтной мастерской или дежурного электрика локомотивной электростанции. Ведь здесь было тепло, светло, и «не кусали мухи», т. е. всё то, ценность чего человек постигает по-настоящему только испробовав прелесть кайла и тачки на приисковом полигоне в зимнюю стужу или осеннее ненастье. Впрочем, сколько-нибудь устойчивое жизненное благополучие снова быстро делает человека тем, что он есть, т. е. единственным существом на земле, которое не способно радоваться тому уровню благополучия, которое он имеет. Но мы, находившиеся на технических должностях специалисты из заключенных, тогда всему радовались. И за скудную лагерную пайку работали с усердием и увлечением, которое далеко не все и не всегда проявляли прежде. Тут, правда, была еще



одна причина. Она заключалась в том, что теперь надо было отвлекать себя от мыслей, что в правовом отношении ты как был, так и остался каторжником, что нет у тебя ни семьи, ни настоящего дома, ни будущего. И в любую минуту ты снова можешь оказаться возле той же тачки. Работа же нередко помогала почти забыть об этом, создать иллюзию полноценной жизни. Эта иллюзия усиливалась, если производственная необходимость вынуждала дальстроевское начальство предоставить заключенному специалисту право бесконвойного хождения, а иногда и проживания вне лагеря. Подчас таких посылали даже в довольно дальние командировки, разумеется, по соответствующему пропуску. Правда, такой либерализм, появившийся во второй половине войны, продолжался по ее окончании не более года и сменился резким усилением режима.

Но тогда, до начала холодной войны, он еще действовал. Я к тому времени определился на Колыме как специалист по автоматическим устройствам, которыми янки часто снабжали поставляемые ими сложные агрегаты, особенно электротехнические. И однажды в качестве наладчика и консультанта, а также чтеца и переводчика инструкций на английском языке, был отправлен на вновь открытые лесоразработки в южной части дальстроевской территории. Доморощенные электрики никак не могли тут разобраться в досадных и ненужных, по их мнению, усложнениях, которыми фирма оснастила небольшую передвижную электростанцию, блок дизеля и генератора. Покричав предварительно противным голосом своей сирены, эта электростанция могла черт-те от чего сама собой остановиться. Поди догадайся, да еще не умея читать приложенную к машине документацию, что это от того, что в резервуар залито масло не той марки, которое потребляет капризная американка.

Тут было недалеко от моря. Пейзаж с пологими сопками и климат местности во многом напоминали мне Галаганнах. Недалеко отсюда находился и Магадан. Близость к дальстроевской столице определила одну особенность новых лесоразработок — сюда было прислано довольно много вольнонаемных. Это были освободившиеся с магаданской пересылки недавние зэки. Обычно сюда направляли к самому концу срока

тех заключенных, освобождению которых на месте не радовались. Это были главным образом блатные-отказчики и не имеющие никакой рабочей квалификации доходяги, которых передавали Главному управлению лагерей Дальстроя по принципу: «Вот тебе, боже, что нам негоже». Следуя этому принципу, новоиспеченных вольняшек отфутболили сюда, поскольку их трудовая категория позволяла использование их только на лёгких работах и работах средней тяжести.

Для вольняшек за зоной лагеря лесорубов был отведен большой новый барак. Но стекла в его окнах были уже выбиты и заткнуты тряпками, внутри царили невообразимый беспорядок и грязь. Несмотря на обилие леса, тут было холодно, а люди валялись на ничем не прикрытых нарах. Для меня эта картина не требовала пояснений. Главный тон здесь задавала уголовная шпана, на свой лад понимавшая только что полученную, весьма, впрочем, куцую свободу. Для нее это была свобода день и ночь резаться в карты, пропивать свое и чужое имущество, всю ночь горланить и драться, не подметать полы и не топить печи, поскольку вопрос о том, кто будет заготавливать для нее дрова, решить было трудно. Правда, были тут и «фраера», которые пытались поначалу навести в своем бараке некоторый порядок. Но после того как блатные украли у них даже казенные одеялишки и матрацы, эти тоже предпочитали теперь лежать после работы на голых нарах, завернувшись во всё то же лагерное обмундирование десятого срока. Любопытно, что это были большей частью интеллигенты нетехнических профессий. Этим и по окончании срока в лагере приходилось браться за лопату, пилу или топор, потому что на работу по специальности их нигде не принимали. И не из-за того, что на Колыме не были нужны учителя, бухгалтеры или журналисты. Но как лишенные политического доверия, они теперь не имели права работать по специальности. Бывшие гуманитарии теперь с тоской вспоминали даже лагерь. Там хоть ночью был покой, а от произвола уголовников могли защитить надзиратели. Здесь такой защиты не было, а для местного начальства и блатные, гулявшие тут до недалекого очередного срока, и бывшие интеллигенты были только одинаково никудышными работниками, не выполнявшими производственных норм.

Однако не все вольняшки жили здесь так плохо. Кроме «Индии», барака для работяг третьего сорта, пьяниц и картежников, здесь был еще крепкий и чистый барачек для лесорубов-стахановцев и младшего лесного начальства. Вот тут-то я и встретил, конечно совершенно неожиданно для нас обоих, того самого Отто Юльевича Не-Шмидта, в бригаде которого состоял когда-то на Галаганнахе. Оказалось, что Пик недавно освобожден на том же Галаганнахе и через Магадан был направлен на эти лесоразработки десятником. Нечего и говорить, что мы оба очень обрадовались этой встрече и не один час провели в разговорах, вспоминая совместное прошлое. Правда, о судьбе большинства людей, которые меня интересовали, Пик мог сказать немного. Почти все они, как и я, были угнаны куда-то в самом начале войны. Не-Шмидта эта участь миновала только потому, что сидел он не по пятьдесят восьмой статье и не по одному из литеров, прямо включающих в себя понятие «контрреволюционный», как, например, КРД (контрреволюционная деятельность), а по не совсем определенной СОЭ (социально опасный элемент). Социальная опасность немца заключалась в его национальной принадлежности. В кастовой лагерной иерархии литерники СОЭ занимали промежуточное положение между браминами – бытовиками и париями-контриками по трижды окаянной Пятьдесят Восьмой. Мы им нередко завидовали и, как оказалось, не зря. Осужденных по СОЭ было даже разрешено оставить в пограничной, приморской зоне, несмотря на всю их опасность.

Конечно же, я спросил Пика, при каких обстоятельствах галаганские зэки избавились от Повесь-чайника. Как я и предполагал, это было результатом его избыточного прохиндейского усердия. В докладной директора совхоза магаданскому начальству, в которой тот объяснял, почему оказался невыполненным план поставки в магаданский распред сливочного масла, он, в числе прочих причин, указал и на деятельность начальника лагеря. Галаганский начлаг, в целях пресечения пресловутой связи заключенных мужчин и женщин, додумался комплектовать смены на животноводческих фермах либо из одних мужчин, либо из одних женщин. Высокое начальство получение масла к своему столу ставило, видимо, выше

принципов лагерной нравственности, и Повесь-чайника перевели куда-то, где он мог проявлять свое усердие уже без вреда для этого начальства...

— Я знаю, куда его перевели... — перебил я Пика. И рассказал ему, как удача галаганцев обернулась «архивом-три» для многих дорожников Двести Тринадцатого. В том числе наверно бы и для меня, не угоди Повесь-чайник сам в заключение. Не прояви он тогда своего нрава на собственной жене, вряд ли бы я сейчас имел честь беседовать со своим бывшим бригадиром. Но теперь Повесь-чайник сам в «архиве-три». Вскоре после его ареста прошел слух, что бывшего начлага уголовники пришили уже на магаданской пересылке.

— Тут ты ошибаешься, — усмехнулся Отто. — Повесь-чайник жив.

Я заявил, что этого не может быть. Даже какой-нибудь бригадиришка, тяжелый на руку, после того как он слетает на «общие», или мелкий лагерный стукач после своего выявления протягивают очень недолго. На производстве их поджидает сорвавшаяся под уклон груженная вагонетка, неогражденный шурф или тяжелый камень на краю глубокой траншеи. Да и в самом лагере для таких есть и дровяной колун, и петля-удавка... И добро бы Повесь-чайник донимал одних только наших почти всегда безропотных, как телята, «врагов народа». Но он столько же, если не больше, насолил и «друзьям народа» — уголовникам! И один из блатных, которого Повесь-чайник едва не заморозил в холодном карцере, давно его зарезал.

— Повесь-чайник жив! — упрямо повторил Пик. — Свой срок он уже отбыл и теперь работает на лесоповале. Здесь, на моем участке.

Трудно человеку расставаться с устоявшимися представлениями. Но я не мог не поверить и Не-Шмидту, никогда не бросавшемуся словами и не хуже меня знавшему нашего бывшего начальника. А он, довольный моей растерянностью и недоумением, рассказал мне историю Повесь-чайника после его ареста, которую, как оказалось, хорошо знал.

Ворон ворону глаз не выклюет. Как и следовало ожидать, начальство из Управления дальстроевскими лагерями подыскало для бывшего лагерного прохиндея местечко, теплее и бе-

зопаснее не придумаешь. Он был назначен нарядчиком в смешанный лагерь в самом Магадане. Большая часть заключенных в этом лагере — женщины, работающие на местной фабрике лагерного обмундирования, в городской прачечной и домработницами в домах дальстроевского начальства. Мужчины тоже есть, но это почти исключительно парикмахеры, закройщики, сапожники и часовщики, обслуживающие всё то же начальство. Почти все они — бесконвойники с легкими статьями и малыми сроками. Способных «пришить» кого-нибудь среди них и в помине нет. Повесь-чайник отлично прокантовался в этом лагере до конца своего куцега срока. Но вот тут-то и начались для него настоящие жизненные затруднения. Начальство, которое так радело об его безопасности — делалось это не столько из-за прекрасных Повесь-чайниковых глаз, сколько по соображениям профессиональной солидарности, — не несло более за жизнь бывшего начлага никакой ответственности. Более того, оставлять напоказ всему городу, где он мог бы подыскать себе работу сторожа, этого дегенерата и пьяницу было, видимо, сочтено неполитичным. Ведь только случайно он лишился фактического права бесконтрольно вершить судьбы подвластных ему людей. Повесь-чайника, как отслужившую свой срок грязную рукавицу, просто выбросили на свалку. Ни настоящей профессии, ни элементарной грамотности у него не было. Свои бесчисленные приказы на Галаганнахе о водворении в карцер провинившихся тамошних эзков он писал так: «За убийство заключённым таким-то вольнонаемной курицы...» или «За связь с женщинами трубачиста (трубача) КВЧ такого-то... водворить...» И вот теперь он оказался в одном бараке и на равных правах с теми, над кем прежде с таким бессмысленным усердием издевался. Да еще в подчинении у своего бывшего заключенного, которого первым оgoroшил на Галаганнахе своим дурацким: «Повесь...» Я живо припомнил эту сцену во всех подробностях и постарался представить себе обоих ее участников в теперешней перестановке ролей. Но это не удавалось, и я спросил у десятника, как работает его бывший начальник, как живет, а главное, почему обитатели здешней «Индии» его не трогают. Отто только махнул рукой. Разве тот, кто всю жизнь погонял и угнетал людей, ко-

гда-нибудь умеет работать сам? Норм на лесоповале бывший начлаг не выполняет и наполовину, хотя для вольняшек эти нормы в полтора раза ниже, чем у заключенных. Конечно, при помощи карандаша можно было бы и ему, как большинству других здешних горе-работяг, несколько повысить процент выполнения. Однако замерщики и бригадиры на лесосеке учитывают работу бывшего ревностного приверженца всяческих талмудов в строгом соответствии с его собственными принципами. Всякая приписка — антигосударственное и противозаконное дело! Многие на работе в лесу зависят и от полученной делянки. Они тоже попадают к бывшему прохиндею не ахти какие. Всё больше редколесье да тонкомерье. А не нравится — «можете жаловаться!» Тут не как в Магадане под крылышком у тамошнего начальства. «Закон — тайга, прокурор — медведь»... Вот и зарабатывает бывший начальник какие-то гроши, да и те, если не успеет пропить, у него отнимают блатные. Опустился он хуже последнего доходяги в лагере. Конечно же, его тут постоянно и беспощадно травят, дразнят: «Начальник, повесь на х... чайник!» Места на нарах не дают, хотя его и достаточно, живет под нарами. Он здесь даже не пария. Если уж проводить аналогию с кастовым делением, то Повесь-чайника следовало бы отнести, скорее, к «неприкасаемым». Впрочем, прикасаются к нему здесь, пожалуй, даже слишком часто — кулаком, ногой или палкой. Но вот не убивают же...

Не убивают потому, что возможность поиздеваться над бывшим лагерным начальником ценится выше его смерти. Убить его означало бы лишить население здешней «Индии» его главного развлечения. Хотя Повесь-чайник несколько портит это развлечение тем, что не только не отбивается, но почти и не огрызается. Забивается под свои нары или, если позволяет погода, уходит и бродит где-то в лесу. Почти одичал.

— Да вон он, гляди! — Пик показал рукой немного в сторону.

По направлению к лесу ковылял человек в лагерном дражном бушлате, подпоясанном веревкой. Из прорех бушлата, прожженного во многих местах, как и из ватных штанов оборванца, клочьями свисала вата. Пятка одной из стоптанных лагерных бурок — подобия чулок, пошитых из ватного утиля, —

переместилась чуть ли не на середину голенища. Ее передок, мотающийся где-то впереди ступни, явно мешал человеку ходить, но он, видимо, давно уже ничего не предпринимал, чтобы поправить свою немислимую обувь. Одно ухо тоже прожженной лагерной «шапки-ежовки» торчало вверх, другое свисало.

Догнать доходягу не стоило никакого труда, так как он едва брел. Не доходя до него шагов пять, Пик громко крикнул: «Гражданин начальник!» Тот вздрогнул и обернулся. Да, это был Повесь-чайник. Это его — одутловатое, теперь заросшее седеющей щетиной лицо и глаза, еще более угрюмые и тусклые. Но они не смотрели сквозь человека, как прежде, а растерянно бегали.

— Повесь на х... чайник! — дурацкой скороговоркой пробормотал десятник.

На мгновение глаза бывшего начальника перестали бегать, и в них появилось осмысленное выражение. Но это было выражение бессильной злобы, затравленности и животного страха. Потом оно исчезло, сменившись прежним, тупым и почти бессмысленным. Повесь-чайник как-то съежился, втянул голову в плечи и, неуклюже повернувшись, заковылял куда-то, волоча свою бурку.

## Дуэт

Пересыльная тюрьма, одна из самых старых на сибирском каторжном тракте, верой и правдой служила Российскому отечеству вот уже около двух веков. Но теперь этот старинный, выбеленный известкой «замок», с его круглыми, угловатыми башенками и прочими романтическими излишествами и отдаленно не соответствовал возросшим потребностям новой эпохи. Сохраняя прежние масштабы, он не мог бы вместить и десятой части многотысячных этапов, непрерывно следовавших дальше на восток. И это при самом прогрессивном взгляде тюремного начальства на допустимую плотность населения пересылки и условия содержания в ней этапников.

Поэтому она срочно расширялась за счет строительства новых корпусов. В их архитектуре ветхозаветной тюремной романтики не было и в помине. Образуя целые улицы, четырехэтажные кирпичные коробки стояли в ряд среди грязи и неубранного строительного мусора. Навешенные на все их окна железные «ежовские намордники» делали и без того унылые фасады тюремных зданий похожими на лица слепцов в темных квадратных очках.

В большой камере третьего этажа одного из таких корпусов было тесно и шумно. В нее, как и во все другие камеры этого корпуса, заталкивали новых «постояльцев». Но и для старых места на сплошных трехъярусных нарах тут давно не хватало. Люди лежали не только на полу под нарами, но и в проходе между нарами и стеной. В последние недели формирование этапов для дальнейшего следования почему-то задерживалось, хотя набитые арестантами эшелоны из центральных районов Союза прибывали сюда каждый день. Политическое руководство страны во главе с гениальным Сталиным полага-



ло, что уничтожение на корню потенциальной «пятой колонны» куда важнее для дела обороны, чем сохранение опытных кадров и укрепление границ.

Шла обычная толкотня, ссоры и даже драки из-за места. Но только на полу и двух нижних ярусах нар. На третьем ярусе, хотя здесь было еще довольно просторно, ни шума, ни свалки не было, так как никто из новоприбывших никаких претензий на эти места не предъявлял. У всех уже хватало тюремного и этапного опыта, чтобы с первого взгляда распознать, что на верхних нарах тут, как и всюду в пересыльных тюрьмах, безраздельно господствует блатная хевра. А это значило, что доступ на привилегированный «бельэтаж» всяким «штымпам» и «фраерам» закрыт, во всяком случае, без позволения хозяев яруса, получить которое удастся очень немногим и в крайне редких случаях. А так как очередное пополнение камеры состояло почти сплошь из одних фраеров-«контриков», то никто не сделал даже попытки занять место на «аристократическом этаже». Такая попытка могла бы стоить зубов, выбитых ударом каблука.

Тюремные шайки уголовников, бывшие как бы низовыми ячейками всеобщей воровской корпорации, возникали почти мгновенно, как только блатных набиралась хотя бы десятая, а то и двадцатая часть населения камеры, этапного вагона или пароходного трюма. Их сила заключалась в спайке, организованности и солидности. Полнейшая разобщенность и трусливое благоразумие фраеров, привитое добропорядочным принципом невмешательства в чужие дела, делала их совершенно безоружными перед воровскими объединениями. Поэтому, если и случалось иногда, что какой-нибудь одиночка восставал против засилья уголовников, то он обычно оставался безо всякой поддержки. Два-три бандита на глазах у полусотни отводящих глаза фраеров избивали и дочиста обирали строптивного, чтобы затем, уже без намека на сопротивление, обирать остальных. И всех их «загонять под нары» и в переносном, и в самом прямом смысле. Принцип, тысячами проверенный в масштабе целых народов и государств.

Незнакомому с нравами и обстановкой тюрьмы могло бы показаться, что население верхних нар относится с полным равнодушием как к происходящему внизу, так и к самим

новоприбывшим. Большинство блатных с безразличным видом продолжали лежать на своих местах. Несколько человек, сомкнувшись в тесный кружок в дальнем углу полатей, «чесали бороду королю», т. е. резались в самодельные карты. Однако опытный глаз сразу приметил бы двух человек, сидящих на самом краю верхних нар и цепкими, воровскими взглядами скользящих по каждому из новоприбывших. Это был дозор, выставленный камерной хеврой для определения возможностей поживы за счет новых сокамерников. Сейчас было самое удобное время заприметить у вислоухих фраеров их «заначки», у кого они есть, и содержимое их сидоров.

Впечатление у дозорных от большинства этапников складывалось пока неважное. Почти все они принадлежали к разряду «рогатиков», уже успевших побывать в лагерях и одетых в драные бушлаты и арестантские шапки-«ежовки». Лишь у немногих в руках были грязные узелки с остатками недоеденной этапной пайки. Остальные съедали хлеб, выданный на два-три дня, почти сразу. Не очень отличались от них и штымпы, едущие прямо из тюрем. Обычно они до нитки были ободраны камерными и этапными грабителями.

Исключение составлял только один заключённый, умудрившийся, по-видимому, просидеть до этапа в тюремной камере и ехать в вагоне, в котором не было организованной воровской фракции. В измятом, когда-то щегольском пальто, в фетровой шляпе с большим узлом в руке он стоял у входа в камеру, не делая попытки пройти дальше и не принимая участие в дележе мест. Новичок резко выделялся среди своих соэтапников не только одеждой, но и лицом. Несмотря на недельную щетину, бледность и нездоровую одутловатость, с которой неизбежно связано сидение в тюрьме, оно отличалось мягкой интеллигентностью, тонкостью черт и какой-то необыкновенной выразительностью. Эту выразительность придавали ему большие печальные глаза, с тоскливым испугом глядевшие на происходившую возню. Он казался совершенно растерянным и беспомощным, как интеллигентная барышня, попавшая в базарную свалку.

По блатняцкой классификации это был, несомненно, «бобер», сулящий верную и богатую поживу. Все, кто знал нравы

тюрем, не сомневались, что пальто, костюм и ботинки бобра уже поставлены «на кон» в карточной игре, которая идет сейчас в углу верхних нар. И что проигравший вот-вот свесится с этих нар и предложит вновь прибывшему сию же минуту снять вещи в обмен на какую-нибудь лагерную рвань. Если же фраер по неопытности запротестует, грабитель будет скорее удивлен, чем рассержен или возмущен: «Да ты что, падло, думаешь, что я из-за тебя под нож встану?» И никакого преувеличения или сгущения красок в этих словах не будет — хевра беспощадна к неплательщикам карточных долгов.

Однако утверждать, что ее пристальное внимание к каждому новому обитателю камеры всегда объясняется чисто грабительскими интересами, было бы не совсем верно. Случается, что главное внимание блатных сосредоточивается не на вещах иного фраера, а на его внешнем облике. И притом, на предмет предварительного определения степени его интеллигентности. Это бывает, когда общество камерных «аристократов» нуждается в рассказчике интересных историй — «тискале».

Наверное, не будет большим преувеличением утверждать, что для большинства профессиональных уголовников того времени, о котором сейчас идет речь, потребность в слушании всякого фантастического вранья была на втором месте после потребности в пище. Конечно, если исключить тягу к недоступным в тюрьме наркотикам и выпивке. Блатные могли слушать приключенческий вздор ночами напролет изо дня в день.

Выше всего другого ценились нескончаемые истории о сыщиках, уголовные романы, «Приключения Рокамболя» и тому подобная литература. После этого шли повести таких популярных авторов, как Бусенар, Майн Рид, Густав Эмар, капитан Мариэт. Жюль-Верн ценился немного ниже, а рассказы Чехова, Куприна или Мопассана были едва терпимы, не говоря уж о Толстом или Горьком. Да и то при условии, что ничего другого рассказчик припомнить уже не мог. Но это значило также, что этот рассказчик плох. Главным достоинством настоящего камерного тискалы считалась его неистощимость по части плетения невероятных приключений. Манера рассказчика, выразительность его языка, дикция и прочие достоинства речи ставились на второе место. Что же касается прав-

доподобности и элементарной логической связанности повествования, то они и вовсе не имели значения.

Лучшие тискалы находились среди самих уголовников. Среди них встречались такие, которые могли нанизывать немыслимые истории одну на другую буквально целыми неделями. Это были вдохновенные импровизаторы, барды и романтики уголовщины, обычно совсем еще молодые. Большинство таких занималось своим изустным творчеством не столько для камерной аудитории, сколько для самих себя. Спасаясь от напора неприглядной действительности, они цеплялись за иллюзорный мир благородных бандитов, гениальных воров и обольстительных марух. Когда-то прочитанная или от кого-то услышанная галиматья перерабатывалась, дополнялась и сочеталась в темных головах рассказчиков подчас самым фантастическим образом. Какая-нибудь Сонька Золотая Ручка, легендарная одесская воровка, силой их буйного воображения переносилась в брет-гартовскую Калифорнию, а Рокамболь после взрыва в Тауэре оказывался где-нибудь в Костроме и метался по всей России, спасаясь от преследования царской полиции. И вся эта чушь воспринималась невзыскательными слушателями с неизменной благодарностью и восхищением.

Но такой тип присяжного тискалы был для камерной хевры весьма редкой удачей. Как правило, она не могла выделить из своей среды не только талантливую, но и рядовую рассказчицу. Поэтому тискалы обычно вербовались среди более или менее начитанных фраеров. Среди них нередко встречались и хорошо образованные представители гуманитарных профессий: бывшие адвокаты, журналисты, режиссеры. Эти вдохновлялись отнюдь не самим творчеством тюремного повествователя, хотя некоторые «наблатыкивались» в нем почти до профессионального уровня. Их привлекали подачки хевры и связанное с ее дружбой значительное облегчение тюремной жизни. И угодливые интеллигенты мобилизовывали свою начитанность, память, профессиональные знания и другие качества для выполнения «социального заказа» нового типа. Благо многим из советских гуманитариев было к этому не привыкать. Главными достоинствами тискалы были память на прочитанную когда-то чепуху и способность к беззастенчивой

компиляции. Иначе ему грозило быстрое истощение и раздражение.

Это случалось очень часто с немолодыми уже фраерами, учившимися еще в дореволюционных гимназиях. Почти все они воздали в свое время усердную дань пятачковым изданиям в ярких обложках и со жгучим продолжением. Мамины пятаки, выданные на школьные завтраки и сэкономленные для приобретения желтых книжечек с изображением на обложках бандитов в масках, окупались теперь для некоторых весьма неожиданным образом. Даже не очень удачным тискалам хевра гарантировала неприкосновенность их имущества, предоставляла место на своем ярусе, а иногда даже их подкармливала. Чаще всего, однако, это продолжалось не долго. Рассказчик быстро выдыхался и изгонялся с аристократического бельэтажа обратно к штымпам.

Такая же судьба постигла и последнего из камерных тискал, бывшего преподавателя языка и литературы в средней школе. Этому, казалось бы, и карты в руки. Однако пожилой учитель за два вечера израсходовал всё, что мог припомнить их читанных в детстве рассказов про сыщиков и воров. На третий день он начал сбиваться на какие-то повести Белкина, а потом и на тургеневские «Записки охотника». Стало ясно, что и этот не оправдал надежд и надо подыскивать нового. Высматривать подходящего кандидата на вакантную должность, покамест, конечно, только на основе их внешних данных и поручалось дозорным, выставленным для встречи очередной партии новоприбывших. Сейчас на вахте находились два старых блатных по прозвищам «Москва» и «Покойник».

Бобер в шляпе, новых желтый «колесах» и роскошном «клифте» был ими, конечно, замечен и взят на учет и как объект возможного ограбления, и как кандидат в тискалы. Притом единственный, так как все его соэтапники были, несомненно, серыми штымпамы, безнадежными в этом смысле. Но второе исключало первое, бесполезно обращаться с просьбой об услуге, да еще требующей усердия и вдохновения, к человеку, тобой же ограбленному. Но в то время как вещи этого человека представляли несомненную ценность, его способности рассказчика оставались пока только предположительными. Тем

более что по своему возрасту фраер принадлежал к советской генерации интеллигентов. Такие относились блатными ко второму сорту тискал уже потому, что, как правило, ничего не знали ни о Пинкертоне, ни о Картере, ни даже о Рокамболе. Однако некоторые из них неплохо пересказывали бесчисленные советские повести «про шпионов», знали рассказы о Шерлоке Холмсе и приключенческую литературу.

Проще всего, конечно, пригласить фраера наверх и предложить ему припомнить что-нибудь интересное из прочитанного. Такие фраера читали много, хотя и не всегда то, что стоит траты времени с точки зрения людей, понимающих в этом деле толк. Если он откажется, то всё будет весьма просто, хевра по отношению к такому никаких обязательств не несет. Но он может принять предложение и оказаться занудой, который понесет что-нибудь про пресную и канительную фраерскую любовь. Один такой весь вечер читал нудные стихи про Евгения Онегина и всех усыпил. Однако «сдрючивать» с него колеса и клифт было потом неудобно. Так их на нем и оставили. Но на том были шмутки так себе. Тут же хевра рисковала упустить редкую удачу по части поживы, если рекомендовать ей взять этого фраера на испытание. Если же поставить эту поживу впереди запросов блатняцкой души, то существует риск упустить хорошего рассказчика, может быть, даже самого писателя «про шпионов» — сейчас на этапах попадают и такие. И в обоих случаях Старик, руководитель камерной хевры, непременно начистит неудачливым физиономистам зубы.

Конечно, есть еще и такая возможность: фраера не трогать, но и наверх его не приглашать. Настоящий тискал может проявить свои способности даже под нарами, среди тупых и унылых штымпов. Надежда на это, однако, плоха. А главное, любого здесь могут вызвать на этап и через пару часов после его появления в камере. И тогда богатого фраера облупит уже какая-нибудь другая хевра.

Дозорные ломали головы, пытливо всматриваясь в лицо человека, понуро стоявшего со своим узлом возле самой двери и не замечавшего их пристальных взглядов. Вдруг Москва подался всем корпусом вперед, оттолкнув товарища локтем, как будто тот мешал его наблюдениям, и буквально впился глазами в лицо фраера у двери.

— Он! — скорее прохрипел, чем прошептал блатной, ударив себя кулаком по колену. Москва отличался экспансивностью и избыточной темпераментностью. — Он, свободы не видать!

— Кто «он»? — удивленно спросил Покойник.

— Помнишь, как в позапрошлом в С-ке были?

— Ну, были...

— А афиши, что там расклеены были, помнишь?

— Ну...

Москва приставил губы к самому уху приятеля и что-то ему прошептал, треснув его для вящей убедительности ладонью между лопаток:

— Он, я тебе говорю!

Однако более флегматичный и, по-видимому, склонный к скептицизму Покойник некоторое время недоверчиво смотрел на «шляпу», потом махнул рукой:

— Заливаешь... Тот старый был!

— А этот что, молодой? Поди, уже тридцать гавкнуло... — В преступном мире, где люди живут очень мало, человек в тридцать лет считается уже пожилым, а в сорок именуется обычно «стариком».

— Да и руль у него не такой...

— Разуь шары.

— На руль отсюда смотреть надо!

— А ты еще из-под нар посмотри...

— О чем толковище? — позади спорящих неожиданно появился Старик.

Те наперебой стали объяснять ему причину спора и каждый, конечно, старался доказать «главному блатному» камеры свою правоту. Особенно горячился Москва. Стараясь не сорваться на крик — предмет спора не должен был этого спора слышать, — он отчаянно сквернословил и жестикулировал. Среди его невнятного бормотания разобрать можно было только неизбежные блатняцкие клятвы, вроде «б... буду!» и «свободы не видать!». Привлеченные спором, на краю нар побезьяньи сгрудились еще несколько блатных. И все пялили глаза на пока еще ничего не замечающего фраера с узлом. Старик — морщинистый немолодой уголовник — тоже смотрел, но, как и полагается старшему, в спор не вмешивался,

хотя Москва и Покойник начали уже хватать друг друга за грудки.

— Свистни-ка фрею, Москва! — изрек он наконец, когда дело дошло почти уже до драки. — Только с подходом, гляди... — «Свистни» — значит «позови».

Тот свесился с нар и обратился к «фрею» с необычной для тюрьмы вежливостью, «подходом»:

— Можно Вас на минуточку, гражданин!

Новичок поднял голову и увидел обращенное к нему небритое лицо уголовника. От вежливой улыбки, которую постарался скорчить Москва, его довольно-таки дегенеративная физиономия сделалась еще более пугающей. Рядом с ней на новичка таранился еще добрый десяток пар глаз на таких же лицах. Фрей в шляпе решил, конечно, что это шайка, которая сейчас начнет его грабить, и испуганно попятился назад.

Москва, держась за столб, свесился с нар еще больше:

— У меня к Вам вопросик, гражданин. Вы, случайно, не артист будете?

Теперь к выражению испуга на лице спрошенного добавилось еще и удивление:

— Да, я артист... А что?

Москва радостно осклабился и, обернувшись к Покойнику, спросил:

— Слышал, фраер?

Тот, однако, не сдавался:

— Может фрей косит? — И довольно грубо сам спросил у артиста: — Из какого города будешь?

— Я пел в с-ском оперном театре...

— Точно! — завопил Москва. — Заткнись, падло! — вскочив на нарах, он так пнул Покойника ногой, что тот едва с них не слетел. — Вот это фарт! Свисти человека сюда, Старик!

Положение обязывает, и поэтому патриарх хевры был сдержаннее других. В его камеру попал оперный певец. Повидимому, это был действительно фарт, хотя и не столь уж большой; умелый рассказчик был бы предпочтительнее. Старик жил в городах и знал, что в оперу абы кого петь не возьмут. Правда, говорили, что поют там как-то по-особенному, так что не всякий и слушать станет. Но фраер, наверное, умеет петь и другие песни, кроме оперных. Во всякой другой тюрьме это



его умение было ни к чему, там здорово не распоешься. Но тут пересылка. В пересыльных тюрьмах вообще «слабина» по сравнению с режимными и следственными, а сейчас и подавно. Камеры переполнены, и уследить за порядком легавые не могут. Пожалуй, сгодится и певец.

— Ну-ка, артист, — сказал Старик, подумав, — лезай к нам!

К растерянно стоявшему внизу человеку протянулось несколько рук. Он всё еще не понимал, что же, собственно, сейчас происходит. Но одно было для него уже ясно: эти люди не только не собираются его обижать, но и приглашают к себе с неподдельным радушием. И делают это, по-видимому, потому, что знают его как представителя искусства.

Это было непостижимо, но трогательно. Воры и бандиты в грязной сибирской пересылке узнали певца из провинциальной оперы и хлопчут вокруг него с радостным оживлением. Артистическое тщеславие брало верх даже над недоумением и растерянностью. Его красивое лицо порозовело сквозь жухловатую тюремную бледность. Служителя Искусства всегда радуют проявления его силы. Тут же сила Искусства проявлялась при почти неправдоподобных обстоятельствах.

Артиста посадили на одно из лучших мест у самого окна, которое занимал до него разжалованный тискал.

— Снимай клифт, тут у нас «ташкент»! — сказал ему один из хозяев нар.

— Да не бойся, — добавил другой, — тут у тебя ничего не пропадет!

Больше всех суетился Москва, чувствовавший себя кем-то вроде первооткрывателя клада.

— Как Вы меня узнали? — спросил его артист.

— По портрету на афишах, — с готовностью объяснил тот. — Я в С-ске бывал, ширмачил там. Ну и видел, как Вы с этих афиш смотрите... — Москва повернулся в свой курносый профиль и слегка вскинул заросший подбородок. — А этот штымп, — он ткнул кулаком Покойника, — гундосит еще: руль не такой. Вот как дам по рулю!

— А как твоя фамилия? — спросил Старик. Ему это нужно было для сведения, но отнюдь не для пользования. В блатном мире без особой необходимости никого не принято называть

по фамилии, даже чужих. Предпочитают прозвища, они куда выразительнее и содержательнее. Для нового обитателя камерного бельэтажа прозвище напрашивалось само собой: Артист.

— Званцев, — ответил тот на вопрос Старика.

— Точно! — закричал Москва, — теперь вспомнил, вот такими буквами было написано... — жестом хвастливого рыболова он развел руки, показывая какими буквами была написана фамилия Артиста на афишах, — Сурен Званцев.

Без шляпы, пальто и кашне, с оболваненной под машинку головой, сейчас Званцев отличался от окружающих уже менее резко. Он сидел на своем почетном месте с кружкой кипятка в одной руке и куском хлеба в другой. Угощал Артиста всё тот же Москва. Суетливый блатной громко рекламировал свою находку:

— Фраера в С-ске за вход в театр по шесть диконов барыгам платили, когда там Артист пел... — Только Покойник знал, что Москва крепко привирает на правах очевидца и героя дня. Но он теперь помалкивал. Скорый на руку приятель мог и в самом деле двинуть его по «рулю».

Теперь для Званцева было уже ясно, как его здесь узнали. Но никто из окружающих никогда не слышал его исполнения. И вряд ли кто-нибудь из них мог что-нибудь в этом понимать. Артист был отличным певцом и знал это. Он и в самом деле был известен и за пределами своего С-ска, случалось, пел и в Москве, и его мечта о Большом театре вовсе не казалась ему несбыточной. В камерах с-ской тюрьмы он встречал немало высококультурных людей, много раз слышавших его в опере и ценивших его редкий голос. Но все они относились к нему просто как к товарищу по несчастью. Эти же уголовники — так близко Званцев видел их впервые в жизни — люди явно грубые и малокультурные, устроили ему едва ли не почетную встречу. Сначала ошеломленный артист принял это за подобие того, что проявляли к своим кумирам московские «лемешистки» или «козлистки». Но теперь, когда его мысли пришли в некоторый порядок, он понял, что этого быть не может. Недоразумение? Но какое?

А происходило действительно недоразумение. Блатные были уверены, что всякий профессиональный певец, а тем бо-

лее такой, о выступлении которого объявляется аршинными буквами, может спеть всё, что поется. Они с нетерпением ждали, когда Артист доест свой хлеб. И когда он поставил на подоконник пустую кружку, сразу же попросили его что-нибудь спеть. Званцев удивился: разве в тюрьме можно петь? В с-ской тюрьме за попытку петь даже вполголоса угрожал карцер.

Теперь удивленно переглянулись его хозяева. Вот так фразер! А для чего бы его здесь так охаживали? Оставили при нем его шумтки, посадили на верхние нары, даже покормили. Выходит, он думал, что это просто так, за его красивые глаза... Ничего этого Артисту пока не сказали, но объяснили, что тут не городская тюрьма. От поверки до отбоя можно шуметь сколько угодно. Пой песни, хоть тресни, только есть не проси...

Это было приятное известие, хотя оно до конца и вполне прозаически объясняло все недоумения Званцева. Его пригласили на эти нары и даже поделились с ним хлебом вовсе не из абстрактного уважения к Искусству. Эти люди хотят держать его здесь в качестве своего придворного певца. Что ж, это даже хорошо. Уже больше года как он не пробовал свой голос, и тоска по этой возможности была временами едва ли не сильнее всякой другой. К радости добавлялось смущение, напоминавшее то, которое Званцев испытывал в уже далекие времена дебюта. Он ощущал сейчас смешной и почти приятный страх: а что как он пустит перед этой почтенной публикой «петуха»? Артист откашлялся, приложив к горлу концы пальцев. Там казался застрявшим только что съеденный хлеб. Но публика смотрела на него хотя и выжидающе, но вполне благожелательно. Небритые рожи уголовников казались теперь почти не страшными, не то что полчаса назад, когда он увидел их столпившимися на краю нар.

Артист произвольным жестом взъерошил отсутствующие волосы и обвел окружающих повеселевшим взглядом:

— И что же вам спеть?

Вот это был деловой вопрос! Со всех сторон посыпались заявки. Несколько человек требовали, чтобы Званцев спел популярную в лагерях блатняцкую песню «Любил жулик проститутку», очень сентиментальную и жалостную. Другие предпочитали более старинную «Где купца обуешь в лапти, где при-

хватишь мужика», «Солнце всходит и заходит», требовал кто-то из угла. И даже из толпы фраеров внизу неуверенно крикнули: «Катюшу»!

Недоразумение, оказывается, продолжалось. И опять с обеих сторон. Потомственный интеллигент и музыкант Званцев никогда не думал прежде, что можно жить на свете и не иметь даже отдаленного представления о делении вокального искусства на жанры и специализации самих вокалистов. Безмерное музыкальное невежество своей публики и ее невероятные требования Артист воспринял почти с испугом. Выражение радостной готовности на его лице сменилось растерянностью и смущением.

— Я... Я этого не могу.. Я оперный певец, понимаете? А этих песен даже не слышал никогда.

Физиономии блатных разочарованно вытянулись. Так вот оно как, оказывается! Этот хваленый певец даже не знает песен, которые знают в тюрьме все.

— Да он темнила! — крикнул кто-то.

— Так ты ни одной хорошей песни не знаешь? — Угрожающе спросил Старик.

— Хорошей? — растерянно переспросил Званцев. — Я не эстрадник, понимаете. Я знаю только оперный репертуар...

— Это когда стоят вот так и тянут, будто блеют, ме-е-е... бе-е-е... Или верещат, как будто им на хвост наступили... — Испитой, желчный блатной, расставив руки и перекосив небритую физиономию, показывал, как держатся на сцене оперные певцы.

— А ты видел? — накинулся на него Москва. Он не мог присоединиться к возмущению других несостоятельностью Артиста, так как отвечал за него.

— Видел! — ответил тот. — Я в харьковскую оперу ходил, в раздевалке там щипачил... Легче легавому арапа запустить, чем всю оперу прослушать!

Настроение экспансивной и раздражительной публики из благожелательного быстро переходило в злое.

— Вот так фраернулись! — возмущался кто-то.

— Это всё Москва! — не преминул ввернуть Покойник. — Вон чего загнул, по шесть диконов давали! — Он наступал на

приятеля, помахивая кистями рук, поднятыми на уровень головы, как вислыми ушами. — Ну, кто штымп?

Возмущенный галдеж быстро нарастал.

— Гони фраера под нары! — требовало несколько голосов.

Какой-то блатной, до сих пор угрюмо молчавший, вылез из своего угла и с угрожающим видом подошел к другому:

— А ну, сдрючивай шмутки с фрея! — Этот блатной успел выиграть в карты вещи Званцева еще до того, как его пригласили наверх. И теперь требовал выполнения условий игры. Кое-кто предлагал начистить зубы Москве как главному виновнику конфуза.

— Да что вы, падлы! — защищался тот. — Артист наших песен не умеет петь, а свои-то он может... Я ж говорю, фраера в С-ске из-за него в драку лезли, свободы не видать!

— Так и пускай катится к своим фраерам! — крикнул тот, который выиграл вещи Артиста.

— А ну, скидай клифт, падло! — Ме-е-е... бе-е-е... — блеял знаток оперных спектаклей.

— А ну, ша! — прервал галдеж Старик. — Я тоже эту оперу по радио слышал... Если выключить нельзя, калган от нее трещит. Но кое-кто слушать можно... — А ну, спой что-нибудь! — приказал он Званцеву. — Что хочешь спой. Хоть из этой своей оперы, если уж ничего лучше не умеешь.

На лице Артиста появилось выражение обиды и боли. Серый от бледности, он сидел понурясь, готовый, кажется, вот-вот заплакать. Но затем он сделал над собой усилие и поднял голову. Теперь его лицо выражало уже решимость, а глаза глядели куда-то сквозь своих недоброжелательных экзаменаторов. Вряд ли даже при недюжинных способностях человек может стать артистом, если не научится владеть собой в решающие моменты. Недоброжелательность публики является тяжчайшим испытанием. Прежде Званцеву всегда удавалось ее преодолевать. Может быть, удастся и теперь.

— Я спою вам арию приговоренного к смерти...

— В смертячке оно в самый раз петь... — хохотнул кто-то.

— Ша! — цыкнул на него Старик.

Званцев откашлялся и немного помолчал с прежним отрешенным выражением на напряженно застывшем лице. Было

заметно еще, что он к чему-то как будто прислушивается. Но лишь немногие догадались, что это Артист воображает оркестровое или фортепьянное вступление. Затем он слегка откинул голову и запел арию Каварадосси из пуччиниевской «Тоски».

Враждебный прием, отсутствие аккомпанемента, отвратительная акустика камеры, сверху донизу набитой людьми, — всё это никак не способствовало возможностям вокального исполнения, да еще после такого длительного перерыва в пении, на которое обрек Званцева его арест. Но голос певца звучал неуверенно и чуть-чуть хрипло только в самом начале арии. Затем он быстро окреп под влиянием нахлынувшего на него чувства. Это было ощущение почти полного соответствия внутреннего состояния исполнителя арии переживаниям своего героя. Не было больше серого этапника, заключенного сталинской тюрьмы. Был узник Римской цитадели, мятежный граф Каварадосси, встречающий последний в жизни рассвет. Его тоска по жизни, такой еще молодой и яркой, по любимой Флории, по славе возможного, но не состоявшегося победителя, была тоской и самого певца. Не наигранной, сценической тоской оперного артиста, а настоящей душевной мукой человека, у которого его жизнь в Искусстве, личное счастье, почти уже достигнутая заслуженная известность — всё рухнуло, всё навсегда осталось по ту сторону тюремной стены. Освобожденный от балласта неуверенности, смущения и робости, вырвался на свободу сильный драматический тенор Званцева. И взмыл в красивом полете, как будто раздвинув стены грязной, вонючей камеры. Голос певца легко поднимался до самых высоких теноровых нот и так же легко падал в глубины баритонального регистра.

Сдержанную муку мужественного узника в каменном мешке смертной камеры Артист выражал сейчас перед кучкой грубых и невежественных уголовников с такой глубиной и силой, которая никогда еще не удавалось ему на оперной сцене, хотя его тонкой натуре дар воплощения был отпущен не в меньшей мере, чем дар певца.

О своих слушателях Званцев забыл и не мог видеть происходившей с ними метаморфозы. Сначала злость и пренебрежение сменились на их лицах удивлением. Никто из бла-

ных никогда не слышал еще такого сильного и чистого голоса. А затем их начало захватывать чувство, вложенное в исполнение трагической арии заключенным певцом. На лицах самых грубых, даже того, который выиграл вещи Званцева, появилось печальное и задумчивое выражение. Более сдержанный, чем другие, Старик, сначала слушавший Званцева с пренебрежением предвзятого экзаменатора, задумался и опустил голову. Уж кто другой здесь, а он-то знал, что такое тоска смертной камеры. И почти не понимая слов арии, чувствовал, как в самую душу к нему проникают ее рыдающие звуки. Москва преданно смотрел на певца с выражением неподдельного восторга на своей свирепой физиономии, ведь успех Артиста был и его успехом. Темпераментный блатной делал в воздухе жесты руками и шевелил губами, только с трудом, видимо, удерживаясь от восклицаний. Впрочем, к концу арии перестал дергаться и он. Все слушали, не проронив ни звука, почти затаив дыхание. Затихли внизу даже вечно бубнящие штымпы.

Певец умолк и машинальным жестом откинул со лба несуществующие волосы. Он стал, если это возможно, еще бледнее. Но теперь тон его бледности сделался как будто иным, более светлым. Хотя, вероятно, так только казалось из-за темного блеска глаз Артиста.

С минуту его слушатели сидели неподвижно и молча. Кое-кто украдкой смахивал слезы. Грубость и жестокость профессиональных уголовников часто сочетаются в них с сентиментальной чувствительностью, а нередко и с неожиданной способностью понять даже весьма высокие чувства, заложенные в литературные и музыкальные произведения их авторами.

Москва, конечно, первым нарушил общее молчание и определил общее заключение, ударив себя кулаком по колену:

— Артист — человек! — Это высшая похвала для не блатного.

Старик, делая вид, что обдумывает исполнение Артиста, потирал седую щетину на щеках — она была влажной. Однако открыто выражать свой восторг руководителю хевры было не к лицу, и он ограничился сдержанным признанием:

— А ничего, что Артист из оперы, фартово поет падло!

На всех ярусах нар гудели одобрительные голоса. Кто-то внизу, когда Званцев кончил петь, ему даже заплодировал. Но не поддержанный никем, скоро понял неуместность в тюрьме такого способа выражения похвалы и перестал хлопать. Однако и без аплодисментов было ясно, что успех Артиста полный. Теперь на его выразительном лице сияло радостное удовлетворение. Он и здесь оставался артистом. Тем более что вряд ли когда-нибудь одерживал над скепсисом публики более убедительную победу.

— Что, падло? — теперь уже Москва наседа на Покойника, изображая перед ним ослиные уши. — Кому надо зубы на-чистить?

Над щипачом, с воровскими целями посещавшим оперу, иронизировали:

— Ты ее часом не с цирком спутал? — Москва строил ему рога: — Ме-е-е...

Званцев с улыбкой наблюдал за проявлениями ребячливости блатных, которая, однако, никак не смягчала свирепых нравов хевры. Но вдруг он перестал улыбаться и начал к чему-то прислушиваться. Затем, с выражением напряженного внимания, прильнул к решетке окна, у которого сидел. Оно находилось как раз на уровне верхних нар. Обернувшись к галдящим блатным, умоляющим голосом произнес:

— Тише, товарищи! Пожалуйста, тише!

Тишина наверху наступила почти сразу, о ней ведь просил Человек — Званцев. Но внизу шум еще продолжался.

— Тише, вы, падлы! — гаркнул Москва, свесившись через край нар. Штымпы удивленно затихли.

Теперь уже все явственно слышали доносившееся через окно пение. В камере второго этажа сильным меццо-сопрано пела женщина. Своим голосом она владела с профессиональной уверенностью и несомненным мастерством. Даже для совершенно неискушенных в музыке людей ее пение чем-то напоминало только что исполненную Артистом оперную арию. И не только своим стилем, но и почти такой же силой чувства.

Сами по себе женские голоса снизу никого здесь удивить не могли. Коридор второго этажа был «женским», а камеры на всех этажах располагались одинаково. Точно одно над другим



приходились и их окна. При открытых форточках — а они в переполненных камерах были открыты почти всегда — звуки из смежных по вертикали камер, хотя и довольно слабо, были слышны из окна в окно. Особенно в направлении снизу вверх, наклонно поставленный перед окном железный козырек играл роль отражателя. Женщина внизу пела, по-видимому, перед самым этим отражателем. И в этом не было ничего необычного. Удивительным было другое. То, что певица в женской камере была вокалисткой высокого класса и пела арию из той же «Тоски», очевидно, отвечала Званцеву.

Прижавшись к решетке окна, Артист застыл в напряженном внимании. Было видно, что он боится пропустить хотя бы звук из пения незнакомой арестантки.

— Прямо опера! — хохотнул кто-то. Званцев обернулся к нему с выражением почти физической боли на лице, а Москва поднес к носу непрошеного комментатора свой увесистый кулак.

Пение внизу оборвалось на высокой, рыдающей ноте. Артист медленно, как человек, только что увидевший удивительный сон и не вполне еще проснувшийся, провел ладонью по лицу.

— Мне ответила Флория... — выговорил он наконец в ответ на вопросительные взгляды.

— Никак твоя баба? — изумились вокруг.

Только теперь Званцев очнулся по-настоящему и вспомнил, что вокруг него люди, не имеющие представления не только о том, кто такая Флория Тоска, но и о смысле музыкальной драмы вообще. Нужно будет разъяснить им это. Но не сейчас. Сейчас Званцев лихорадочно перебирал в уме все знакомые арии и романсы, чтобы ответить своей неожиданной партнерше на том же, музыкальном языке. Опять попросив тишины, он запел в решетку окна:

— «Средь шумного бала, случайно...»

Теперь им владели уже иные чувства, чем при исполнении арии Каварадосси. Но опять они были собственными чувствами певца. И проникновенные строки старинного романса стали от этого еще более выразительными. Для него они сейчас имели почти реальный и трагический смысл.

Блатные слушали романс внимательно, с пониманием вникая в его слова. Дело сейчас не столько в самой музыке, сколько в удивительной, никем еще не слышанной здесь музыкальной переключке двух заключенных оперных певцов. Это было что-то вроде захватывающей драматической игры. Когда Званцев пропел свой романс, его похвалили не только за хорошее исполнение, но и за удачный выбор музыкального ответа в женскую камеру.

— Здорово это у тебя насчет «тайны» получилось, — одобрительно сказал кто-то. — Оно, действительно, тайна, что это там за баба? А сколько тебе сроку дрюкнули, Артист?

— Восемь лет, — вздохнул Званцев.

— Ну, и фраерше, небось, не меньше... — То, что певица внизу — «фраерша», никто тут не сомневался. Уголовники поют совсем не то и совсем другой репертуар.

— Тише! — опять поднял руку Званцев. Снизу начинался новый музыкальный «заход». Так здесь успели окрестить попеременные выступления певцов.

Правда, с неослабевающим вниманием и искренним наслаждением слушал пение женщины один только Артист. Другие с большим или меньшим нетерпением переждали, когда оно кончится. Голос певицы сколько-нибудь различимо звучал лишь у самого окна. А главное, пела она именно так, как обычно поют оперные певицы по радио, длинно и скучно. Опера всё же оставалась оперой, и таких хороших песен, как та, которую исполнял давеча Артист, в ней было, видимо, раз-два и обчелся. Правда, сам Званцев был от пения своей партнерши в каком-то тихом восторге.

— Татьяна из первого акта! — вполголоса объяснял он сидевшим поближе и опять прикивал к решетке. Артист снова забыл, что такие объяснения никому здесь ничего не говорят. Прослушав Татьяну, он начинал петь Онегина из той же оперы. Затем снизу следовало что-то новое, а на него новый музыкальный ответ.

Постепенно кучка любопытных вокруг Званцева поредела. Все отошли на свои места и занялись обычными делами или обычным бездельем. Артист тоже освоился с обстановкой, вернее, забыл о ней. Теперь возобновившийся вокруг шум почти

не мешал ему ни слушать свою партнершу, ни отвечать ей. Только вряд ли этот обмен ариями и романсами можно было назвать игрой. Это было не развлечением или соревнованием, а взаимным удовлетворением особого рода голода, который у настоящих артистов достигает иногда силы необыкновенной. Было тут, очевидно, и удовлетворение потребности в общении мужчины и женщины, осуществляемой таким странным и необычным образом. Исполняемые музыкальными партнерами арии состояли почти из одних только объяснений в любви — благо в оперном репертуаре этих арий больше, чем всяких иных.

Разговор-концерт Званцева и незнакомой певицы из женской камеры кончился, только когда принесли вечернюю баланду и началась обычная в это время суэта. Перед отбоем соседи Званцева по нарам потребовали, чтобы он выполнил свое обещание рассказать им об опере. Раньше бы, пожалуй, они и слушать о ней не захотели, да вот песня этого самого смертника всем понравилась. Но и теперь почти все тут оставались при убеждении, что опера — это, в общем, нестерпимая тягомотина. Некоторые полагали, что таким способом образованные фраера охмуряют друг друга и самих себя. Одни выпендриваются со сцены и берут за это деньги. Другие делают вид, что это им нравится, так как посещение оперы своего рода шик. Некоторые из блатных бывали в драматическом театре и находили, что представление на сцене — это интересно. Музыка — это тоже хорошо, если, конечно, играет не симфонический оркестр. А вот зачем портить драматическую роль исполнением ее по-дурацки, нараспев? Здравствуйтесь... Ка-а-к жи-ва-е-е-те?..

Сначала Званцев думал, что ему никак не удастся преодолеть предвзятости и глубину невежества своих слушателей. Тем более что он был плохим популяризатором и еще худшим педагогом. Артист не мог приспособиться к уровню своей аудитории и не переносил выпадов в адрес любимого им искусства. Он постоянно обижался за него, умолкал или отвечал раздраженно и сбивчиво.

Оказалось, однако, что положение не так уж безнадежно. И к концу своей лекции Званцеву удалось многих поколебать в их убеждении, что опера — это всего лишь какая-то музы-

кальная заумь. Будь перед ним аудитория того же образовательного уровня, но состоящая из людей обычного склада и образа мысли, это, безусловно, не удалось бы. Но тут были уголовники, что парадоксальным образом меняло дело.

Среди них людей романтического склада гораздо больше, чем среди тех, кто честным трудом добывает свой хлеб и послушен законам государства и общепринятой морали. И хотя сама по себе романтика уголовщины быстро развеивается в представлении даже самых молодых своих сторонников, их идеалы переносятся в иллюзорный мир «красивой жизни». Для этой жизни характерно презрение ко всему серому и будничному, прежде всего к труду. Ей чужды мелкая расчетливость и робость перед чьим-то запретом. Старая как мир триада: любовь, вино и карты – является эмблемой и девизом блатничества. Конечно, в меру его убогого разума и еще более убогих возможностей. Но это в целом. Отдельные представители мира отверженных, наиболее вдумчивые и способные, проявляют иногда влечение к настоящей литературе и поэзии. Даже высокоинтеллектуальной, такой как поэзия Гёте, Гейне или Блока, хотя обычно они перекраивают их философское обобщение на свой особый лад. Всё сказанное о духовном мире некоторой части уголовников нисколько, однако, не меняет их практики воров и насильников. Такова уж логика самого их существования.

Увлеченность, с которой Званцев рассказывал об опере как об искусстве передать со сцены сильные человеческие страсти при помощи музыкальных звуков и ярких красок, заставляла призадуматься даже самых скептических из его слушателей. Что ж, может, этот «человек» и в самом деле прав и опера не просто фраерская блажь. Вон какую любовь закрутил с этой певучей фраершей внизу! Блатных почти тронул их музыкальный роман. Хотя этих фраеров разделяет сейчас только межэтажное перекрытие тюремного корпуса, никогда они не увидят друг друга в лицо. Не сегодня, так завтра одного из них угонят на один конец света, а другого куда-нибудь на другой. И до конца своей жизни никогда более они не встретятся.

Когда беседа закончилась и все улеглись, Званцев услышал, как один из заключенных на верхних нарах вполголоса сказал соседу:

— Каких только фраеров теперь в тюрьмы не понапикивали! На одной только этой пересылке из них можно хоть академию, хоть оперу собрать...

— А может оно так и пущено, — ответил сосед. — Лагерному начальству где-нибудь на Колыме скучно, вот оно и дало заказ легавым в городах поналовить для него всяких певунов да плясунов...

Первый в этом усомнился. Он обладал, вероятно, большим лагерным опытом:

— Не... С контриковскими статьями в КВЧ не берут...

Артист долго лежал с открытыми глазами. Легко возбудимый человек, он был переполнен впечатлениями прошедшего дня. И самым сильным из них была эта музыкальная встреча с этапницей из женской камеры внизу, такой близкой по расстоянию и одновременно такой далекой. Там, под полом, точно такая же камера и такие же нары, на которых так же тесно, как здесь мужчины, лежат женщины. И среди них эта певица. Возможно, что и она сейчас не спит и думает о нем, своем партнере по неожиданному дуэту. Старается, наверное, представить себе его внешность, возраст, бывшее общественное положение. Тут, впрочем, ей многое может подсказать его профессия певца. Вряд ли он дал ей основания усомниться в своем профессионализме.

А кто она? Званцев поймал себя на том, что увлеченный самым удивительным в своей жизни дуэтом, он в течение всего этого времени, да и потом, ни разу об этом не подумал. Правда, репертуар певицы, качество и манера исполнения, насколько о них можно судить в этих условиях, почти не оставляли сомнения, что она либо оперная артистка, либо бывшая кандидатка на это звание. А может быть, она уже известная исполнительница? Не исключено даже, что они знакомы — мир оперного искусства не так уж широк! Артист даже приподнялся на нарах, настолько его поразила эта простая мысль. И как это она ни разу до сих пор не пришла ему в голову? Ведь мог же он представиться своей партнерше через окно и попросить ответить ему тем же! В конце концов — это закон элементарной вежливости. Ничего, однако, еще не потеряно. Это он может сделать и завтра.

Насколько до сих пор Званцев как бы абстрагировался от представления о внешнем облике своей партнерши, настолько упорно теперь он пытался его вообразить. Но ему никак не удавалось отделаться от привычных ассоциаций. Певица представлялась ему в образе тех оперных героинь, арии которых она исполняла сегодня. Все они были прекрасны и внешне эффектны, но, конечно, совершенно не верны. И, в сущности, почти оскорбительны для обездоленной арестантки в камере пересыльной тюрьмы.

Раза два мельком Артисту приходилось видеть заключенных женщин в коридорах и во дворе с-ской тюрьмы. Это случилось, когда надзиратели допускали путаницу или недосмотр при выводе арестантов на прогулку или при переводе их из камеры в камеру.

У большинства женщин были ввалившиеся глаза на серобледных, у иных даже с землистым оттенком, лицах. И что-то общее было в выражении этих лиц, на свободе, вероятно, самых разных. Почти одинаковыми в своем безобразии были и фигуры арестанток в грязной, изжеванной одежде. Волосы у многих были острижены под машинку, у других неопрятными космами выбивались из небрежно повязанных платков.

Вряд ли могут выглядеть лучше и этапницы внизу, которых, как и всех здесь, гонят куда-то для использования в качестве рабочего скота. И теперь не имеет уже значения ни образованность отдельных особей, ни их артистичность, ни, тем более, способность чувствовать и понимать. И как все заключенные, женщины здесь тоже во всем почти «бывшие». Они бывшие граждане, бывшие специалисты, бывшие жены и даже бывшие матери. Званцев чуть не застонал от пронзившего его острого сострадания к арестанткам. Ведь им в заключении приходится еще горше, чем мужчинам. Уже по одному тому, что оно обрекает их на неизбежное внешнее уродство. И как непереносимо, вероятно, сознание этого уродства для представительниц артистического мира. Ведь для них внешняя обаятельность — неременное условие не только их профессии, но и самой жизни!

Артисту стало почти стыдно, что он мог представить себе заключенную певицу в образе пушкинской барышни, Жанны

д'Арк или оперной валькирии. Ведь образ реальной мученицы выше всех этих образов. Выше и глубже. Беззаконное насилие, совершаемое над невинными людьми, не может не унижить. И если оно не может сломить в них человеческого достоинства, способности чувствовать и мыслить, любить свое искусство, как, несомненно, любит его эта бедная арестантка со второго этажа, то такие достойны звания настоящих героев, а также любви и уважения. Именно таково, вероятно, происхождение любви верующих христиан к мученикам своей религии.

Тут религиозное обожание было, конечно, ни при чем. Но Званцев почувствовал к заключенной певице нечто большее, чем простое сострадание. В нем вспыхнул глубокий и острый интерес к ней не только как к человеку, но и как к женщине. Человеческие чувства обладают способностью взаимопроникновения и часто бывают неотделимы друг от друга.

Так кто же она, эта женщина, которая тронула его, оказывается, гораздо глубже, чем это можно было представить? У нее молодой и сильный, несмотря на все зловредные влияния тюрьмы, голос. Артист поймал себя на том, что очень хочет, чтобы молодой и красивой была и его обладательница. Но зачем ему это? Вероятность встречи со своей партнершей, даже в отдаленном будущем, у него не больше, чем вероятность столкновения двух комет.

А сколько времени продлится эта нынешняя возможность музыкальных встреч с ней через закрытое железом окно? Неделю или только один-два дня? Артист чувствовал, что боится потери такой возможности как потери чего-то очень для него дорогого. Гораздо большего, чем просто утрата партнера по занятиям пением. Неужели он влюблен? В кого собственно? Ведь это нелепо, почти смешно!

Было далеко за полночь, когда Званцев, наконец, уснул. Последнее, что он слышал, кроме сопения и храпа соседей, был окрик часового на вышке тюремной ограды. Вскоре этот окрик повторился. «Кто идет?» — доносилось сквозь оконце тюрьмы. Но это был теперь голос не вохровца из будки часового, а солдата в парике и треуголке с высокой крепостной стены. И камера Званцева была уже не многолюдной камерой обыкновенной пересылки, а одиночным казематом старинной

крепости. Осужденный на смерть узник думал перед казнью о своей возлюбленной. В отличие от Флории, она тоже была заключенной и находилась где-то здесь, совсем рядом. Узник слышал ее голос, даже отвечал на него, но знал, что никогда ее не увидит. Он метался на своем жестком ложе. Пальто, которое подостлал под себя Званцев, сбилось в ком у самого края нар. «Кто идет?» — кричал часовой на вышке за окном.

Спокойно и глубоко Артист заснул только на рассвете. Но вскоре длинно и назойливо задребезжал звонок будильника. Наступало худшее время тюремного дня — раннее утро.

Званцев с нетерпением ждал, когда кончатся процедуры раздачи хлебных паек, умывания и утренней поверки. И как только суетливый, но энергичный Москва «организовал» относительную тишину в камере, запел в решетку окна: «Я вас люблю, люблю безмерно...» Эта ария — объяснение в любви — в необычайной степени соответствовало тому чувству, которое так неожиданно овладело им в прошедшую ночь. Снизу на нее ответили горестной арией Джульетты. Беседа продолжалась... «О дайте, дайте мне свободу...» Ответом князю Игорю был плач Ярославны.

— Как Ваше имя? — крикнул Званцев в ржавое железо козырька и прильнул к решетке напряженно прислушиваясь. Но на этот раз ответа снизу не последовало. Тогда он повторил свой вопрос, и снова ответом было озадаченное молчание. Артист растерянно оглянулся. Опытные арестанты глядели на него с сочувственной иронией. Званцеву объяснили, что разговора из камеры в камеру через закрытые козырьками окна не получается. Нельзя разобрать слов. Особенно когда говорят сверху вниз. Артист только теперь с огорчением понял, что ложное представление о разборчивости переклички через окно сложилось у него потому, что эта перекличка состояла из знакомых на память музыкальных либретто.

— А ты ее спроси на свой, оперный манер! — посоветовал кто-то. Совет показался Званцеву толковым.

— Кто Вы-ы?.. — пропел он в окно на мотив арии мосье Трике. Теперь внизу кажется поняли.

— Лю... .. а... на... — донеслось через решетку. Вероятно, были названы имя и фамилия, но разобрать слов было нельзя.



Тогда, больше чтобы подать совет, Званцев с оперными интонациями пропел в окно свою фамилию. Совет, по-видимому, поняли, так как «Лю-ю-ю... ..на-а-а... ..» было произнесено теперь тоже нараспев. Но было уже очевидно, что никакой распев незнакомых слов помочь тут не может. С выражением отчаяния на лице Артист сжал виски руками.

— Не тусуйся! — хлопнул его по спине Москва. Он относился к Званцеву несколько покровительственно. Талантливый артист всё равно оставался беспомощным фраером. — Сейчас мы твоей бабе ксиву пульнем!

Потребовав у Артиста один из его носков, Москва быстро отмотал от него длинную нитку. Затем выпросил у кого-то коротенький огрызок карандаша. Догадавшись, для чего делаются эти приготовления, Званцев достал полученное перед самым отправлением на этап письмо из дому. На его оборотной стороне оставалось еще немного чистого поля для записки. Белую бумагу, однако, забраковали. Предпочтительнее обратная сторона махорочной обертки. Коричневая бумажка не так заметна на фоне неотштукатуренной кирпичной стены.

Укрывшись за спиной Москвы, чтобы запретное в тюрьме писание не было замечено через глазок в двери камеры, Артист выводил на рыхлой бумажке округлые, какие-то детские каракули. Так получалось потому, что тупой карандашный огрызок приходилось держать самыми кончиками пальцев. Он был слишком коротким, чтобы взять его поудобнее. Содержание ксивы было предельно кратким: «Званцев Сурен. С-ская опера. 58-6, 8 л.»

Без сообщения друг другу статьи и срока тюремные знакомства то же самое, что знакомства на воле без представления об общественном положении знакомящихся.

— Ты и взаправду шпион? — удивился Москва, — или тебе это только пришили?

— Пришили... — вздохнул Артист, — я за границей был, пению в Италии учился...

Лаконичность письма объяснялась еще и необходимостью оставить на записке место для ответа. В женской камере могло не оказаться ни бумаги, ни карандаша. Особенно если в ней одни только фраерши. Поэтому, обернув его письмом, вниз

отправили на нитке и карандашный огрызок. Хорошо еще, что намордник перед окном не был зашит снизу досками как обычно. Это тоже было одно из проявлений режимной «слабины» на пересылке. Строгость «срочных» тюрем по части пресечения общения между арестантами подменялась здесь текучестью населения пересыльной тюрьмы. О чем могли договориться между собой этапники, которых через день, а может быть и через час, развезут по разным эшелонам, а затем и лагерям? Но это не значило, конечно, что если часовой с вышки заметит ползущую по стене ксиву, он не сообщит о совершенном нарушении по телефону дежурному по тюрьме. И тот примет меры, чтобы перехватить ксиву и отобрать один из наиболее строго запрещенных в тюрьме предметов — карандаш.

Званцев с замиранием сердца следил за манипуляциями тюремного почтмейстера. А тот постучал самодельной ложкой по железному козырьку и крикнул вниз:

— Кси-ва... — Оттуда донесся такой же стук и чей-то голос: — ... яй... — очевидно «Пуляй!»

— Порядок! — удовлетворенно сказал Москва, — внизу и марухи есть... — и начал медленно опускать письмо. Так менее вероятно, что оно попадет на глаза попугаю на вышке. Наконец нитка ослабела, почту внизу приняли. Потянулись томительные минуты. Потом там постучали о железо, что означало «Тяни!». Москва начал осторожно выбирать нитку, а Артист кусал губы от беспокойства и нетерпения. Но всё обошлось благополучно. Дрожащими пальцами он разворачивал мятую, пухлую бумажку. На ней, рядом с его каракулями было выведено таким же невыразительным почерком — карандаш был тот же: «Людмила Костромина. Студия Леноперы. ЧСВН. 7 л.»

Писулька несколько приоткрыла завесу таинственности над партнершей Званцева. Он почувствовал радостное удовлетворение от того, что она студийка. Значит, его желание, чтобы она была молодой женщиной, сбылось. А вот ЧСВН означало, что эта женщина стала жертвой варварского закона о родственниках «врагов народа». Но кто же этот «враг», из-за которого оперная сцена лишилась, может быть, одной из своих будущих звезд? Всего вероятнее, что это муж Костроминой. Такое предположение чем-то коробило, поднимало откуда-то

со дна подсознания муть зоологического по своей сути эгоизма. Нелепый и низменный вообще, в этой обстановке он был нелеп вдвойне. Да и «враг», за родство с которым талантливая певица была брошена в тюрьму, мог оказаться ее отцом или братом. Званцев почувствовал внутренний стыд и, чтобы заглушить его, запел арию Дон-Жуана из одноименной оперы.

Странный роман увлек Артиста настолько, что он почти не отходил от окна ни в этот день, ни в последующие. Во всяком другом месте над ним бы, наверно, посмеялись. Но здесь слишком хорошо понимали, что такое неудовлетворенная тяга к женщине, и ценили любые способы преодоления тюремных запретов и ограничений. Этот чудаковатый фраер нашел свой способ. Что ж, это было его дело. На прилипшего к решетке Званцева почти не обращали внимания. Да и он, как распевшийся соловей, почти ничего не слышал и не видел вокруг. И различал теперь голос своей дамы даже сквозь самый громкий галдеж. Когда Артист не дежурил возле своего окна, он был рассеян и задумчив, как влюбленный юнец. Иногда его просили спеть для публики. И Званцев пел арии князя Игоря и герцога Альмавивы, Германа и Ленского, романсы Чайковского и Даргомыжского. Предвзятость его слушателей к классической музыке была уже несколько меньшей. Спел он однажды и арию Каварадосси. Но на этот раз она звучала далеко не так впечатляюще, как при первом ее исполнении здесь. Совсем иным было теперь главное чувство певца.

Удивительный дуэт между певцами в нижней и верхней камерах продолжался. Его партнеры были друг для друга то Ромео и Джульеттой, то дон Жуаном и донной Анной, то Радмесом и Аидой. Эти образы были в какой-то мере условны, ограничены рамками сценических требований и возможностей, а потому и легче поддавались воображению. А вот попытки представить себе реальный образ Костроминой наталкивались на невообразимо большое число вариаций женских лиц, фигур, походок, манер держаться. Словом, всего того, что определяет внешнюю индивидуальность. Партнерша Званцева представлялась ему то высокой и сильной молодой женщиной, то маленькой и хрупкой девушкой; то светлой, то темноглазой и черноволосой; то порывистой, то задумчиво-медлитель-

ной. В конце концов, он каким-то недоступным рационалистическому пониманию образом синтезировал все эти представления в одном, их обобщающем. Это было нечто отвлеченное от реальности и в то же время ее представляющее. Таким же смешением абстрактного и реального была и любовь Артиста к женщине, представленной для него только звуками ее голоса. Но от этого, да еще от горького чувства неволи, его любовь становилась еще сильнее и чище.

Засыпал Артист, как и положено влюбленному, позже своих соседей. В тиши ночной камеры он как бы повторно прослушивал всё, что было спето ему Людмилой за прошедший день. Он снова и снова вникал в слова арий, романсов и каватин, в которых прямо или косвенно говорилось об ее любви к нему. Каким именем она его при этом называет, теперь уже не имело значения. Музыкальные диалоги нередко продолжались и в сновидениях. Правда, в них они чаще всего обрывались болезненно и резко благодаря чьему-то грубому и насильственному вмешательству. Тогда Артист просыпался с чувством ноющей тоски, которая долго потом не проходила. Сны-то были, несомненно, вещими. В них отражалось сознание полнейшей неизбежности того, что страстный дуэт двух незнакомых влюбленных будет вот-вот оборван.

Шла уже четвертая ночь пребывания Званцева в камере этой пересылки. Как и в предыдущие ночи, он обдумывал сейчас, с чего начать ему завтра свой каждодневный разговор с Людмилой. Это она сделала как бы его привилегией, никогда не начиная петь первой. Возможно, Костромина выражала таким образом признание его таланта и старшинства как исполнителя, а может быть, просто хотела, чтобы своим вступлением он давал как бы ключ к выбору ею ответа. Истинно женская психика не только мирится с приоритетом мужчины в вопросах всякой инициативы, но и стремится утвердить этот приоритет даже там, где его фактически нет.

Выбор вступительной вокальной пьесы с каждым днем становился всё труднее. Ко всему прочему она должна быть своего рода музыкальным «с добрым утром» и в то же время не быть повторной. А за эти дни даже богатый репертуар Званце-

ва был в немалой степени исчерпан. Сказывалась и мозговая усталость, вызванная нехваткой сна. Днем Званцев не спал, как почти все здесь, а ночью засыпал только за полночь. Мысли устало путались, и он не мог придумать ничего путного. Придется отложить выбор пьесы на утро. Времени для этого после подъема вполне достаточно.

Засыпая, Артист улыбался. Наплывало одно из привычных в последние ночи видений. На месте отбитой штукатурки в углу появилась декорация зимнего леса, а сквозь чье-то сонное бормотание звучал голос Снегурочки, она же, конечно, Людмила. Но тут к этим звукам прибавились какие-то другие, от которых Званцев открыл глаза, приподнялся на локте и начал встревожено к чему-то прислушиваться.

Звуки доносились всё из-за того же окна над его изголовьем. В женской камере внизу звучали необычные для такого позднего времени голоса. Притом не одни только женские. Они чередовались с мужским, отрывисто произносившим, по-видимому, только одно слово. На это слово женщины, судя по их голосам, разные, отвечали довольно длинной тирадой. После этого следовала небольшая пауза, и голоса, в той же последовательности, повторялись.

— Баб в нижней камере на этап вызывают, — сказал сосед Званцева, он тоже не спал.

Но Артист и сам давно уже понял это. Если и до сих пор к владевшему им радостному чувству почти постоянно примешивалась тревога, то теперь эта тревога и тоскливое предчувствие недоброго вытеснили в нем всё остальное. По-видимому, происходило то, что неминуемо должно было произойти. Однако человек наделен спасительной способностью отодвигать в своем представлении всё самое для себя трагическое в неопределенное и неясное будущее. И наступая, это будущее почти всегда застаёт его врасплох, поражая своей четкой и неумолимой жестокостью.

Привычно прильнув к решетке и весь превратившись в слух, Званцев старался разобрать произносимые внизу фамилии. Но даже если их выкрикивали совсем близко от окна женской камеры, всё равно понять можно было разве только окончания фамилий:

«... ..на... ..», «... ..ская... ..», «... ..ко... ..». Полностью улавливались, как всегда, только привычные словосочетания, вроде «статья пятьдесят восемь» или «пункт десять, часть первая». Всякий раз, когда ему слышалось слово «Костромина», Званцев вздрагивал и до боли в пальцах сжимал прутья решетки.

Когда голоса в женской камере затихли, он, съежившись, с каким-то посеревшим лицом всё еще висел на своей решетке.

— Убиваешься, Артист, — сочувственно сказал ему сосед. — Брось! Такая уж у нас, прокаженных, жизнь... А может, еще твою бабу сегодня и не вызвали...

Голоса за окном зазвучали снова и уже гораздо отчетливее. В тюремном дворе началась переключка многочисленного этапа, притом исключительно женского. Но снова почти ни одной фамилии разобрать как следует не удалось. Плац для разводов находился от корпуса, где сидел Званцев, довольно далеко. Тем не менее, по звукам с этого плаца можно было сделать весьма важное заключение о составе этапа. Все его женщины отзывались либо «пятьдесят восьмой», либо приравненными к ней «литерными» статьями.

— Видно, всех контричек с пересылки замели, — сказал кто-то. Теперь на верхних нарах не спал уже никто.

Потом было слышно, как женщин построили в ряды по пять человек и как эти пятерки считали — их оказалось более шестидесяти. Затем раздалась команда: «Шагом марш!», шарканье многочисленных ног, и всё стихло.

Званцев в прежней позе сидел у окна. Он почти уже не сомневался, что самый удивительный в его жизни роман окончен и никогда более не возобновится. И что незнакомая ему, в сущности, женщина, ставшая тем не менее за эти дни самым дорогим для него человеком на свете, шагает сейчас в толпе таких же отверженных, как и сама, «прокаженныхников», как говорят блатные, навстречу своей горестной судьбе. И, наверно, глотает пополам со слезами пыль дороги к железнодорожному тупику, где этапниц ожидает эшелон арестантских «краснушек».

Надежда, однако, удивительно цепкое и настойчивое чувство. Тем более настойчивое, чем меньше она имеет для себя оснований. Вот и сейчас Званцева не оставляло это чувство,

знакомое всем, кто когда-нибудь стоял перед мрачной неизвестностью – робкое «а может быть?». Поэтому до ощущения почти физической боли ему хотелось пропеть в окно рядом какую-нибудь музыкальную фразу. Тогда Людмила, если только она еще здесь, обязательно ответит. А если нет? Но в таких случаях всегда кажется, что определенность, даже самая плохая, всё же лучше, чем терзания неизвестностью.

Петь, однако, нельзя. Люди в камере опять уснули. Да и подобного нарушения тюремного режима в ночное время не стерпит даже либеральная пересылка. Обоих певцов сейчас же выволокут из камер в карцеры, и их общение, даже если оно еще возможно, прекратится раньше времени. Нет, надо ждать своего обычного часа после утренней поверки.

И Званцев ждал, сидя без сна у решетки до самого подъема. Когда принесли утренний хлеб, он не повернул головы и не протянул руки. Пайку Артиста принял заботливый Москва. А когда тот же Москва раньше обычного времени успокоил штымпов внизу, Званцев запел в решетку окна арию Ленского перед его дуэлью с Онегиным. Никакой аффектации в этом не было. Он ведь был профессиональным артистом, а драматическое вступление в эту арию как нельзя точнее выражало его настроение. Вот уже несколько часов, как оно терпеливо ждало своего воплощения в звуки. Но когда такая возможность наступила, это удалось Званцеву не сразу. От волнения он долго откашливался и массировал горло, прежде чем смог пропеть «Что день грядущий мне готовит...». На этой фразе Артист остановился, и видно было, как побелели его пальцы, сжимавшие решетку. Но окно молчало. Тогда он попытался продолжить арию, но уже на словах: «Его мой взор напрасно ловит...» уткнулся лбом в железные прутья и зарыдал. Плакал, однако, Артист недолго. Вытерев ладонями мокрое лицо, он отвернулся от окна и, низко опустив голову, сел спиной к решетке.

Он как будто сразу постарел. Это впечатление, впрочем, усиливала уже недельная щетина. Обед Званцева принял и съел Москва. Один раз он дернул его за рукав и спросил:

– Может, ксиву пульнуть? А, Артист? – Тот медленно pokrutil головой из стороны в сторону: «Не надо!»

Во второй половине дня загремел засов двери, и на ее пороге показался дежурный по тюрьме с бумажкой в руке. Сразу же наступила настороженная тишина, этап! Началась, видимо, очередное разгрузка пересылки.

— Отзывайтесь пока на свои фамилии без установочных данных! — сказал дежурный.

Это значило, что сейчас будут названы те, кто уже сегодня будет продолжать свой этап в дальние лагеря. Иногда такое предупреждение делалось за пару часов до отправки, иногда всего за несколько минут. Уже по первым фамилиям, прочитанным по принесенному списку, стало ясно, что на этот этап уходит та группа заключенных, с которой сюда прибыл Званцев. Некоторые из них, по привычке, услышав свою фамилию, начинали бормотать длинный ряд своих «позывных». Таких дежурник обрывал вызовом очередного по списку. Был среди них и Званцев.

— Есть! — ответил за него Москва.

— Всем, кого назвал, собраться с вещами! — сказал дежурный и вышел. Надзиратель закрыл дверь на засов.

В камере началась обычная возня со сборами и поисками своих вещей.

— Собирайся, Артист! — сказал Званцеву Москва. Он подал ему его «клифт», помог намотать на шею кашне, вложил в узел Артиста сегодняшние пайки. Тот принимал всё это с каким-то каменным безразличием. И, спустившись вниз, понуро стал в проходе, прислонившись к столбу.

— Слышь, Артист, — обратился к нему Старик, — спой что-нибудь на прощанье!

Сначала Званцев как будто и не слышал этой просьбы. Но потом поднял голову и запел арию Каварадосси.

И снова, как при первом исполнении этой арии здесь, тоска реально существующего, но лишённого свободы человека изливалась в тоске вымышленного узника. И снова, трогая даже самые грубые сердца, рыдал голос Артиста, с той же силой, как и в первый раз, передавая эту тоску. И, как тогда, певец вкладывал в свое исполнение не только всю силу своего таланта, но и всю свою душу.

Тихонько, без обычного лязга открылась дверь камеры, и в ней появились давешние коридорный надзиратель и дежур-



ный по тюрьме. Но тюремщики не стали пресекать нарушение заключенным тюремного режима. Они его слушали. Впрочем, люди это были уже немолодые, а возраст, как известно, умеряет все виды пыла, в том числе и служебного.

Артист кончил петь, машинально провел пятерней по остриженной наголо голове и надел свою измятую шляпу, которую до этого держал в руке.

— Спасибо, Человек! — прочувствованно сказал ему Старик.

— Спасибо, товарищ Артист! — загудели голоса внизу.

Дежурный по тюрьме с минуту молчал, перебирая свои бумажки. Потом крикнул: «Да-а...» — и, откашлявшись, начал вызывать назначенных на этап. Но теперь он уже требовал, чтобы те называли все свои установочные данные, и внимательно следил за точным соответствием отзывов и записей в списке. Когда очередь дошла до Званцева, тот ответил только тогда, когда дежурный окликнул его вторично: «Сурен Михайлович...» — и снова как будто забылся.

— Статья и срок! — напомнил ему дежурный с необычайной в таких случаях мягкостью. Услышав, что пункт пятьдесят восьмой статьи у певуна шпионский, впрочем, это было видно и из списка, тюремщик сочувственно поднял на него глаза. Скверный пункт! С ним где-нибудь на Колыме этому городскому интеллигенту придется ой как плохо... И ни к чему, наверное, там будет его талант... Но сколько туда гонят теперь таких! И дежурный сделал привычный жест рукой: «Выходи!»

## Художник Бацилла и его шедевр

Искусство — это действительность,  
отображенная через восприятие художника.  
*Делакруа*

Прозвище «Бацилла» было одним из самых распространенных в лагерях заключения сталинских времен. Обычно его получали те члены блатного общества, которые отличались особой хлипкостью сложения или совсем уж исключительной худобой. Вряд ли и теперь среди мелких уголовников можно часто встретить упитанных людей. Их профессия никому не обеспечивает благополучной, а тем более спокойной жизни. А в те времена, кроме того, большинство профессиональных воров проходило через школу беспризорщины и безнадзорщины, накладывавших на них печать физической недоразвитости. У некоторых эта недоразвитость усиливалась психической надорванностью. Поэтому популярное прозвище носило столько заключенных, что нередко в одном лагере скапливалось по несколько Бацилл. И чтобы различить их, к основному прозвищу добавляли вспомогательное, почти всегда подчеркивающее какую-нибудь особо отличительную черту его обладателя: Бацилла Гундосый, Бацилла Кульгяпый. Тот, о котором пойдет речь в этом рассказе, именовался Бациллой Художником.

Зря в блатном мире такого прозвища не дадут. Горев, такой была настоящая фамилия шуплого, просвечивающегося от худобы паренька, действительно обладал и несомненным талантом художника, и немалыми профессиональными навыками живописца. Несмотря на молодость, ко времени, когда я его увидел впервые, Горев мотался по лагерям и колониям уже около десяти лет. За попытку подделывать денежные знаки он угодил в заключение почти еще в отрочестве, да так на свободу более не выходил. Но и до этого вольность его житья была более чем относительной. С раннего детства Горев воспитыв-

вался в детдоме, брошенный матерью — пьянчужкой и забулдыгой. Отца Горев не знал вовсе.

В детстве рисованием увлекаются почти все. По-видимому, мы проходим через такую стадию развития, когда графическое отображение увиденного является своего рода потребностью. У большинства людей эта потребность вскоре становится рудиментарной, как потребность воинственно орать и размахивать деревянной саблей. Но у других она сохраняется, становясь первой и необходимейшей предпосылкой развития художественного таланта. Таким образом, этот талант является как бы проявлением в человеке некоторого атавизма. Обижаться на это не приходится. Всё в нас, в том числе и самое лучшее, так или иначе восходит к нашему первобытному прошлому.

В детдоме взъерошенного и диковатого мальчонку стали сразу же дразнить «Мазилкой» за его необычайное даже для пятилетнего пристрастие к рисованию. Других ребят он сторонился, в общих играх и беготне участвовал мало. Уединившись где-нибудь, Мазилка рисовал, тупя карандаши и изводя огромное количество бумаги, иногда газетной, если не было лучшей. Уже тогда было видно, что рисование для этого ребенка является чем-то большим, чем просто забава. В рисунках Мазилки почти не было изображений домиков, деревьев, просто мам и просто детей, как у большинства его сверстников. Почти все рисунки маленького художника были сознательно сюжетными и не по-детски хмурыми, как и он сам. Если он изображал кошечку, то испуганно таращившую глаза на собаку, загнавшую ее на забор. Если собаку, то в момент, когда большой мальчишка ударил ее палкой. Впечатления безрадостного детства пали, видимо, на очень чувствительную почву. Вышло так, что они не были нейтрализованы и в дальнейшем и навсегда определили угрюмый и мизантропический характер как самого художника, так и его произведений, которые отличались выразительностью, а нередко и портретным сходством. Мог Мазилка нарисовать на кого угодно и злую карикатуру. Впрочем, теперь его прозвище было «Суслик», данное ему за раздражающее сочетание физической слабости с неробким и ершистым нравом. Однако дразнить Суслика решались не часто, у него было оружие посильнее кулаков. Кому

охота быть нарисованным в виде бульдога с тупой и злой рожей или лающей шавки?

В те годы было не в моде отбирать и выпестовывать таланты, особенно такие, которые не могли служить непосредственно делу индустриализации страны. Но художественный талант Горева был слишком очевиден, чтобы остаться незамеченным. По окончании им четвертого класса его перевели в художественную школу, благо детдом находился в большом и достаточно культурном городе.

Это было крупной удачей в безрадостной жизни мальчика, изменившей к лучшему даже его мизантропический характер. Ведь тут рисование и живопись были не блажью, за которую Суслика шпыняли в обычной школе, а основными предметами. Вскоре Горев стал самым многообещающим учеником в своем классе, хотя школьные задания выполнял без особого воодушевления. Зато исключительной выразительностью и экспрессией отличались его работы на вольные темы. Но вот выбирал он эти темы с тенденцией, которая удручала некоторых его учителей. Негоже ученику, готовящемуся стать художником социалистического реализма, останавливать свое внимание почти исключительно на таких сюжетах, как валяющийся на улице пьяный, ломовик, избивающий свою клячу, пойманный карманный воришка, которого вытаскивает из трамвая возбужденная толпа! Впрочем, времени, чтобы направить недюжинный талант хмурого юнца в более светлую сторону, оставалось еще много.

Так думали воспитатели Горева, но жизнь распорядилась иначе. Оказалось, что некоторое ослабление нелюдимости пошло ему во вред. У Суслика появились приятели среди товарищей по детдому, чего прежде никогда не бывало. Само по себе это было бы отлично, если бы первые в жизни угрюмого мальчика друзья не оказались друзьями по расчету. Им нужен был не он, а его удивительный талант к рисованию. Сами эти ребята учились не в художественной, а в обычной школе и оба были немного старше Горева. Однажды один из них показал Суслику листок из старого отрывного календаря двадцатых годов. На его оборотной стороне было помещено уменьшенное изображение банкноты достоинством в тридцать рублей,

самой крупной из тогдашних купюр. Она чаще других привлекала к себе подделывателей еще и тем, что была выполнена в одну, темно-синюю краску, если не считать напечатанного красным номера. Рядом со штриховым рисунком сеятеля с лукошком было выведено красивым курсивом «Три червонца». Ниже, тоже курсивом, была напечатана справка, что банкнота подлежит размену на золото в любом отделении государственного банка СССР из расчета столько-то граммов и столько-то десятитысячных долей грамма за червонец. Дальше шли подписи наркомфина и директора банка.

Спрошенный, может ли он воспроизвести этот рисунок и притом так, чтобы его не могли отличить от рисунка на настоящей купюре, Горев самоуверенно ответил, что это не трудно, но нужно знать его настоящий масштаб. Но вот где взять трехчервонную банкноту, когда никто из них и рубля-то сроду в руках не держал?

Оказалось, что хитроумными организаторами многообещающей затеи это предусмотрено и продумано. Такому замечательному рисовальщику как Горев достаточно, небось, пару раз взглянуть на настоящую купюру, чтобы запомнить ее тональность и размер. А увидеть такие купюры он может хоть сто раз, если постоит в часы толкучки у магазинных касс. В руках покупателей побогаче они нет-нет да и появляются.

Суслик замылся было, но его взяли на «слабо». Кроме того, художника уверили, что он ничем не рискует, всю черную работу по сбыту и размену поддельных денег ребята берут на себя. А понимает ли он, какая жизнь начнется у предприимчивой тройцы, если он освоит самое доходное из всех ремесел в мире — производство денег? Не будет ничего на свете, что было бы недоступно для людей с неограниченной покупательной способностью. Даже шегольские кепки «шестиклинки» и велосипед! На каждого — свой!

Нельзя сказать, что Горев принял это предложение с воодушевлением. Вечно занятый либо рисованием, либо обдумыванием новых сюжетов, он как-то равнодушно отнёсся к обещанным благам. Не было у него особой охоты ни учиться ездить на велосипеде, ни шеголять в новой кепке. А вот нарисовать тонким пером на прямоугольнике тонкой плотной бу-

маги сеятеля и остальную часть рисунка дензнака, да так, чтобы его приняли за настоящий, было интересно. Что касается этической стороны предприятия, то мальчишкам оно представлялось не более чем еще одним эпизодом в их постоянной войне с запретами и ограничениями взрослых. Поэтому, когда один из компаньонов сдавал первую нарисованную Горевым фальшивку в кассе большого магазина, тот, стоя в отдалении с другим членом компании, волновался не столько как жулик, опасющийся за исход операции, сколько как молодой мастер, ожидающий компетентной оценки своей первой работы. Оценка оказалась неважной. Предъявившего нарисованную купюру паренька схватили тут же. Остальных двоих членов шайки — на другой день. Вера юнцов в свою способность противостоять нажиму при допросах была такой же наивной, как и их подделка.

На беду доморощенных фальшивомонетчиков, только что был издан указ, уравнивающий уголовную ответственность подростков, начиная с двенадцатилетнего возраста, с ответственностью взрослых. Гореву же было уже почти четырнадцать, а самому старшему из членов компании и все пятнадцать. Кроме того, новизна правительственного постановления обязывала суд к особой суровости. Судьи должны были показать, что они правильно поняли внутренний смысл этого законодательного акта государства пролетарской диктатуры. Он заключался в полном отрешении от мягкотелого гуманизма буржуазной юриспруденции. Никаких скидок преступникам даже на их возрастную незрелость и отсутствие жизненного опыта. Особенно в случаях, когда дело идет о нарушении одного из основных прерогатив государства. За попытку изготовления поддельных червонцев — по червонцу срока каждому из участников преступной шайки! Правда, до наступления совершеннолетия их предписывалось содержать в колонии для малолетних преступников при городской тюрьме.

Начавшая было покидать Горева психическая депрессивность вернулась к нему снова. Причин для этого было достаточно. Было тут, наверно, и сознание нравственной неправомерности совершенной над ним судебной расправы, и горечь потери возможности обучаться любимому делу, и утрата мечты стать когда-нибудь великим художником.

Но если в начале своего заключения Горев был только угрюмым меланхоликом, то с годами в нем начали проявляться сознательные озлобленность и ожесточенность. Он дерзил воспитателям и начальству, все чаще отказывался от работы, рисовал карикатуры тем более злые, чем выше был чин изображаемого на них человека. Конечно, его за это наказывали, отчего парень ожесточался еще более. Начался тот процесс взаимодействия причины и следствия, который, в конечном счете, как в физическом, так и в психическом мире приводит к взрывам и разрушениям. Так мелкие преступники превращаются в крупных, фрондеры в революционеров, мизантропы в озлобленных нигилистов. Ко времени, когда Горев перевели в лесорубный лагерь где-то на Урале, он был уже законченным «отказчиком» и принципиальным «филоном», вечным завсегдаем карцеров и штрафных камер. Свою характеристику «трудного», помещенную в его дело, он быстро и вполне оправдал и в настоящем ИТЛ, где уже не приходилось рассчитывать даже на ту небольшую скидку, которая допускалась в колониях для несовершеннолетних. Здесь за отказ от работы полагался неотпливаемый даже зимой карцер без нар, в котором заключенным выдавалась только трехсотка хлеба и кружка воды в день. Иногда случалось, что усиление репрессий разрывает процесс состязания лагерного режима с упрямством не подчиняющегося ему человека. В случае с Горевым этого не произошло. Возможно, что его принципиальное отказничество поддерживало также страстное желание юнца стать полноправным членом блатной хевры. Как почти у всех заключенных в колонии малолетних, она вставала в его воображении как некий орден рыцарей уголовного «закона». Горев знал, что неподчинение лагерному уставу является одной из главных доблестей настоящего «законника».

Прошло, однако, немало времени, прежде чем хевра признала его своим. С ее точки зрения, такие как Горев были скорее фраерами, чем настоящими блатными. Он не воровал, не играл в «буру». Да и статья у него была совсем не блатняцкая, ниже фальшивомонетчиков в хевре котировались разве только конокрады. Но парень оказался на редкость стойким. За отказ от работы он сидел в карцере до тех пор, пока лагерный

лекпом не сказал, что дело у этого отказчика идет уже к необратимой дистрофии. Если не перевести его в разряд временно освобожденных от работы из-за крайнего истощения, то малый, чего доброго, врежет в карцере дуба. Такие явления считались нежелательными, и Горева поместили в барак, где жили блатные. Вот тут-то хевра и убедилась, что шатающийся от слабости паренек не только стойкий законник, но и настоящий художник, умеющий здорово рисовать портреты и сцены лагерной жизни. Портреты, правда, у него получались какие-то чудные, схожие, и в то же время смахивающие на карикатуру, хотя карикатурами они не были. Сквозь эти портреты проглядывало что-то, часто совсем не лестное для оригинала, но действительно ему свойственное. Но так как художник делал эти портреты не на заказ, а только так, хочешь бери хочешь нет, то протестовать не приходилось. Обычно он рисовал их на фанерках от посылочного ящика заостренным куском графита от щетки автомобильного динамо. Иногда покрывал еще красками, которые для него добывали в лагерной КВЧ. Но если подходящих материалов не было, то Горев мог рисовать чем угодно и на чем угодно: углем на стенке кирпичной печки, обломком кирпича на боку печки железной, нацарапывать рисунки гвоздем или осколком стекла на нарах. И все это получалось у него удивительно здорово и выразительно.

Окончательно авторитет Горева утвердился в хевре после того, как он не клюнул на приманку одной из самых блатных должностей в лагере — должности художника КВЧ. Начальник этого КВЧ, прослышав о таланте молодого доходяги, попросил его нарисовать плакат по образцу, присланному из ГУЛАГа. Дело в том, что прежний художник освободился, а плакат было приказано обязательно выставить на самом видном месте лагерной зоны. Начальник сказал, что в случае, если эта работа будет выполнена хорошо, Горев будет назначен на завидную должность дневального КВЧ с исполнением обязанностей художника, которые сводились к рисованию время от времени таких вот плакатов и, иногда, карикатур на филонов и отказчиков.

Для осужденных по уголовным статьям тогда еще существовали зачеты рабочих дней, вскоре отмененные. При постоянном перевыполнении рабочих норм срок заключения



значительно сокращался. Этой теме и был посвящен типовой плакат ГУЛАГа. На его утвержденном образце обнаженный по пояс работага крушил кайлом массивную скалу, на которой было написано «твой срок». Подпись под плакатом гласила: «Только ударный труд может приблизить день твоего освобождения, заключенный!»

Блатные были разочарованы, узнав, что их художник согласился рисовать плакат. Все-таки он фраер. Настоящий блатной не стал бы помогать лагерным прохиндеям охмурять заключенных. Но через два дня Горев опять очутился в карцере. На этот раз за едва ли не контрреволюционный выпад против пропаганды за ударный труд в лагере. Воспользовавшись бесконтрольностью — плакат он писал в клетушке художника при лагерном КВЧ, — живописец злостно извратил картину. Вместо плечистого ударника он нарисовал на ней скелетообразного доходягу, выбивающего себе в скалистом грунте могилу. И только надпись на плакате сохранил прежней. Вот тогда-то строптивый художник и получил блатное прозвище, означающее, что хевра признала его окончательно. По настоящей фамилии Горева окликали теперь одни только начальники, надзиратели да подрядчики. Нечего и говорить, что карьера лагерного придурка была закрыта для него навсегда.

Бацилла принадлежал к числу тех натур, у которых репрессии только усиливают их сопротивление насилию, среди таких находятся мученики по призванию. Высокая идея мученичества «за веру», дело революции или научную истину для них не всегда обязательна. У лагерных отказчиков, например, ее заменил блатной принцип, помноженный на демонстративное упрямство. Некоторые из особо «принципиальных» умирали в холодном карцере на голодном пайке, но так и не брали в руки кайла или лопаты. Следует помнить, что у них не было ни религиозной веры, облегчающей страдания надеждой на их возмещение в загробной жизни, ни сознания своей причастности к великому делу. Нельзя объяснить подвижничества отказчиков и рационалистическим расчетом, что их трехсотка все же выгодней полной пайки «рогатиков», на которой те загибались даже чаще, чем они. Если это и так, то часто только потому, что многие карцерные страстотерпцы научились сво-

дить свой энергетический баланс к почти анабиотическому уровню. Тут было что-то от йогов, хотя не было и намека ни на школу йогов, ни на их систему. Но оледенелый карцер-бокс не так уж сильно отличался от зарытого в землю ящика, а многочасовая «выстойка» на пятидесятиградусном морозе без бушлата и рукавиц — от хождения босыми ногами по раскаленным углям. Отсутствие обморожений при таких выстойках вряд ли менее удивительно, чем отсутствие ожогов при соприкосновении с огнем. Выставленные на жестокий мороз отказчики обмораживались поразительно редко.

Бацилла был одним из тех, кто в таком вот состязании с лагерным начальством — кто кого переупрямит? — провел большую половину своего срока. Но тут вспыхнула война, и прежнее «паньканье» с отказчиками сменилось пришиванием им дела о «контрреволюционном саботаже», предусмотренном пунктом четырнадцатым грозной пятьдесят восьмой статьи. Горев одним из первых был осужден по новому указу на новый десятилетний срок.

Казалось бы, он и до этого находился на самом дне угрюмой безнадежности. Но, видимо, это было не так. После второго осуждения Бацилла совершенно ушел в себя и почти перестал разговаривать с окружающими. Работать «на начальника» он по-прежнему отказывался, а в промежутках между многонедельными сидениями в карцере продолжал рисовать. Но только его рисунки сделались теперь еще угрюмее. Возможно, в это время у него и зародилась идея создать первое художественное произведение, в котором нашли бы свое отражение все муки лагеря и вся несправедливость мира. Вряд ли, конечно, Бацилла понимал, что его возможности для написания такого шедевра ограничены недостаточной образованностью и почти полным незнанием жизни. Что касается недостатка специального образования, то тут Бацилла мог с полным основанием надеяться на возмещение его силой своего чувства. Дети и художники-примитивисты нередко достигают в своих рисунках выразительности, недоступной живописцам с академическим образованием.

О том, что щуплый, казалось, насквозь просвечивающий от страшной худобы парень, похожий в свои двадцать два года

на физически недоразвитого подростка, вынашивает свою страстную идею, я узнал, когда он попал в наш приисковый лагерь где-то в бассейне реки Неры. И как всякий интеллигент, отнесся к ней с насмешливым недоверием. Было в ней что-то общее с изобретательством вечного двигателя, которым занимался в том же лагере другой полусумасшедший невежда. Крайне заурядной была и внешность художника. Обыкновенный лагерный «фитиль». Из широкого ворота драного бушлата, свисающего с его узеньких плеч как с вешалки, торчала длинная, по-детски тонкая шея. Она казалась слишком слабой для непомерно большой, лобастой головы, всё время клонившейся на грудь, как будто ее обладатель засыпал даже на ходу. Руки Бацилла держал обычно засунутыми в рукава и сложенными на груди. Правда, на улице это было необходимо, так как у него не было ни рукавиц, ни пуговиц на бушлате. Когда однажды я его о чем-то спросил, Бацилла с трудом поднял свою тяжелую голову, посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Это обычное поведение доходяг на грани последней стадии дистрофии. Конечно же, обыкновенный фитиль, которых в каждом бараке по десятку!

Но когда я увидел Бациллу работающим в своей «мастерской» — закуте за вешалками для онучей и промокшей одежды в барачной сушилке, — я его почти не узнал. Он сидел на низком чурбаке за неким подобием пюпитра, на котором стоял кусок фанеры, и обломком электрографита наносил на него уверенные штрихи вполне твердой рукой. Глаза художника на лице, обтянутом сухой кожей так плотно, что на нем вырисовывались почти все детали черепа, горели фанатическим воодушевлением. За его работой наблюдали поклонники таланта Бациллы из числа местных блатных. Эти люди были единственными в лагере, кто сочувствовал его идее написать обличительную картину. Правда, никто из них не знал, что это будет за сюжет, как не знал еще, наверно, и сам художник. Вся сцена сильно напоминала чью-то картину, изображавшую работу живописца-неандертальца в доисторической пещере.

Хевра опекала и охраняла своего художника. Без этого в лагере тех лет ему было бы еще труднее выжить. Изнуренным от голода или непосильной работы людям тут никто не сочув-

ствовал. Наоборот, они вызывали злобное презрение, особенно в тех случаях, когда еще и впадали в обычное при дистрофии голодное слабоумие. Плетущегося позади всей бригады еле передвигающего ноги человека с особой злобой пинали прикладами конвоиры. В забое его непрерывно награждали толчками и ударами бригадиры и десятники, в бараке — дневальный, а то и просто те, кто был хоть немного посильнее. Доходяги раздражали своей неспособностью поднять иногда совсем небольшую тяжесть, переступить без падения низенький порог, сразу ответить на вопрос «Как твоя фамилия?» и сообразить, который талон у них на хлеб, а который на баланду. Особенно часто получали колотушки и синяки те, кто, уже падая от ветра, продолжал еще огрызаться и гундеть. И если такого, в ответ на его претензию, что черпак не полон, раздатчик баландыогревал этим черпаком по голове, никто ему не сочувствовал. А чего с ним валандаться? Начал подыхать, так и пусть подыхает, а не путается тут под ногами. То, что такое же состояние было почти неизбежным будущим почти каждого лагерного работяги, не только не уменьшало их злобы к фитилям, а скорее ее усиливало. Многое из того, что кажется в людях навсегда исчезнувшим, оказывается только прикрытым косметикой цивилизации. И когда при тяжелых жизненных встрясках этот непрочный слой осыпается, под ним обнажаются древние инстинкты хищной стаи, один из которых выражается принципом: «Смерть ослабевшему!» Он не так уж рудиментарен, если вдуматься в те ощущения, которые вызывают у нас вид дряхлых, зажившихся на свете стариков, уродцев и психически неполноценных людей. Еще не так давно человеческое общество не скрывало своей неприязни к прокаженным и другим неизлечимо больным. И объяснялось это не столько страхом перед заражением, сколько инстинктивным отвращением ко всему, что может отрицательно повлиять на существование вида. Если олени не уничтожают, подобно волкам, ослабевших или больных особей своего стада, то только потому, что за них это делают волки. В человеческом стаде инстинкт враждебности к беспомощному ближнему проявляется с особой силой там, где это стадо состоит из людей, насильно согнанных в какой-нибудь общий загон, каковым является, например, концентрационный лагерь.

Впоследствии я познакомился с некоторыми работами Бациллы. Это было не так просто, так как их хранили не только от начальственных, но и от посторонних глаз. Не то чтобы рисование считалось в лагере запрещенным делом, но слишком уж очевидной была нездоровая тенденция, проявлявшаяся в рисунках художника-блатного. Поэтому их разрознивали, маскировали и прятали. Все они были сделаны всё на тех же небольших кусках фанеры, которые легко засунуть в щель пола, в матрац, набитый стружкой или опилками, а то и просто в сугроб.

Бацилла работал в своеобразной манере, которую никак нельзя было объяснить недостатком у него живописной техники. То вытягивая фигуры как на картинах эль Греко, то слегка сплющивая их по вертикали как Гойя в некоторых из своих «Капричос», он усиливал этим их выразительность. Изображения были как бы срисованными с отображений в зеркалах «комнаты смеха», но они отнюдь не были смешными. Вот некоторые из них: чуть в стороне от оконца хлебрезки — отойти дальше у него, видимо, не хватало терпения — доходяга впился зубами в только что полученную горбушку. В его глазах жадность и голодная тоска одновременно, как у собаки, грызущей найденную на помойке кость. Через ворота лагеря выволакивают, «выставляют на работу» отказчика, привязав его за ноги к задку саней. С головы волочащегося по снегу человека свалилась шапка, его бушлат задрался до самых плеч. Было тут еще изображение «саморуба», только что отсекавшего себе топором на высоком пне кисть руки; похожего на скелет покойника, с пальцев которого снимают отпечатки, необходимые для «архива-три», и многое другое в том же роде. Некоторые из картинок были покрыты красками, неизменно темными и глухими от обильной добавки в них сажи и сепии. Световые переходы на рисунках Бациллы были резкими, почти без полутеней. Даже выполненные в красках, они напоминали скорее графику, чем живопись. Работы странного художника были так же необычны, как и он сам, и их можно было бы отличить от всяких других с первого взгляда.

И всё же лагерная тематика была у него не единственной. Среди работ Бациллы были также изображения «воли». При-

чем, неизменно, только благополучных ее сторон. Однако почти все такие сценки получались у него какими-то беспомощными и невыразительными. Целующаяся в окне пара была, скорее всего, срисована Бациллой по памяти с виденной когда-то открытки. Сцена пирушки получилась мертвой, и главным в ней оказались не лица, а горы наваленной на столе жратвы. Взращенный в тюрьмах и лагерях, художник почти не знал жизни. Живее других он изобразил лицо усатого дядьки, пьющего пиво у станционного киоска. Лицо усача выражало блаженство, вряд ли совместимое с получаемым им рядовым удовольствием. Скорее, его вообразил изнывающий от жажды художник, наблюдавший сцену из оконца этапного вагона.

Говорили, что всё это, как и целая галерея лиц, — эскизы к будущей картине Бациллы. Я уже не сомневался в его таланте, наружность на этот раз оказалась особо обманчивой. Однако не мог себе представить, как он сумеет объединить свои эскизы в одну общую композицию, да еще включающую в себя картины довольно пошлого благополучия. Судя по этим картинам, представления художника о счастье не выходили за пределы, характерные для самого обычного блатного. Такой не сумеет осветить свое будущее произведение достаточно глубокой мыслью, без которой никакое мастерство, даже помноженное на самое сильное чувство, не может оказать существенного влияния на умы людей. В это могли верить только лагерные блатные, такие же наивные в вопросах искусства, как и их художник, и еще более темные, чем он.

Прошло уже немало времени, тусклого и тягостно монотонного, как всегда в лагере. «Горячая» война победоносно закончилась и почти сразу же сменилась войной «холодной». Колыма была районом, который, возможно, первым почувствовал ее ледяное дыхание. В бухту Ногаева больше не приходили корабли из калифорнийских и аляскинских портов. Наступила пора, куда более голодная для дальстроевских каторжников, чем последние годы войны. Мысль о хлебе насущном заслонила все остальные. Даже я, ставший к тому времени лагерным «придурком» — я работал электриком в зоне, — почти перестал интересоваться делами Бациллы, по-прежнему большую часть времени сидевшего в кондее. Говорили, что в промежутках между сид-

ками он уже дописывает свою картину. Но ее содержание блатные хранили в тайне, только намеками давая понять, что это будет великое произведение искусства. Тоже еще знатоки!

В последний раз я видел Бациллу на утреннем разводе, на который его вывели из карцера, чтобы в тысячу первый раз спросить: не одумался ли неисправимый отказчик и не согласен ли он выйти на работу? И в тысячу первый раз он, не поднимая склоненной на грудь головы, надменно повел ею из стороны в сторону. Ворота закрылись, и обвешанный рваньем, сквозь которое во многих местах просвечивало голое тело, невероятно худой – в чем только душа держится? – упрямый фитиль остался на площадке. Утро было морозное, за сорок. Светило мартовское солнце, под которым понурая фигурка отказчика с большой головой и голой шеей, ставшей как будто еще тоньше, если это возможно, выглядела особенно жалко. Наш новый начлаг, недавно вернувшийся с фронта, человек, по-видимому, не злой, долго смотрел на Бациллу, укоризненно покачивая головой. Вероятно, он и в самом деле жалел этого мальчика, потому что сказал:

– Ну, и дурак же ты, Горев! Сам себя губишь! Ну на что ты надеешься, чего ты ждешь?

И тут произошло редчайшее событие, Бацилла ответил на обращенный к нему вопрос. Правда, не сразу. Для этого, после того как он приподнял голову и как-то по-гусиному вытянул шею, молчальнику пришлось сделать несколько судорожных движений кадыком. Возможно, что перед этим в последний раз он произносил какое-нибудь слово или звук неделю, а то и две назад. Наконец, несколько раз глотнув воздух, он довольно отчетливо произнес:

– Т-т-трумэна жду!

«Ожидание Трумэна», т. е. прихода американцев, было в те годы политической ориентацией большинства блатных, сменившей их прежнюю показательную преданность «нашей» советской власти и «нашему» Сталину. Теперь Генералиссимуса и Вождя Народов они именовали не иначе как «ус», а бериевское МВД величали «советским Гестапо». Произошла эта метаморфоза в результате резкого усиления репрессий за уголовные преступления. Если во времена Ежова и в первые годы наркомства

Берии уголовники числились «социально близким элементом», противопоставляемым в лагерях подлинным «врагам народа», то за годы войны они почти утратили эту привилегию. Скокари и домушники получали сроки вплоть до «сталинских четвертков» наравне со шпионами и террористами. Поэтому «друзья народа» во время войны почти не скрывали своих пораженческих настроений, а после нее так же откровенно возлагали свои надежды на «Белый дом», противопоставляемый ими «Красному дому», т. е. Кремлю. Нередко можно было услышать, как с этапной машины или сквозь решетку кондея какой-нибудь блатной кричал надзирателю, конвоиру или даже начальнику: «Погоди, падло! Скоро наш Белый дом вашему Красному дому секир башка сделает!» Имелась в виду атомная бомба, о которой шло тогда много разговоров и которой еще не было у Советского Союза. Все эти выпады сходили блатным безнаказанно. Видимо, в какой-то степени они всё еще оставались «социально близким» элементом, несмотря на изменение знака их убогой политической философии на обратный.

Бацилла вряд ли был на уровне даже этой философии и вряд ли он чего-нибудь ждал. Скорее, его политическое «заявление» было продиктовано принципом всё той же блатняцкой солидарности.

Начальник сначала опешил, а потом побагровел, топнул ногой и высоким, бабьим голосом крикнул:

— Не дождешься!

— Д-д-дождусь! — упрямо повторил Бацилла.

Я видел его тогда в последний раз. Вскоре меня по «спецнаряду» перевели в другой лагерь того же управления. Тут тоже добывалось золото, но не приисковым способом, как почти повсюду тогда на Колыме, а шахтным. Довольно сложное хозяйство рудника требовало много электрической энергии, которую давала дизельная электростанция. Вот на нее-то и привезли меня работать в качестве линейного монтера, благо я имел специальное высшее образование и даже ученую степень.

Работа дежурного по электросети была не хитрая и не очень тяжелая, если только не происходило особенно крупных аварий. Что же касается мелких, то они были даже желательны, так как давали нам право хождения в поселок воль-



ных. Монтер-заключенный, вернувший в дом электрический свет, всегда мог рассчитывать, что хозяева этого дома вынесут ему завернутый в газету кусок хлеба. Хочет или не хочет он есть, «мужика» из лагеря тогда не спрашивали. Особенно дежурного электромонтера, работа которого оценивается повременно, а значит и пайка ему идет второразрядная.

Чем монотоннее текут дни, тем быстрее пролетают годы. Я и не заметил, как их на новом месте прошло уже целых два. И почти уже забыл о чудном художнике из блатных, надумавшем удивить мир каким-то своим произведением.

Однажды в монтерскую дежурку на электростанции явился пожилой дневальный общежития мужчин-холостяков на поселке и заявил, что в этом общежитии «перегорел свет». Очередь отправляться по вызову была моя, и, захватив с собой ключья для лазания по столбам, я пошел со стариком в поселок.

Заменить перегоревшую предохранительную перемычку на столбе, врытом возле длинного приземистого строения, было делом одной минуты. Когда в подслеповатых, незанавешенных оконцах барака вновь вспыхнул свет, из него донесся радостный галдеж. Несмотря на позднее время — шел уже первый час, — многие из его обитателей еще не спали. Эта одна из характерных особенностей общежитий лагерников, которые как бы утверждали таким способом, что они теперь люди вольные. К популярному тогдашнему афоризму, что свобода есть право на бритву, водку и женщин, следовало бы добавить еще и право ложиться спать когда хочешь и даже не ложиться совсем. Во многих отношениях бараки вольняшек были даже хуже иных лагерных. Зато в них можно было хоть до утра резаться в карты, стучать костяшками домино или просто горланить, особенно когда на поселке «дают» спирт. Ни тебе отбоя, ни тебе надзирателя! Находились тут, конечно, и такие жильцы, которые ложились вовремя и хотели бы, чтобы в общежитии хотя бы ночью стояла тишина. Но это были всегда старые штымпы, считаться с которыми тут никто и не думал.

Когда я вошел в барак, чтобы проверить электропроводку — это предписывалось правилами, а более того надеждой на «горбушку», — те, кто еще не спал, возобновили прерванные темнотой занятия. За одним из двух щелястых столов,

занимавших почти весь проход между двухэтажными нарами, забивали «козла». За другим, который стоял в глубине барака, играли в самодельные карты. Судя по азартным выкрикам картежников, это была «бура», та самая, в которую в тюрьмах и лагерях играли обычно под нарами. Тут такой необходимости не было — воля!

Играли, как почти всегда в таких местах, не на деньги — в кои веки у кого они тут бывают? — а на «шмутки». Поставленные «на кон» вещи лежали на скамейках рядом с игроками — вылинявшие телогрейки, кирзовые «прохоря», шапки. У большинства это было единственное, чем они обладали.

Две запыленных тусклых лампочки под потолком освещали обычную картину прилагерного, вольняшеского «дна». На пыльных, набитых сенной трухой матрацах, не раздевшись и укрывшись лагерными бушлатами, спали люди. Простыни и одеяла тут не то чтобы не полагались, но выдавать их жильцам таких вот общежитий было бы совершенно бесполезным делом. Одни пропьют или проиграют казенные вещи сами, у других их украдут для той же цели пропившиеся и проигравшиеся.

Дневальный вынес мне из своей клетушки у входа в барак небольшой кусок хлеба и кружку с кипятком. С ними я и уселся на конце стола, на другом конце которого играли в карты.

«Бура» — игра быстрая. Я не доел свой хлеб еще и до половины, как один из игроков продулся в прах. Он проиграл все свои носильные вещи, кроме оставшихся на нем штанов и рубахи. Рубаху, впрочем, он тоже с себя сорвал и с блатняцкими ругательствами, божбой и матерщиной предлагал ее партнерам в качестве последней ставки. Что они, падлы, не понимают что ли, что ему совершенно необходимо отыгаться. На работу-то идти завтра не в чем! Прогул пришьют, а это новые восемь лет лагеря... А рубаха еще хоть куда, только в одном месте и залатанная!

Но «падлы» ставки не принимали, уж очень убого выглядела ветхая, отроду не стиранная рубаха. А что касается жалких слов про новый срок и прочее, то они старому каторжанину вроде и не к лицу, трюсы в карты не играют...

Некоторое время проигравший сидел за столом в позе глубокого отчаяния, подперев руками голову, и не то ругался

сквозь зубы, не то стонал. А потом, видимо, решившись на что-то, вскочил и побежал к своему месту на нарах. Над ним висело намалеванное на довольно большом куске фанеры, вероятно крышке от макаронного ящика, изображение русалки. Девушка с голой грудью и распущенными волосами высунулась из воды до основания массивного, покрытого чешуей рыбьего хвоста. Это была обыкновенная лагерная поделка. Набивший себе руку на таких «картинах» опытный живописец справлялся с ней за один-два вечера, и больше одной буханки хлеба она не стоила.

Было странно, что владелец картины только с явным усилием заставил себя поставить ее на кон. Еще удивительнее, что он поставил ее «ва-банк» под все проигранные им ранее вещи. И уж совсем непостижимым показалось мне то, что его прижимистые партнеры приняли эту ставку не торгуясь.

Пока игроки перешвыривались картами и отрывистыми, похожими на команды, отдаваемые дрессированным собакам, картежническими терминами, картина стояла под столом, прислоненная лицевой стороной к его ножке. Там было темно, и, украдкой скашивая глаза на ее обратную сторону, я сумел разглядеть только, что на этой стороне было изображение какого-то распятия. В нем, возможно, и заключалась разгадка ценности картины, замаскированной изображением русалки на другой стороне фанерки. Но почему? Сектанты в карты не играют, а эти за столом если и поминали имя бога довольно часто, то не иначе как в сочетании с особо затейливым и злобным матом.

Именно таким матом, истово, как будто читал молитву, и выругался банкомет, швырнув на стол остаток карт. Это значило, что поставивший ва-банк выиграл. Теперь ему везло в таком же несоответствии с законами теории вероятностей, с каким прежде не везло. Вернув свои вещи, он выиграл сверх того еще засаленный полушубок и самодельный эбонитовый мундштук. При таком везении и менее азартные люди согласны обычно играть хоть до утра. Но его партнеры решили, что на сегодня хватит, пора спать.

Я давно съел свой хлеб, до дна выпил большую кружку мутной тепловатой воды и теперь делал вид, что с большим

интересом слежу за игрой. На самом же деле я ждал ее конца, чтобы взглянуть на заинтриговавшую меня картину. После выигрыша парень находился в хорошем настроении, но оказался неожиданно нелюбезным:

— Вот повешу ее на стену, тогда и гляди!

Я сказал, что меня интересует не русалка, а то, что на другой стороне фанеры. Он посмотрел на меня подозрительно:

— А ты не стукач, часом? Коменданту не накапаешь?

Я заверил, что сроду стукачом не был, свободы не видать!

Я не ошибся. На другой стороне картины с русалкой было действительно изображено распятие. Но к кресту, грубо сколоченному из неостесанных, довольно тонких жердей, был пригвожден не Христос, а человек в лагерном бушлате. Бушлат был распахнут, и под ним на распятом ничего не было, кроме спустившихся на самые бедра изодранных штанов, сквозь прорехи которых просвечивали похожие на палки ноги. Над впалым, почти притянувшимся к спине животом выпирали тонкие ребра недоразвитой груди. Большая стриженная голова казненного бессильно свесилась на грудь на тоненькой, почти детской, шее. Но крест был высокий, и вообще изображение было сделано по-витийски удлиненным и в ракурсе снизу. Поэтому лицо человека на кресте было видно почти полностью. Оно не было еще лицом мертвеца. Глаза распятого смотрели из-под полузакрытых век с выражением привычного страдания и безответного вопроса: за что? Хотя кровь, скупо вытекшую из его ран, художник изобразил уже совсем запекшейся, одной только бурой, без малейшего блеска, краской. Но даже сквозь маску наступающей смерти лицо человека на кресте выражало знакомую мне смесь неодолимого упрямства и внутренней непокорности. Это было лицо Бациллы, его несомненный автопортрет, сделанный им в своей характерной манере, но с неожиданно жестокой даже для него выдумкой.

Фоном для необычной Голгофы послужил, как и следовало ожидать, довольно обычный на Колыме безжизненный пейзаж, написанный как будто смесью сажи и ржавчины, настолько он был угрюм. За распятием на первом плане виднелось множество других таких же распятий, разбросанных по

склонам почти черных сопок и исчезающих в мрачной дали. Бесконечные числом, кресты далеко отстояли друг от друга, что, вероятно, символизировало внутреннее одиночество распятых на них страдальцев. Каждый умирал на своем кресте, и распятый на переднем плане был лишь одним из множества.

Картина была окаймлена как бы рамкой, составленной из серии небольших картинок, заключенных в правильные прямоугольники. Очевидно, они служили иллюстрацией к главной картине и пояснением заложенной в ней мысли художника. Подобное сочетание главного и вспомогательного сюжетов нередко можно встретить в произведениях религиозной живописи средневекового Запада и на старинных русских иконах. При всей своей примитивности этот прием полностью решал задачу композиционного объединения самых разных картин Бациллы под знаком найденной им мрачной аллегории. Поясняющие ее сюжеты были представлены каждый в двух картинках, расположенных попарно на одной горизонтали. Невидимая ось симметрии делила всю композицию на две половины. Картинки справа иллюстрировали аллегорию, слева — наводили зрителя на мысль о несправедливом устройстве мира.

Со многими из этих картинок я был уже знаком по давним эскизам Бациллы, другие видел впервые. Всё им нарисованное сюда, конечно, не вошло. Но я узнал широкогортого доходягу, жадно вгрызающегося в свою пайку. Ему противопоставлялся усач с пивной кружкой. Играющему на «рояле» дубарю соответствовало изображение приличных похорон — благостный покойник возлежал на высоком белом катафалке. На одних горизонталях были нарисованы изнемогший у своей тачки каторжник и мордастые футболисты, гоняющие мяч по черно-зеленому полю; скрючившийся в тесном деревянном «мешке» узник «бокса» и изображение южного пляжа. Оно было особенно мертвенно и беспомощно в исполнении Бациллы. Полуголые, скорее похожие на мертвецов, чем на отдыхающих, фигуры валялись на темно-коричневом песке под холодно-синим небом, на котором вырисовывались метелки пальм. На среднем плане катились тяжелые волны оливково-черного моря.

Конечно, за время, в течение которого я его не видел, ни общий кругозор художника, ни его умение рисовать картины благополучия не могли существенно измениться. А вот сюжетное и композиционное решение для своей картины он сумел найти с неожиданной для него глубиной мысли. Лишнее доказательство того, что предельная целеустремленность может мобилизовать в человеке качества, которые не только его окружающие, но подчас и сам он в себе не подозревал.

Я сказал владельцу картины, что знал написавшего ее художника. Я назвал его прозвище и лагерь, в котором содержался Бацилла. Иначе мой интерес к нему и к путям, которыми эта картина попала сюда, мог бы показаться праздным.

Парень ответил, что точно, художника звали Бациллой. Лично с ним, правда, он знаком не был, отбывал срок в другом лагере. Но знает, что это был настоящий законник, верный своему слову. Сказал, что не покорится легавым, и не покорился. Он и умер почти сразу, как только закончил эту картину.

Бацилла умер! При других обстоятельствах это известие вряд ли бы меня поразило. Удивляться приходилось скорее тому, как долго этот «фитиль» протянул. Но сейчас сообщение о смерти художника я получил в тот момент, когда держал в руках доказательство, что задуманный шедевр он все-таки создал. И почти не приходилось сомневаться, что эти два события взаимосвязаны.

Главная пружина внутри этого человека, выполнив свое назначение, распустилась.

Мой собеседник рассказал мне, что картину Бациллы, чтобы скрыть ее от глаз легавых, приколотили лицом вниз к донышку маленького чемодана. С этим чемоданом ее и вынес за зону первый же из освободившихся членов хевры. Бацилла к тому времени уже лежал на лагерном кладбище под совсем еще свежей фанерной эпитафией. На воле первый хозяин картины из первого же выигрыша в буру заказал на другой ее стороне вот эту бабу. Так, скрытая дозволенным изображением, она и провисела некоторое время в такой же вот общаге. Без стукачей, конечно, ни одна общага не обходится, но, как и здесь пока, начальству про картину они ничего не накапали — как видно, она даже стукачей прониимает. Но потом владелец шедевра «подзашел» на каком-то деле и снова загремел в ла-

герь. Срок он получили небольшой — дело шло о краже у какого-то фраера старых валенок — и из тюрьмы прислал своему приятелю, нынешнему хозяину картины, ксиву с наказом беречь ее до его освобождения. С тех пор тот, выполняя этот наказ, и таскает с собой произведение покойного блатного...

— А как же ты его картину на кон сегодня поставил? — задал я резонный вопрос. Парень смущенно поскреб затылок. Тут он, конечно, малость ссучился, крайность вынудила. Но больше этого не повторится, свободы не видать!

Возвращаясь на свою электростанцию, я думал, конечно, об удивительном художнике и главном творении его мученической жизни. По привычке философствовать, когда это позволяло время и относительная сытость, я пытался сделать обобщающие выводы и из этого редкого феномена. Толстой в своем «Воскресении» утверждает, что арестантами становятся большей частью люди, которые по своим моральным качествам либо ниже, либо выше обычного уровня. Разумеется, распространение выводов, сделанных на материале царской тюрьмы девятнадцатого века, на заключенных сталинско-бериевских лагерей — дело опасное. Оно усложняется еще и тем, что в одном и том же человеке могут быть смешаны качества уголовника и одержимого высокой идеей страстотерпца. Кроме того, автор «Воскресения» вывел свое заключение, изучая с одной стороны воров и мошенников, а с другой — политических и религиозных сектантов. Но и в современном уголовном мире я знал не одного такого, как Бацилла.

Конечно, надо быть темным блатным, чтобы верить, что этот самоучка создал произведение, имеющее самостоятельную художественную или хотя бы публицистическую ценность. Но тем, что принято называть «человеческим документом», аллегория Бациллы, безусловно, является. Только вряд ли этот документ на фанере сохранится сколько-нибудь долго. Нет никакой гарантии, что о картине со столь неприемлемой тенденцией не дознается местный опер или поселковый комендант — и тогда она будет немедленно уничтожена. Еще вероятнее, что ненадежный хранитель творения Бациллы проиграет его в «буру» или тоже «подзайдет» на попытке стащить что-нибудь после очередного проигрыша. А попав в равнодушные руки, картина-символ превратится просто в хорошо прогнун-

тованную фанерку, годящуюся в качестве покрышки для бадейки с водой или подложки для новой картины на более веселый сюжет. Теперь в повальную моду входили копии всех масштабов с шишкинских «медведей на лесозаготовке» и перовских «Охотников на привале». Лазурные же озера с лебедями и замками никогда из моды выходить и не думали.

Я брел медленно, полагая, что если за мое отсутствие и случился какой-нибудь вызов на линию, то по этому вызову уже отправился мой напарник. Идти было довольно далеко. Рудничный поселок, как и большинство рабочих поселков на Колыме, вытянулся вдоль длинного неширокого распадка. За ним, через небольшой интервал, расположился лагерь. А в самом конце распадка, у подножья замыкающей его сопки, приутилась наша дизельная электростанция — длинное строение с грибами вытяжных труб на крыше. Ровное, наводящее сон гудение машин, днем слышное только вблизи от них, сейчас разносилось на целые километры вокруг.

Стояло обычное для этих мест холодное полярное лето. Время белых ночей уже прошло, но даже в такие утра, как сегодня, когда небо было затянуто довольно плотными и низкими облаками, светало еще очень рано. Когда я подошел к электростанции, сопки, придвинувшиеся к ней совсем вплотную, были видны уже вполне явственно, хотя и в совсем иной цветности, чем при дневном свете. Их серовато-бурые, совершенно лишенные растительности склоны казались сейчас почти черными. Только местами, где проходили широкие ржавые полосы промоин, эти склоны отсвечивали красным. Но только чуть-чуть и то на ближних сопках. Дальние терялись еще в мглистой тьме — в этой стороне был север.

Я ежедневно видел этот угрюмый ландшафт, очень часто даже в такое время суток, и давно к нему привык. Тут такие виды повсюду. Но сегодня меня неожиданно поразило его сходство с тем, который покойный художник взял фоном для своей жестокой картины. И я остановился, вглядываясь в горный пейзаж впереди, знакомо реальный и в то же время почти призрачный в утреннем тумане. Заработало навеянное впечатлением от этой картины воображение, расставившее на окрестных склонах множество крестов с распятыми на них людь-



ми. К тому же под многими из этих склонов протянулись бесчисленные лагерные кладбища. Только тех мертвецов, что лежат на кладбище вон под той сопкой, хватило бы, наверно, чтобы уставить крестами распятий, символизирующих их судьбу, все ближние горы до самого горизонта. А там новые кладбища и новые рощи крестов. И так во все стороны необъятного Колымо-Индибирского района «особого назначения». Действие мрачной аллегии Бациллы, полупризрачного пейзажа впереди и усталости, особенно сильной в такие вот предутренние часы, было причиной того, что реальное и воображаемое оказались почти неразделимыми в моем представлении. Я почти физически видел бесконечный лес распятий, теряющихся в мрачной дали.

Нельзя сказать, чтобы я был не в состоянии прогнать видение. Но человеку свойственно играть в переплетение действительного и воображаемого. Я подправлял и видоизменял возникшую передо мной картину, благо для этого требовалось так же мало усилий, как это часто представляется во сне.

— Ты что, падло, уснул на ходу, что ли? — Ко мне с монтерскими крючками за спиной приближался мой напарник по дежурству, вышедший из двери монтерской, небольшой пристройки к полусарайному строению электростанции. Это был хороший линейный монтер и неплохой товарищ, но человек, страдающий избытком того, что принято называть ответственностью. Он вечно боялся недостаточно быстро поспеть на вызов или устранить повреждение недостаточно надежно и хорошо. Как будто за это он получал бог весть какое вознаграждение, а не полуголодную «птюху». Вот и сейчас занудливый мужик накинулся на меня с бранью: — Ты шакалил на поселке или припух? Целый час жду..

— В чем дело? — спросил я, проводя по глазам рукой, как будто и в самом деле спал.

Оказалось — вызов с рудника, обрыв на линии к террикону. На руднике есть свой монтер, но один он с аварией справиться не может.

— Айда, пошли быстрее! — И усердный ревнитель начальных интересов энергично зашагал в том направлении, откуда я сейчас пришел. Рудник расположился на склоне

сопки, замыкавшей распадок с другой стороны. Я с трудом поспевал за добросовестным работягой, всё еще не вполне освободившись от охватившего меня наваждения. Но теперь оно ничем более не поддерживалось и вскоре совсем исчезло. По мере того как становилось светлей, проходила и сонливость. Сопки в этой стороне не громоздились так хаотично и высоко, как за электростанцией, и казались скорее просто унылыми, чем мрачными. Такими же унылыми были и тянувшиеся вдоль дороги невысокие горные увалы. Местность принимала свой обычный, прозаический вид. Обыденными становились и мысли.

Обрыв проводов на линии к террикону — авария довольно неприятная. Опоры для них там не врыты в грунт, как следовало бы, — пожалели взрывчатки для ям, — а просто поставлены «на попу» и привалены невысокими кучами камней. Поэтому они часто падают и от ветра, и под тяжестью взбравшегося на них человека. Линейщикам нередко приходится проявлять почти циркаческую сноровку, чтобы не оказаться под упавшим столбом. Хорошо еще, что опоры падают не очень быстро — мешают натянутые на них провода.

Постепенно обычные лагерные мысли вытеснили из головы всё остальное. А дадут ли сегодня на завтрак в лагере обещанные вчера полселетки? Дизелисты, те получают эти полселетки почти каждый день. И хлеба на целых двести грамм больше, чем монтеры. Жаль, что я не могу быть машинистом дизеля, как один из заключенных инженеров здешнего лагеря. Тот, впрочем, в прошлом был конструктором двигателей именно этого типа...

Пока человек жив, проза жизни неизменно берет верх в его сознании над самыми убедительными выводами пессимистической философии. В том числе и теми, которые выражены изобразительными средствами мрачного искусства. И это, наверно, справедливо. «Пусть мертвые думают о мертвом».

## Классики литературы и лагерная самодеятельность

Осень 1939 года в лагере Галаганнах была отмечена оживлением художественной самодеятельности заключенных. На протяжении предыдущих трех лет эта самодеятельность влачила тут весьма жалкое существование, хотя и в эти годы никто ее не отменял. По-прежнему любой заключенный, если он обладал желанием и хотя бы небольшим умением играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, петь или исполнять роли в любительских спектаклях, мог записаться в соответствующий кружок при местной культурно-воспитательной части (КВЧ). Любой, если он был «бытовиком», т. е. отбывал срок не за политические преступления. В знаменитом тридцать седьмом году репрессированные «враги народа» были лишены права заниматься в лагере всеми видами самодеятельного искусства и изгнаны из любительских кружков с решительностью, характерной для органов НКВД ежовского периода. Позволить демонстрировать свои таланты даже с лагерной сцены людям, преданным анафеме со всех государственных и общественных амвонов, было сочтено неapolитичным. Поэтому не делалось исключений и для тех, кто до ареста носил всякие там звания «заслуженных» и «народных» (в Галаганнахе были и такие). Обойдемся, мол, и без них.

И обходились. И без бывших титулованных артистов, и без рядовых профессионалов сцены и эстрады, и без сколько-нибудь культурных любителей. Другое дело, как обходились. Драматический кружок после исключения из него «врагов народа» распался почти сразу, так как состоял едва ли не из одних только этих «врагов». Струнный и хоровой кружки числились в действующих, но лишь чуть дышали. На двух домрах и

трех балалайках бренчали несколько мелких воров. На трехрядной гармонии пиликал простенькие вещи деревенский кооператор-растратчик. Руководил музыкальным кружком бывший эстрадник, сидевший за растление малолетней. Он неплохо играл на гитаре, но не обладал ни дирижерским, ни организаторским талантами и авторитетом в своем кружке не пользовался. Еще меньшим был авторитет руководителя хорового кружка, хотя он был настоящим хормейстером с консерваторским образованием. Но беда хормейстера заключалась в том, что свой срок он отбывал за педерастию, а его хор состоял исключительно из молодых уголовниц, блатнячек и проституток. Народ это органически не способный к дисциплине, скандальный и насмешливый. Во время занятий кружка озорные бабы не столько пели, сколько состязались в издевательских выходках над своим руководителем. Несколько молодых парней, вступивших в него только чтобы быть поближе к девкам, были того же поля ягоды, да и петь почти не умели. Мужики же постарше и посolidнее записываться в «хор блатных и нищих», как он именовался в лагере, считали для себя зазорным.

Случалось, что бывшая профессиональная пианистка или знаменитый в прошлом баянист, стосковавшиеся по своим инструментам, просили разрешения поиграть на них у начальницы КВЧ, младшего сержанта Пантелеевой. И баян, и пианино в здешнем КВЧ были. Но та, хотя бабой она была не злой и не глупой, отказывала в разрешении, так как привыкла принимать распоряжения свыше всерьез: «Не могу. Контрреволюционному (ка-эр) контингенту доверять инструменты запрещено...» До приезда на Колыму этой весной Пантелеева служила старшей надзирательницей в женском отделении одной из городских тюрем на материке. Но это было отделение для уголовниц. Политические же сидели в «спецкорпусе», с окнами, забранными железными козырьками, и каменной оградой, надстроенной дополнительным ограждением из колючей проволоки. Поэтому даже работники тюрьмы, не работавшие в спецкорпусе, видели страшных «врагов народа» только изредка и издали.

Колыма соблазнила незамужнюю тюремщицу не столько перспективой быстрой карьеры, и даже не длинным рублем,

сколько возможностью выйти замуж. На материке ходили слухи, что тут нарасхват даже такие как она, лишённые всякой привлекательности женщины. Поэтому Пантелеева стала одной из тех, кто откликнулся на призыв комсомолки Сватогуровой, убедившей не старых еще, но одиноких женщин и девушек-комсомолок последовать ее примеру и переселиться на Дальний Восток, где сотни тысяч здоровых, молодых мужчин изнывали без подруг жизни. В числе немногих, оказавшихся решительнее подавляющего большинства «невест», осевших в Хабаровском и Приморском краях, Пантелеева добралась до самого Магадана. Тут работников мест заключения принимали особенно охотно. Узнав, что новоприбывшая была одним из общественных организаторов надзирательского клуба в своей тюрьме и почти закончила семилетку, ей в управлении кадров Дальстроя предложили должность начальника КВЧ в сельхозлаге Галаганнах. Точнее говоря, назначили, так как младший сержант проходила по линии военизированных кадров. Она немного сомневалась, справится ли? Но ее уверили, что большинство занимающих должности начальников лагерных КВЧ — люди, не имеющие никакого образования. Теперь эта должность почти номинальная даже в лагерях легкого труда, как тот же Галаганнах. Должность — «не бей лежачего», как говорят блатные...

По прибытии на место Пантелеева в этом убедилась. После того как предыдущий начальник галаганского КВЧ был переведен на должность помполита в местную ВОХР, эта КВЧ несколько месяцев оставалась вообще без начальника. И ничего. Новый начальник приняла от эстрадника-растлителя, числящегося на должности освобожденного от других работ «воспитателя», музыкальные инструменты, кое-какие ноты, брошюры с пьесами, написанными специально для лагеря, журнал работы КВЧ и вступила в должность, которая оказалась чистейшей воды синекурой. Летом, в сезон полевых работ, здешняя КВЧ вообще не работала, а осенью начиналась вялая подготовка к праздничному концерту. Два раза в неделю брэнчали струнники, и столько же раз голосили хористы. В эти дни их надо было послушать с полчаса вечером, только и дела. Начальник КВЧ поправилась, стала как будто менее

невзрачной, почти щеголевато носила гимнастерку с одним треугольником в петлице, синюю форменную юбку и начищенные хромовые сапоги. Вскоре она вышла замуж за помощника командира местного отряда ВОХР. В отличие от большинства других мест на Колыме, здесь было немало женщин, желающих выйти замуж. Но как бывшие заключенные, они не годились в жены работнику вооруженной охраны, да еще и члену партии. Другое дело — Пантелеева, имеющая воинское звание, много лет состоящая в комсомоле и готовящаяся автоматически перейти из него в партию.

Замужество отвлекло ее от тягостной поначалу скуки служебного безделья. Постепенно она начала входить во вкус работы, на которой не надо было ничего делать. Но тут произошло событие, сразу же сделавшее ее работу полной хлопот, забот и ответственности. Из Главного лагерного управления пришло циркулярное письмо, извещающее всех, что запрет на участие заключенных категории «ка-эр» в работе лагерных самодеятельных кружков отныне снят. Вероятно это было отражением мартовского XVIII съезда партии, признавшего, хотя и глухо, что партийными и особенно чекистскими органами в деле репрессий и борьбы с внутренней контрреволюцией были допущены некоторые перегибы. Еще раньше канул в небытие вслед за своими бесчисленными жертвами «злой карлик» Ежов. Его место занял человек в интеллигентских очках и воротничке, с интеллигентным лицом, Лаврентий Павлович Берия, новый ближайший «друг и соратник» Сталина. Пересекая моря и горы, до Галаганнаха доходили слухи, что где-то кое-кого из невинно осужденных начали уже освобождать с полной реабилитацией и восстановлением в правах. Казалось, что началось то, во что значительная часть «контриков» тогда еще верила — пересмотр дел оклеветанных, оклеветавших самих себя или просто загнанных в лагеря без суда и следствия. Отмена запрета для политических выступать с лагерной сцены служила косвенным доказательством того, что слухи о начавшемся в недрах НКВД «движении вспять» — не просто слухи. Многие приободрились, особенно те, кто в прошлом имел касательство к театральному и эстраднему искусству или был артистом-любителем. Таких на Галаганнахе было очень

много, так как он чуть не на половину состоял из интеллигентов. Это был лагерь легкого труда (по лагерным понятиям, конечно), «лагерь-курорт», в который негодных для работы на приисках и рудниках привозили либо прямо с материка, либо после того, как заключенный уже успел побывать на здешнем «основном производстве» и там «дойти». А с людьми нефизического труда это происходило особенно часто. Женщин же на основное производство вообще не отправляли, и в сельскохозяйственных лагерях они составляли едва ли не большую часть рабочей силы.

Как только было объявлено, что записываться в кружки самодеятельности можно без оглядки на статью и срок, контрики завалили начальницу КВЧ заявлениями. Она растерялась и почти испугалась. Предстояло иметь дело с теми самыми врагами народа, о которых она слышала на бесчисленных собраниях и митингах, читала в газетах и знала, что нет той мерзости, на которую не были бы способны эти люди. Правда, здесь они не производили такого впечатления. Безропотно трудились в лесу, на пристани, на совхозных полях и фермах, летом по четырнадцать-шестнадцать часов в день. Не воровали, не играли в карты, не сквернословили. И всё же, судя по их приговорам, они были «волками в овечьей шкуре». Среди подавших ей заявления были какие-то страшные вредители в области театрального дела — «мейерхольдовцы», крамольные поэтессы и писатели, режиссеры, протаскивавшие через театр и кино чуждые советским людям идеи. Всё это большие грамотеи, опытнейшие специалисты в своем деле. Что если они и тут вздумают заниматься привычным вредительством! Тем более что работу КВЧ надо было переводить теперь на более высокую ступень. Не поручишь же бывшей оперной певице петь частушки, а знаменитой пианистке играть «барыню»! Необходимо возродить драм-кружок, выбирать и ставить пьесы. Сможет ли закончившая всего лишь шесть с половиной классов бывшая надзирательница так усмотреть за опытными вредителями, чтобы они ее как-нибудь не подвели?

Едва ли не худшее состояло в том, что разрешению участвовать в художественной самодеятельности политическим

преступникам обрадовались не только они сами, но и лагерь в целом, и вольняшки в поселке, и надзиратели, и даже сам начальник лагеря, старый многоопытный служака по прозвищу «Мордвин». Он работал на Колыме со времени организации здесь «треста строительства Дальнего Севера» и в будущем году собирался уже на пенсию.

Циркуляр ГУЛАГа начлаг понял в том смысле, что возрождается старая, доежовская традиция: лагерная самодеятельность обслуживает не только лагерь, но и вольный поселок. В здешнем поселке нет даже кино, а клуб — еще более затхлое заведение, чем даже галаганская КВЧ в последние годы. Поэтому Пантелеева получила недвусмысленное предписание срочно оживить работу этого КВЧ, перестроить его программу в соответствии с новыми возможностями и за оставшиеся три-четыре недели подготовить концерт к 12-й годовщине Октября. Как и в прошлые годы, этот концерт надо сначала поставить в лагере, что будет как бы его генеральной репетицией, а потом уже в клубе вольных. Таково не только общее мнение, но и мнение партийной организации совхоза, в бюро которой входил начальник лагеря.

Начальница КВЧ схватилась за голову. Сделать всё это с контингентом, требующим неусыпного контроля со стороны, так сказать, политической бдительности! Это не блатнячки, которые только и могут, что устроить в помещении КВЧ драку из-за любовника или уединиться с женщиной в чулане. Кружки, в сущности, надо организовывать заново, репертуар подбирать новый. На кого она может положиться в этих делах? Неужели на людей, признанных опасными для советского народа и его государства?

Начлаг усмехался в седые усы. Именно на них! Даже по отношению к ним принцип «доверяй, но проверяй» остается в силе. Партия и Правительство потому и доверяют работникам мест заключения не только карательную, но и воспитательную работу среди преступников, что надеются на их способность справиться с любыми трудностями. Да и вообще страхи товарища Пантелеевой перед возможным вредительством даже со стороны осужденных за этот вид контрреволюции кажутся ему совершенно лишены оснований. В чем может



выразиться такое вредительство? В срыве какого-нибудь номера? Но это слишком мелко, и вред будет принесен только товарищам самого вредителя, явившихся чтобы этот номер прослушать или посмотреть. В каком-нибудь выпаде со сцены? Но всё, что с нее произносится, поется или играется, должно быть или прямо рекомендовано Главным управлением, или напечатано в советских изданиях. Никакая отсебятина на лагерной сцене не допускается. К подбору правильного репертуара и наблюдению за ним и сводится в сущности вся работа начальника КВЧ. Действуйте смело, товарищ заместитель начлага по культурно-воспитательной части!

Ободренная наставлениями опытного лагработника, Пантелеева начала действовать. Враги народа оказались совсем не такими страшными, как их малевали. Почти все они были очень знающими, неглупыми и вежливыми людьми, дающими своей начальнице толковые и, по-видимому, вполне благожелательные советы. Ни при какой предвзятости в этих советах своих новых помощников и консультантов она не могла усмотреть даже намек на попытку устроить ей какой-нибудь подвох. Всё было так, как будто эти люди были не наказанными за контрреволюционные деяния заключенными, а обычными советскими гражданами, относящимися к делу перевоспитания сбившихся с пути товарищей с сочувствием и пониманием. И хотя «кавэчиха», как называли ее блатные, всё еще предпочла бы иметь дело с привычным ей «социально близким» уголовным элементом, она начинала привыкать и к общению с элементом «чуждым».

Особенно полезен своими советами оказался назначенный руководителем вновь создаваемого драматического кружка бывший кинорежиссер, до ареста довольно широко известный в Союзе. Режиссер сидел за искажение в своих исторических картинах образа Ленина. По этим картинам выходило, что вождь пролетарской революции относился к выявленным впоследствии ее врагам, таким как Бухарин, Рыков и прочие, как к своим ближайшим соратникам и друзьям.

Среди контриков нашлось не менее двух десятков отличных гитаристов, домристов и балалаечников. Вместе с прежними они составили целый оркестр народных инструментов.

Руководил им «заслуженный» в прошлом дирижер всесоюзно известного струнного ансамбля. Хормейстер-гомосексуалист был оставлен на своем месте, зато самым радикальным образом была реорганизована его «капелла».

На организационную возню ушло добрых две недели, и на собственно подготовку к предстоящему концерту оставалось очень мало времени. Помещение КВЧ состояло из не очень большой бревенчатой избы, в которой выгорожены были только темные сени и небольшая кладовая. Поэтому музыкальному и хоровому кружкам приходилось заниматься, чередуясь по дням. А нужно было еще готовить и сольные номера баяниста, частушечниц, плясунов.

И хотя всё это делалось теперь под руководством опытных мастеров своего дела в основном хорошими и дисциплинированными исполнителями, полный рот хлопот был и у начальницы КВЧ. Надо было думать о реквизите — не выпустишь же людей на сцену в драных ватных штанах; о ремонте сцены; улаживать вопрос о переводе участников концерта из дальних командировок на центральную, из ночных смен в дневные; выручать артистов, погоревших на любви. Вчера, например, дежурный надзиратель обнаружил на чердачке барака КВЧ исполнителей дуэта Карася и Одарки. Это были бывший студент консерватории, работавший в лагере парикмахером, и бывшая статистка при оперном театре — телятница на молочной ферме. С трудом удалось уговорить дежурного, чтобы тот не отвел провинившихся в карцер немедленно, но рапорт начальнику лагеря он все-таки накатал. Начальница КВЧ одновременно подала другой рапорт, из которого следовало, что если Карась и Одарка будут водворены в изолятор на полагающиеся им трое суток, то отработать их выступление уже не удастся. Мордвин решил вопрос со свойственной ему мудростью. Наказание преступников он отложил на время после концерта, но обещал им полную амнистию, если они будут выступать хорошо.

А вот болезней не мог ни отменить, ни отложить даже начлаг. Вчера заболела солистка хора, исполнительница «волжских страданий». Диагноз — воспаление легких. Бывшая гарнизонная львица, полковничья жена, а ныне свиначка, про-

студилась, провалившись на тонком еще льду реки. Она гналась по нему за сбежавшим поросенком. Еще более досадным было то, что молодой цыган, исполнитель цыганской пляски, покалечился, работая на разборке старого барака. Будет ковылять с палкой еще, по крайней мере, дней десять, а концерт надо сдавать через каких-нибудь четыре дня. Сидя за своим столом под портретом нового наркома НКВД и рассеянно слушая репетицию оркестра, начальница КВЧ думала, чем бы ей затянуть образовавшуюся брешь? Придумать, однако, она ничего не могла, слишком мало оставалось времени. Может быть, что-нибудь толковое, по своему обыкновению, подсказал бы ее неофициальный «худрук», бывший киношник. Но и он лежал в больнице.

— Разрешите обратиться, гражданин начальник КВЧ! — Перед ней стоял молодой заключенный в сильно изодранной и во многих местах прожженной телогрейке и таких же ватных штанах — верный признак, что он работает в лесу.

Пантелеева, впрочем, знала это и так. Это был заключенный Скворцов, бытовик, в начале осени отправленный на штрафную командировку за учиненную им очередную пакость. Работая писарем в сельхозе, он просто так, шутки ради, подсунул на подпись главному полеводу пачку нарядов, среди которых были такие, как «разгон дыма по полю», «откатка солнца вручную» и прочее в таком роде, старые лагерные штучки-дрючки. Агроном подал на хулигана рапорт, и тот по приказу начальника лагеря, не в первый раз уже, загремел на штрафную. Скворцов был самым грамотным из здешних бытовиков и сидел по легкой статье — «мелкое мошенничество». Бывший студент литфака попался на подделывании магазинных чеков. Свой небольшой срок он мог бы целиком отбыть на блатных должностях, а вместо этого почти всё время вкалывал на общих, а то и на штрафных работах, как вот теперь. И всё из-за своей непостижимой склонности ко всякого рода злым шуткам. Самыми безобидными из них были, пожалуй, те, которые он проделывал со спящими товарищами по бараку. Всякие «гусары в нос» и «велосипеды» при помощи вложенной между пальцами ног и подожженной полоски бумаги особой новостью тут, конечно, не были. Но ему удавалось изоб-

ретать иногда и новые трюки. Скворцов ставил, например, на живот спящему его же лагерную «чуню». Притом делал это так, что тот просыпался и некоторое время недоуменно разглядывал грязный, тяжелый башмак, а затем с силой запускал им в стоящего невдалеке и ухмыляющегося шутника. И тут же вскрикивал, хватаясь за причинное место, к которому этот башмак был привязан недлинной веревочкой. Судя по его рассказам, бывший студент таким же был и на воле. Он то вывешивал в коридоре студенческого общежития объявление-приказ, обязывающий всех жильцов явиться ранним утром выходного дня на никому ненужный пустырь для его расчистки, то звонил на квартиру доценту-гуманитария и от имени дежурного по АТС рекомендовал ему поставить телефонный аппарат в таз с водой: надвигается-де необычайно сильная гроза и аппарату угрожает опасность. Да и чеки он подделывал не столько из корыстолюбия, сколько в порядке шутки над продавцами и кассирами. Насколько было известно об этом странном преступнике, он был не дурак и очень образованный парень.

Младший сержант глядела на Скворцова подозрительно. Зачем он пожаловал сюда? Если записываться в один из кружков, то почему не сделал этого раньше? Впрочем, может быть, он самодеятельный актер и хочет вступить в драматический кружок. А еще вероятнее, что этот опасный тип хочет как-нибудь затемнить, чтобы выйти из штрафной бригады. Эта бригада занималась осенним сплавом леса, но в связи с ледоставом привезена сюда, чтобы отправиться на лесоповал. Возможно, Скворцов будет сейчас просить начальницу КВЧ оставить его в главном лагере. Она заранее решила, что делать этого не будет, хоть он и «социально близкий».

Однако оказалось, что Скворцов явился с предложением выступить на предстоящем концерте с чтением стихов Маяковского. Он сказал, что имеет опыт таких выступлений со сцены студенческого клуба. У них на факультете художественное чтение всячески поощрялось как почти необходимое для будущих преподавателей литературы искусство. И что он, якобы, в этом искусстве очень преуспел и готов это сейчас продемонстрировать. Большую часть из написанного «Владим Вла-

димычем» он знает на память, а для освежения того, что не вошло в этот фонд, ему достаточно какого-нибудь часа. Так что времени на подготовку ему почти не нужно. Не нужно и перевода с лесной командировки, на которую он отправляется завтра утром. Достаточно, чтобы гражданин начальник отозвала его в день концерта на один вечер. Однако необходимо, чтобы стихи для прочтения на этом концерте она отобрала и утвердила уже сегодня в течение оставшегося до поверки получаса. После этой поверки их, штрафников, из барака уже не выпускают.

Предложение застало начальницу врасплох, хотя и пришлось очень кстати. Советчик-кинорежиссер уже при составлении программы концерта предлагал ей включить в неё художественное чтение. Оно, мол, будет способствовать разнообразию программы и может усилить политико-воспитательную направленность концерта. С этим она согласилась, но предложение отвергла. Стихи бывают либо про любовь, либо про революцию и строительство коммунизма. О любви в лагере лучше помолчать, за нее тут в кондей сажают. А что касается революционных стихов, то кто их будет читать? Всё те же здешние интеллигенты с «ка-эр» статьями? Но гулаговская инструкция, допускающая теперь в самодеятельность заключенных этой категории, тем не менее, не рекомендует доверять им положительные роли в советских пьесах. Значит, и поручать читать стихи про революцию тоже нельзя. «Исказитель образа вождя» только вздохнул и пробормотал что-то про то, что догматическое мышление тоже имеет свою логику.

Теперь положение менялось. Свои услуги в качестве чтеца стихов пролетарского поэта предлагал «социально близкий» заключенный. Правду говоря, сама Пантелеева эти стихи недолюбливала и понимала их плохо. В школе она так и не смогла заучить обязательного в программе по литературе «Паспорта», а уж такие вещи, как «Облако в штанах», не вызывали у нее ничего кроме скуки и недоумения. Но она, конечно, знала, что сам Сталин считает Маяковского первым из революционных поэтов, а строфы из его стихов постоянно употребляются как лозунги. Только вот кто выберет, что из этих стихов следовало бы прочесть со здешней сцены и по

какой книжке? Судя по старым спискам книг в лагерной библиотеке, среди них было и «Избранное» Маяковского. Но его давно, видимо, раскурили на сигарки. А тут еще этот хлюст предлагает решить вопрос немедленно. Может, опять что-нибудь затевает и только врет, что умеет хорошо читать стихи? Эх, жаль, что нет рядом ее консультанта по таким вопросам! Тот сразу бы разобрал, что к чему. Но ничего не поделаешь, приходится обходиться без него.

— А ну, прочитай что-нибудь из Маяковского, если вправду помнишь... А вы отдохните! — обратилась начальница к музыкантам.

Те перестали играть, но продолжали шушукаться и ухмыляться, уставившись на Скворцова. До сих пор было известно, что у него есть только один талант — подстраивать окружающим самые неожиданные каверзы.

— Уважаемые товарищи потомки...

Шушуканье сразу смолкло. Обращение прозвучало неожиданно громко и так, будто оно было произнесено с высокой трибуны. Да и сам Скворцов, парень очень немалого роста, как бы еще вырос и, несмотря на свое обшарпанное одеяние, стал похож на Маяковского с некоторых из его фотографий. Может быть потому, что он стоял посреди комнаты слегка расставив ноги, заложив руки за спину и хмуро, чуть исподлобья, глядя куда-то сквозь окружающих.

Роясь в сегодняшнем, окаменевшем г..  
И изучая наших лет потемки,  
Возможно, вы спросите и обо мне...

Слово «дерьмо», напечатанное во всех изданиях произведений Маяковского, отец заменил словом более грубым, но точно укладывающимся в размеры и рифму строфы. Вообще исполнение бывшего литфаковца отличала та особая манера чтения, которую разработал для своих стихотворений сам покойный поэт. Его голос звучал то иронично и зло:

Невысокая честь из-за таких роз  
Монументом на площади выситься.  
В сквере, где харкает туберкулез,  
Где б... с хулиганом, да сифилис... —

то горделиво-уверенно: «Мой стих громаду лет прорвет...», то приподнято-торжественно: «Явившись в ЦКК грядущих светлых лет...». Когда Скворцов кончил чтение «Во весь голос», кое-кто из оркестрантов даже заплодировал. Что он не халтурщик и не темнила, а отличный исполнитель стихов Маяковского, поняла даже начальница КВЧ. Не было у него, по-видимому, и никаких задних мыслей. Даже не просит, чтобы его оставили на центральной командировке хотя бы до дня концерта. Но как быть с выбором стихотворений, не имея перед собой их печатного издания? Доверяться только памяти исполнителя она не имеет права, тем более такого, который пользуется репутацией заведомого пакостника. Ничего, кажется, не выйдет, по крайней мере на этот раз... Но Скворцов, оказывается, предусмотрел и это затруднение. Из-за пазухи своей выдавшей виды телогрейки он достал небольшой сильно помятый томик со сбитыми углами:

— Вот, гражданин начальник! С материка через все шмоны и пересылки провез... — Пантелеева прочла на титульном листе протянутой книжки: «В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений. Том первый». Заглянула она и на последнюю страницу: Допущено к печати... Зарегистрировано Главлитом за номером... Всё было в порядке. Только вот оглавление пестрело какими-то чудными названиями: «Я», «Мы», «Шумики, шумы и шумищи», «Адище»... Что из этого можно выбрать?

— А вот что, — сказал Скворцов, показывая начальнице одно из названий, стоящих в оглавлении, — «Гимн судье».

— И такое у Маяковского есть? — удивилась та.

По-видимому, это было то, что нужно. Похвала работникам советского правосудия, написанная великим поэтом и прочитанная участником художественной самодеятельности заключенных, приходилась тем более кстати, что в Галаганнахе гостил сейчас главный на Колыме лагерный прокурор. Вернее, торчал здесь, так как не мог выбраться обратно в свой Магадан. Он приехал сюда для расследования одного кляузного дела, изнасилования группой лагерников-блатных жены директора дальнего рыбсовхоза. Расследование было закончено, но прокурор пропустил последнюю баржу, ухо-

дившую отсюда в Ногаево, а снега, чтобы уехать на собачьих нартах, было еще мало. На предстоящем концерте в лагере он будет непременно. Но прежде чем вписать «Гимн» в программу этого концерта, она должна его прочесть или прослушать.

От вахты доносились звуки ударов по подвешенному рельсу.

— Разрешите, гражданин начальник, я возьму книгу, — сказал Скворцов, протягивая за ней руку. — Мне опаздывать на поверку нельзя, в кондее ночевать придется...

— А ты мне ее оставь, — попросила начальница.

Скворцов ответил, что охотно сделал бы это, но тогда он не сможет подучить стихи, которые он хотел бы прочесть со сцены. В лес же его отправят завтра с «самого ранья», как говорят в лагере. Да и чего она опасается? Ничего такого, чего нельзя было бы читать перед кем угодно в Союзе, великий пролетарский поэт написать не мог. И если гражданин начальник КВЧ утвердит «Гимн судье» для чтения на концерте и вызовет его сюда для исполнения этого стихотворения, то книгу с собой он, конечно, захватит. И по ней она сможет убедиться, что от текста этой книги Скворцов не отступил и на запятую. Что за дурак, чтобы зарабатывать себе еще и пятьдесят восьмую статью?

Всё это звучало весьма убедительно.

— Ладно! — махнула рукой начальница, вычеркивая вступление цыгана-плясуна и вписывая вместо него чтение стихотворения В.В. Маяковского. — Только не забудь принести с собой книгу!

Специально выделенных помещений для выступлений лагерной самодеятельности, показа кинокартин, когда приезжала кинопередвижка, общих собраний заключенных и прочих общественных мероприятий в лагерях, как правило, не было. Их заменяли столовые, которые, за исключением «тош-ниловок» самых захудалых лагерьков, были оборудованы сценами. Есть эти нехитрые дощатые сооружения не просили и почти не отнимали у столового «зала» его полезной площади. Столы и скамьи для принятия пищи могли стоять и на возвышении сцены. Так было и в лагере Галаганнах.



В дни, когда устраивались спектакли или приезжало кино, эти столы громоздили друг на друга в задней части зала, выносили их на кухню и даже во двор. И всё равно места для всех желающих побывать на редком здесь развлечении не хватало. Даже при условии, что скамьи ставили только в двух-трех первых рядах для начальства, надзирателей с женами, приглашенных с поселка и кое-кого из главных придурков. Заключенная публика занимала места в «партере», стоя на ногах и тем возрождая первоначальное значение этого слова. «Пар terra» — место для стояния на земле.

В день концерта «партер» был набит до отказа задолго до его начала. Заполнены были и скамьи. Только пять стульев, поставленные в середине первого ряда, — всё наличие здесь этого вида мебели — некоторое время пустовали и после того, как концерт следовало бы уже и начать. Это выдерживало приличествующее его рангу опоздание главное здешнее начальство: начальник лагеря и начальник совхоза. С ними явился и магаданский прокурор. Ему, как почетному гостю, было предоставлено место в центре. По одну сторону от прокурора уселся начальник лагеря, по другую его заместитель по культурно-воспитательной части. Директор совхоза уступил ей это место как даме и хозяйке сегодняшнего вечера. Пятый стул занял местный оперуполномоченный.

Из-за занавеса из крашеной мешковины с нарисованной на нем лирой вынырнул неестественно бодрый старичок — ведущий концерта.

«Искусство есть поверхность, — утверждал Оскар Уайльд, — и кто проникает под поверхность, тот отвечает за себя сам». Особенно верно это утверждение по отношению к театральному искусству. Благодушно настроенная публика в зале не хотела замечать, что мешковина, из которой сшита фрачная пара конференсье, окрашена неровно; что серости бязевой исподней рубахи, изображающей его пластрон, не может скрыть даже обильно добавленный в крахмал зубной порошок, а дряблости щек старика — толстый стой белил и румян. «Партер» встретил ведущего аплодисментами. Это был испытанный «мастер хохмы», только этим летом привезенный из Магадана, где он несколько лет работал в тамошнем «крепостном» театре.

Язык — кормилец профессиональный шутов, но он же и их враг в ещё большей степени, чем у всех других людей. Однажды, когда магаданский Дом культуры давал представление для бойцов и командиров местной вооруженной охраны, старый конференсье допустил по отношению к ним оскорбительный выпад. Оговорившись при каком-то из своих выходов, он обратился к публике со словом «товарищи». Из зала немедленно последовала реплика: «Гусь свинье не товарищ!» Но забалованный вниманием публики, из-за которого ему прощались многое, артист позволил себе обидеться и ответить на хамский выкрик остротой, облетевшей чуть не всю Колыму. Он умолк на полуслове, несколько секунд растерянно постоял у рампы, а потом со словами: «Что ж, придется улететь...» — хлопывая себя ладонями по бедрам и погогатывая, уплыл за кулисы. Политическое руководство ВОХР потребовало удаления из дальстроевской столицы дерзкого острослова. Не помогла ни его популярность, ни бытовая статья, ни почти уже закончившийся срок. Теперь незадачливый хохмач дневал в одном из галаганских барачков.

Объявив принятым в таких случаях неестественно напряженным голосом, что силами кружков самодеятельности заключенных галаганского ОЛПа сейчас будет дан большой концерт, конференсье опасливо оглянулся на закрытый занавес и доверительно добавил, уже «лично от себя», что за качество отдельных номеров предстоящего концерта он бы не поручился. Поэтому при исполнении этих номеров не исключены случаи засыпания отдельных слушателей. Таковых он просил не храпеть слишком громко, чтобы не мешать слушать соседям и не нервировать незадачливых исполнителей. Шутка была не ахти какая, но невзыскательная публика похлопала и такой.

Раздвинулся занавес, за которым на крохотной сцене тесно построился самодеятельный хор. Он пропел славословие Москве: «Могучая, кипучая, никем непобедимая...» За ним «Катюшу», песню про трех танкистов, «Если завтра война». Это была обязательная, патриотическая часть хоровой программы. Но хористы подготовили вещи и посложнее. Они исполнили хор караванщиков из рубинштейновского «Демона» и лысенковскую «Зозулю». На включении в концерт «Зозули» поли-

тически бдительная «кавэчиха» долго не соглашалась. Уместно ли будет петь перед заключенными, да еще колымскими, такие, например, слова: «Та й заплакалы хлопцы-молодцы, гей на чужыни, в неволи, в тюрьми...» Вряд ли бы ее удалось уломать, если бы хор пленных запорожцев-галерников странным образом не оказался разрешенным для исполнения в лагерях самого ГУЛАГа.

За выступлением хора следовал дуэт из «Запорожца за Дунаем». Он тоже отлично удался. Публике особенно понравилось, как Одарка в красно-зеленой клетчатой «плахте» из раскрашенной кистью мешковины гонялась за путающимся в широченных запорожских штанах Карасем с огромным, бу-тафорским рогачом в руках. Судя по тому, как исполнителям популярного дуэта аплодировал сам сдержанный начлаг, обещанная амнистия была им обеспечена. Понравились публике и спетые бывшим сельским учителем, молодым еще человеком, сидевшим за «антиколхозную агитацию», саратовские частушки. Особенно те, в которых деревенский парень сожалел об оставленных в родной избе котятках:

Уезжал – слепые были,  
А теперь, поди, глядят...

Вокальное отделение концерта окончилось. Сильно волновавшаяся за него начальница КВЧ облегченно вздохнула. За инструментальное отделение она боялась меньше. Там, по крайней мере, нет слов, которые можно исказить или подать их не в той интонации. Правда, оставалось еще чтение стихов Маяковского, намеченное на промежуток между выступлениями хора и оркестра. За несколько часов до начала концерта Пантелеевой начало было казаться, что исполнитель этого номера, по своей всегдашней привычке всех и вся подводить, решил его сорвать. Несмотря на обещание начальника лесной подкомандировки отпустить Скворцова уже в середине дня, тот долго не являлся, хотя до этой подкомандировки было всего десять километров. Пришел он уже затемно, за час до открытия занавеса и заявил, что не мог отправиться в дорогу не пообедав. А обед у лесорубов бывает готов только ко времени их возвращения с работы, в четыре-пять часов, когда в лесу начинает уже темнеть. Книжку

стихов Маяковского он принес. Начальница держала ее заложенной на странице «Гимна», да так до сих пор и не удосужилась хотя бы пробежать глазами эти стихотворение. То устраивала Скворцову получение на сегодняшний вечер штанов и рубахи первого срока, то бегала в поселок добывать балалаечную струну взамен лопнувшей, то привечала в качестве главного лагерного культработника заезжего прокурора. Уже сидя с ним рядом, она несколько раз пыталась раскрыть книжку, но отвлекала необходимость слушать выступление хора и солистов.

За закрытым занавесом слышалась возня, стук расставляемых скамеек и иногда бреньканье задетой струны. Это рассаживался самодеятельный оркестр. Снова появился ведущий и прокричал, что сейчас перед публикой выступит лучший исполнитель произведений великого поэта Владимира Маяковского не только на лесоповальном участке совхоза Галаганнах, но и всей окрестной тайге. Заключенный Скворцов прочтет стихотворение этого поэта, которое называется «Гимн судьям». Конферансье не читал «гимна», но считал, что «судьям» звучит лучше и больше соответствует назначению стихотворения, чем «судье». В передних рядах названию захолопали, в задних кто-то довольно громко сказал:

— Решил-таки подлизаться к начальству наш Скворцов! Фраер, он фраер и есть...

Из-за занавеса вышел долговязый малый, казавшийся еще выше из-за коротких для него летних лагерных штанов и черной сатиновой гимнастерки. Парень подождал, пока в задних рядах стихло гудение и какие-то споры, и начал:

По Красному морю плывут каторжане,  
Трудом загребая галеру.  
Рыком покрыв кандалное ржанье,  
Орут про родину Перу.

Чтец напирал на «р», сильно его раскатывая: «Ррыком покрыв...» От этого занятные стихи казались еще занятнее и их слушали внимательно. Тем более что было совершенно непонятно, какое отношение могут иметь люди, отправляющие правосудие в Советском Союзе, к какому-то Перу, галерам и Красному морю.

О ррае Перру орррут перруанцы,  
Где птицы, танцы, бабы,  
Где над венцами цветов померанца  
Рросли до небес баобабы...

Хотя вряд ли среди присутствующих был хоть один человек, не слышавший имени знаменитого советского поэта, о существовании у него странных стихов не знал почти никто. Разве что два-три особо грамотных книжочтея, ухмылявшихся в задних рядах. Пантелеева внимательно следила за чтением «Гимна», водя пальцем по его печатным строчкам. Чтец, если не считать сдвоения и строения «р», ни на йоту не отступал от изданного текста, но стихи от этого не становились менее странными, и чем дальше, тем больше.

Банан, ананасы, радостей груды,  
Вино в запечатанной посуде...  
Но вот неизвестно зачем и откуда,  
На Перру наперли судьи...

Слово «наперли» явно не подходило для торжественно хвалебной оды. Удивленно переглянувшись между собой, прокурор и опер с двух сторон склонились над книгой, которую держала на коленях начальница КВЧ.

И птиц, и танцы, и их перуанок  
Кругом обложили статьями.  
Глаза у судьи — пара жестянок,  
Мерцают в помойной яме.

Теперь беспокойно нахмурился и начальник лагеря. Стихи были о чем-то, не имеющем прямого отношения к советской действительности. Но это мало что меняло. На каждый хлесткий эпитет в адрес омерзительного судьи из толпы заключенных сзади раздавалось одобрительное гудение. И это в присутствии самого всеколымского прокурора! Безобразие следовало бы прекратить, приказав чтецу немедленно замолчать. Но стихотворение, несомненно, было разрешенным, судя по тому, что этого не делали ни гость из Магадана, ни оперуполномоченный, ни сама эта дура, Пантелеева, следившая за ним по книжке. Не подлежит сомнению и то, что свое скандальное выступление подстроил сам Скворцов, обеда

вокруг пальца неопытную «кавэчиху». Вон какой у нее рас-  
терянный и испуганный вид...

Попал павлин, оранжево-синий,  
Под глаз его строгий как пост.  
И вылинял моментально павлиний,  
Великолепный хвост.

Летали по прерии возле Перу,  
Птички такие, колибри.  
Судья тех птичек поймал  
И все им перышки выбрил...

Теперь уже ухмылялся и кое-кто из приглашенных на кон-  
церт вольняшек. А заключенные слушатели, чуть не все, вос-  
торженно скалились до ушей. Нечего сказать, хорошую поли-  
тико-воспитательную направленность получал сегодняшний  
концерт!

Нет ныне ни в одной долине  
Вулканов, гор огнедышащих.  
Судья написал на каждой долине:  
«Долина для некурящих».

Сердитый взгляд прокурора, продолжавшего следить по  
книге за текстом стихотворения, скользнул вниз, где стояла  
дата его написания — 1916 год. Памфлет начинающего поэта  
Маяковского был направлен против царских судей. Но не ста-  
нешь же объяснять этого тем, кто восторженным ревом, апло-  
дисментами и выкриками «Скворцов — человек!», покрыл  
заключительные строфы стихотворения:

Экватор дрожит от кандалных звонов,  
На Перу бесптичье, безлюдье,  
И только, забившись под своды законов,  
Живут там угрюмые судьи.

Подчеркнув ногтем цифру 1916 с такой силой, что чуть не  
прорезал при этом бумагу, возмущенный прокурор поднялся с  
места и направился к выходу. На вторую часть концерта он  
оставаться не хотел. С недовольным гостем, чтобы проводить  
его до вахты, пошел и начальник лагеря. Проходя через тем-  
ный тамбур столовой, они слышали, как кто-то вполголоса  
произнес в углу: «Глаза у судьи — пара жестянок, мерцают в  
помойной яме».

Понявшая теперь, на чем провел ее так ловко несостоявшийся литературовед, этот коварный пакостник, которому даже виселицы было бы мало, Пантелеева через небольшую дверь сбоку сцены бросилась за кулисы. Сейчас она накричит на него, натопает ногами. Объявит во всеуслышанье, что возбудит против него дело об оскорблении работников советского правосудия, загонит, куда Макара телят не гонял, сгноит на штрафном... И только увидев перед собой нагло в усмехающуюся рожу Скворцова, собирающегося идти за занавеску, чтобы переодеться в свое рабочее одеяние, она поняла, что ничего этого она сделать не может. Нельзя наказывать человека, отлично прочитавшего перед публикой раннее произведение революционного поэта. Чтец, как и обещал, не позволил себе ни малейшего отступления от печатного текста стихотворения, помещенного в советском издании. Натравить на него начальника лагеря, тоже попавшего в неловкое положение, особенно перед гостем из Магадана? Но тот и так держит Скворцова на штрафном. И гнев Мордвина, почти наверняка, обрушится не на этого заведомого негодя, а на свою заместительницу по КВЧ, осрамившуюся так неосторожно и глупо...

Кругом прятали улыбки и отводили глаза уже освободившиеся участники концерта. Струнный оркестр на сцене громко и четко играл «коробейников». Закусив губу, Пантелеева положила томик Маяковского на подоконник и вышла через дверь, ведущую из «артистической» комнаты, в темный угол зоны. Заключение не положено видеть, как плачет злыми слезами младший сержант — начальник культурно-воспитательной части лагеря.

А еще через несколько минут из той же двери вышел и направился в барак, в котором ему было позволено сегодня переночевать, заключенный Скворцов. Завтра с подъемом он должен был отправиться на свою лесную командировку. Вряд ли он теперь выберется со штрафных работ до конца своего срока. Но неисправимый изобретатель подвохов и каверз довольно улыбался. Сидеть в лагере ему осталось не так уж много, и игра стоила свеч. Он разыграл, как по нотам, самую тонкую, самую психологическую и самую эффектную из всех своих злых шуток.

После конфуза, связанного с оплошностью младшего сержанта Пантелеевой при составлении программы концерта, она была, по ее просьбе, разумеется, переведена на должность начальницы женской штрафной командировки. Начальником лагерной КВЧ стал бывший нормировщик из сельхоза. В отличие от своей предшественницы он считал, что главное на этой должности — не мешать работать членам самодеятельных кружков. Умения и энтузиазма у них тут более чем достаточно. А от начальника КВЧ требуется только, чтобы он умел отличить гармонь от балалайки, бас от дисканта, а женскую роль от мужской. Руководствуясь этим принципом, мудрый начальник целые дни проводил в окрестных распадках, охотясь на куропаток, а в помещение КВЧ заглядывал только вечером, да и то не каждый день. Работа, как он и рассчитывал, шла тут полным ходом. Особенно активно работал теперь драмкружок, в который входили несколько актеров-профессионалов и много опытных и высококультурных любителей. Первая пьеса, подготовленная кружком к Новому году, была намечена еще по настоянию Пантелеевой. Она была сочинена в недрах Главного управления лагерей специально для лагерной самодеятельности. В этой пьесе честные и бдительные советские люди разоблачили пробравшихся на важный оборонный завод шпионов и вредителей. Морщился руководитель драмкружка, бывший кинорежиссер, морщились исполнители ролей, а некоторые из зрителей даже плевались. Но этой данью воспитательной работе в духе всеобщей подозрительности и шпиономании кружок и ограничился. Следующей его работой были сцены из «Мертвых душ». Они имели большой успех. С не меньшим успехом была поставлена и «сцена в корчме» из «Бориса Годунова», за ней «Женитьба». Классика на лагерной сцене правилами ГУЛАГа не возбранялась. На случай, если бы кто-нибудь задал вопрос: «Почему в драмкружке не разучиваются современные советские пьесы?» — у его руководителя был готов дипломатичный ответ: потому-де, что роли положительных героев в таких пьесах для исполнителей-небытовиков запрещены. А сколько-нибудь приличных актеров, не отягощенных пятьдесят восьмой статьей, в кружке почти нет. Но такого вопроса никто пока не задавал.



Так как бывший кинорежиссер почти всё время болел, то фактической руководительницей кружка вскоре стала его помощница, заключенная Тоггер. Эта немолодая уже женщина работала на лагерной кухне судомойкой, в прошлом же Тоггер была литературоведом и театроведом, специалисткой по истории западноевропейского театра. За труд о французской драматургии позднего Ренессанса она была приглашена Сорбонной для вручения ей какой-то специальной награды. Поездка в Париж доцента театрального института состоялась, но обошлась ей в восемь лет лагерного срока как «подозреваемой в шпионаже».

Тоггер было нетрудно уговорить покладистого начальника КВЧ и членов своего кружка подготовить к Первомайским праздникам «Проделки Скапена». Роль постановщика мольеровской комедии она взяла на себя. У нее же оказался и двухтомник Мольера, присланный ей с материка.

Самыми трудными, как следовало ожидать, при подготовке «Проделок» оказались постановочные вопросы. Некоторые считали их почти неразрешимыми. В захолустном, заброшенном на край света лагере надо было изобразить людей и быт Парижа XVII века.

Выручили специальные знания, умение, изобретательность и энтузиазм. У режиссера и постановщицы оказался целый отряд бескорыстных помощников. Главными из них были бывшая костюмерша большой киностудии, бывший театральный бутафор и бывший художник-декоратор. У художника на правой руке не было ни одного пальца — отморозил на приiske, — и он писал кистью, привязанной к предплечью.

Главным материалом и у костюмерши, и у декоратора была всё та же мешковина, имевшаяся здесь в изобилии — как-никак Галаганнах был морским портом. Мешковину красили невероятными смесями состава для чернения кож, чернильного порошка и марганцовки и шили из нее камзолы, турецкие халаты, панталоны пузырями. Узоры наносили масляными красками. Узкие панталоны делали из укороченных лагерных кальсон, украшая их у колена лентами из марли, расцветченными реванолем, брильянтгрюном, красным стрептоцидом и другими лекарственными красителями,

которые можно было найти в лагерной аптеке. Неплохие старинные башмаки получались из лагерных ботинок, если нацепить на них огромные бутафорские пряжки из жести. Парики изготовляли из пакли, полученной размочаливанием корабельного каната, отмытого от смолы в керосине. В изготовлении предметов бутафории постановщикам не отказывали ни плотники, ни столяры, ни жестянщики, хотя рабочий день у всех тут даже зимой продолжался двенадцать часов. Но заключенные лагеря Галаганнах имели достаточно хлеба. Поэтому они нуждались в зрелищах, и почти все охотно помогали в их подготовке.

Спектакль «Проделки Скапена» получился веселым и ярким. Его успеху очень способствовало и то, что режиссер выдержала игру актеров в духе современного Мольеру народного театра. Не было недостатка в палочных ударах, беготне и истошных воплях. Спасаясь от разъяренного хозяина, плут Скапен взбирался даже по канату, подвешенному к потолку сцены. Театр масок у Тоггер перекликался с театром Мейерхольда.

Успех «Проделок» навел ее на мысль поставить на здешней сцене целую серию комедий Мольера. С реквизитом и бутафорией теперь будет уже полегче. Все с ней безоговорочно согласились. Была намечена и пьеса для очередной постановки — «Скупой». Но это уже на осень. Во время летних полевых работ ни о какой самодеятельности в лагере не могло быть и речи. Рабочий день тут во время посевной, уборочной, сенокоса и путины доходил до шестнадцати — восемнадцати часов в сутки.

В начале лета уволился из Дальстроя и уехал на материк многолетний начальник здешнего лагеря Мордвин. Его место занял новый начлаг, вскоре получивший нелестное прозвище «Повесь-чайник». Это был угрюмый бурбон, появление которого в сельхозлаге сразу же изменило весь строй его жизни. Потом говорили, что хуже Повесь-чайника на быте здешних заключенных отразилась только начавшаяся через год война. Он был помещан на тюремном режиме для лагерников, а в их притеснении, большей частью не нужном, а зачастую и вредном для дела, находил, по-видимому, какое-то садист-

ское удовольствие. К музыке, песне, художественному слову, даже простой шутке новый начальник был совершенно глух. Естественно, что художественную самодеятельность заключенных он считал баловством, вредным попустительством со стороны высшего начальства. Запретить он ее, конечно, не мог, но мешал в меру тех огромных возможностей, которыми обладает начальник лагеря. Одной из таких возможностей является буквальное следование предписаниям лагерного устава. И Повесь-чайник постоянно, с дотошностью буквоеда-инквизитора, этим пользовался. Для участников самодеятельных кружков он не только не делал исключения, но и донимал их особенно злобно. При его предшественнике в этих кружках пышным цветом расцвела запретная любовь, с которой теперь велась решительная борьба. Временами чуть не половина молодых кружковцев сидела в кондее без малейшей надежды на амнистию. Своего заместителя по КВЧ начальник всячески третировал. На его просьбы о маленьких льготах для кружковцев, переводе, хотя бы временном, на более легкую работу, в другую бригаду или дневную смену, он почти неизменно отвечал отказом. Интересы самодеятельности — дело десятое. И он не собирается подчинять им интересы производства. Если начлага начинали уговаривать: «Товарищ...» — или: «Гражданин начальник...» — в ответ слышалось неизменное: «Повесь ... чайник!»

И всё же, несмотря на все притеснения Повесь-чайника, «Скупой» к тринадцатой годовщине Октября был подготовлен, и даже неплохо. Выручила психологическая незамысловатость пьесы, небольшое число действующих лиц и возможность почти без переделок использовать реквизит «Проделок». Спектакль был назначен на одно из первых чисел ноября, почти точно в годовщину концерта, на котором заключенный Скворцов, ныне уже освободившийся, так ловко подстроил свинью бывшей начальнице КВЧ. В день спектакля, как и тогда, «партер» был битком набит задолго до начала представления. Но средний стул в первом ряду пустовал чуть не полчаса после того, как наступило время этого начала. Теперешний начлаг не просто демонстрировал необязательность своего прихода на спектакль без опоздания. Было очевидно, что он и

тут не преминул воспользоваться возможностью помуржить зависимых от него людей. Пусть-ка они постоят, обливаясь потом, на натруженных ногах, пока их начальник безо всякого дела сидит у себя в кабинете!

В старом ватнике защитного цвета, больше похожий на рядового охранника, чем на начальника ОЛПа, он появился, наконец, в дверях столовой. И начал проталкиваться сквозь толпу заключенных. Именно проталкиваться, хотя перед ним расступались. Как только он плюхнулся на свое место, занавес раздвинулся и спектакль начался. В зале вскоре раздались первые смешки, а за ними и всё более ширящийся смех. Особенно трудно было не смеяться, глядя на игру исполнителя главной роли. Гарпагона играл опытный профессиональный актер-комик. Прежде ему часто ставили в вину сильную склонность к переигрыванию и клоунаде, но здесь этой склонности никто не ограничивал. Руководительница драмкружка считала, что так даже лучше — ближе к постановке комедии во времена Мольера, и спектакль надежнее дойдет до большей части лагерной публики. И он доходил. Зрители хохотали, глядя как смешно ковыляет на подагрических ногах противный старый скряга с крючковатым носом и в свалявшемся белом парике. Гарпагон надтреснутым, дребезжащим голосом кричал на слуг, что они воры, мошенники, расточители его добра и неисправимые дармоеды. При этом он размахивал толстенной палкой с затейливым набалдашником, а иногда и опускал ее на спину кого-нибудь из своих лакеев. Раздавался сильный треск, секрет которого был заделан в хитрую трость одним из изобретательных самодеятельных бутафоров. За два первых акта сквалыга и жадина, тайный ростовщик и домашний деспот так восстановил против себя зрителей в зале, что когда в третьем акте у него перепрятали шкатулку с драгоценностями, все довольно смеялись, а некоторые даже хлопали. Только на хмурой и как будто заспанной физиономии начальника лагеря ни разу не появилось даже подобия улыбки. Он смотрел спектакль как человек, убежденный во вздорности и ненужности в лагере подобных затей. Здесь место наказания преступников, а не веселого времяпрепровождения!

А в глубине сцены метался на развинченных ногах несимпатичный всем Гарпагон, смешно оплакивающий потерю заветной шкатулки. С гротескными жестами, то теребя мочало своего парика, то стуча палкой об пол или потрясая ею над головой, он громко проклинал весь свет, сплошь, по его мнению, заполненный ворами и мошенниками. В конце своего монолога, когда смех в зале стал особенно громким, Скупой, как будто только сейчас услышав этот шум, подошел к рампе. Некоторое время, с выражением неприязненного удивления на физиономии Бабы-Яги, он всматривался в полутемное, наполненное людьми помещение. Затем с таким же удивлением произнес:

— Сколько здесь народу... — И вдруг закричал, затопав ногами: — И все воры, мошенники! Отдайте мне мою шкатулку!

Предание гласит, что на премьере «Скупого» на сцене дворцового театра Людовик Четырнадцатый в этом месте пьесы смеялся особенно громко. Совсем не так повел себя на ее представлении начальник лагеря. Хохот зрителей перекрыл его привычный окрик: «Отставить!» Обескураженный актер умолк на полуслове с открытым ртом и поднятой кверху палкой. Через секунду нервно задернувшийся занавес скрыл его от публики. Оборвался и смех в зале. В наступившей тишине было слышно, как начальник лагеря выговаривает своему заместителю по культурно-воспитательной работе:

— Безобразие! Совсем распустились у тебя эски! В зале не только воры и мошенники! Здесь командование лагеря, лагнадзор, честные советские люди!

Недовольно сопя, «командование лагеря» демонстративно направилось к выходу. Вслед ему смотрели воры, мошенники и действительно честные люди, которым и в голову не пришло оскорбляться на реплику актера со сцены. Полное отсутствие чувства юмора — уродство, по счастью, довольно редкое.

После ухода начлага спектакль все-таки доиграли до конца. Но исполнитель главной роли утратил уже всё свое вдохновение. Из гротескного олицетворения самой Скупости он превратился в просто загримированного дядю Васю, сторо-

жа рыбного склада. Без всякого воодушевления играли теперь и остальные актеры. Пропало настроение и у публики. Когда спектакль закончился, только немногие, и то вяло, хлопали.

Руководительница драмкружка к этому времени лежала уже на нарах в своем бараке. Ее отвели туда после сердечного приступа. От дальнейшей работы в этом кружке Тоггер отказалась. Вышли из него и все ведущие актеры – кружок остался существовать почти только на бумаге. Вскоре умер в лагерной больнице и его организатор, бедняга кинорежиссер.

Захирели и другие два самодеятельных кружка. К Первому мая последнего предвоенного года они кое-как подготовили плохонький концерт. Затем началась весенняя страда, за ней война, на годы погасившая самую мысль о художественной самодеятельности даже у ее энтузиастов. В эти годы сильно голодали и заключенные галаганского сельхозлага, знаменитого прежде по всей Колыме своей сытостью. А кому же «в ум придет на желудок петть голодный!»

## Люди гибнут за металл

*Посвящается Н. М.*

Годы войны на почти всей территории Советского Союза, в том числе и на его крайнем Севере, совпали с годами температурного минимума на этой части земного шара едва ли не за целое столетие. Для колымских заключенных это явление стало тяжелейшим дополнительным бедствием, унесшим множество жизней. Особенно пострадали те, чьи лагеря, подобно нашему, затерялись между прибрежных сопок реки Яны, бассейн которой уступил мировое первенство по холоду соседнему Оймякону лишь в результате скрупулезных метеорологических изысканий, да и то на какую-то пару десятых градуса. Но здесь оказался запрятанным один из богатейших кладов желтого металла, «стратегического материала номер один», который мы добывали тогда для нужд войны.

В ту предпоследнюю военную зиму морозы в этой части «района особого назначения» месяцами удерживались на уровне шестидесяти градусов. Для малочисленных тогда приисковых механизмов особо морозные дни активировали, так как нагруженные части горных машин, работающих на таком холоде, становились почти стеклянно хрупкими и часто ломались, а при острой нехватке запасных частей рисковать ими было нельзя. Другое дело заключенные работяги. На место списанных в «архив-три» в очередную навигацию пришлют новых. Колымское начальство было уверено, что здешнее «святое место» пусто быть не может. И поэтому — никаких скидок заключенным на морозы, пургу, нехватку питания, рваное обмундирование! Если миллионы полноправных и полноценных граждан страны гибнут ради победы над врагом, то почему для достижения той же цели надо дорожить жизнями каких-то

преступников? В этом рассуждении дальстроевских генералов резон, несомненно, был. И их солдаты, колымские каторжники, загибались тысячами, особенно зимой, от голода и холода, бесчисленных травм и конвоирских пуль.

«Полюс холода» отнюдь не совпадает с географическим полюсом. Он расположен южнее даже северного Полярного круга. Поэтому здесь нет полярных ночей в школьном понимании этого слова. Солнце, согласно календарю, всходит над Яной и Оймяконом ежедневно, даже в декабре и январе. Другое дело, что мы, заключенные довольно большого приискового лагеря, жившие и работавшие в узком распадке между высокими сопками, могли об этом только догадываться. Непроницаемая темь двадцатичасовой ночи сменялась тут на короткое время почти такой же непроницаемой морозной мглой. Круглосуточный туман, выжимаемый на воздухе жестоким морозом, был так плотен, что когда колонна подневольных работяг, возвратившись вечером с прииска в лагерь, останавливалась перед воротами, сильный прожектор с крыши вахты мог выхватить из тумана только ее головную часть. Остальная тонула в темноте, и об ее длине можно было судить только по доносившемуся оттуда надрывному кашлю, постановиванию, кряхтению, постукиванию деревянных дощечек, заменявших в наших каторжанских «бурках» подметки. Ждать перед закрытыми воротами приходилось долго, нередко добрых полчаса. Ленивые «вахтмены» у печки в дежурке, из трубы которой вырывались искры и пламя, не торопились их открывать. Тем более что шуровать эту печку и «травить баланду» им помогали теперь наши конвоиры. Эти сытые парни, одетые в длиннополые бараньи тулупы, обутые в крепкие валенки, в меховых шапках с вязаными «подшлемниками» сразу же ныряли в блаженное тепло вахты, как только приводили нас на утопанный плац перед ней. О своих подконвойных охранники могли не беспокоиться. Куда они здесь денутся, да еще в этакий мороз?

И нам оставалось только с тоскливой завистью поглядывать на дверь вахты, ожидая, когда же, наконец, вахтмены и наш конвой соблаговолят выйти оттуда и устроить сдачу-прием доставленного этапа? Есть же счастливцы, которые могут



сидеть и стоять у раскаленной печки, испытывая на себе острое блаженство исходящего от нее тепла! Люди, постоянно страдающие от жестокого холода, мечтают, собственно, даже не о тепле, а о некоем жгучем зное, близком по силе к непосредственному действию огня. И хотя это действие вызывает у всех нормальных живых существ инстинктивный ужас, в колымских лагерях была широко распространена поговорка — «лучше стореть, чем замерзнуть».

В тот день, как, впрочем, во все предыдущие и последующие дни, мы замерзали уже около двух третей суток кряду и столько же времени ничего не ели. Первый из двух ежедневных приемов пищи происходил у нас перед выходом на работу, в пять часов утра, теперь же было около восьми вечера. Чтобы попасть в относительное тепло лагерьной столовой, получить там вечернюю пайку и вторую миску баланды, надо было перебежать только неширокую площадку за воротами. Но они оставались закрытыми. Сегодня на вахте дежурил отъевшийся на почти бездельной службе ефрейтор, бывший сверхсрочник. Этот особенно любил потешить себя властью над бесправными людьми. Обычно он выдерживал заключенных на морозе до тех пор, пока в их рядах не начинались выкрики, что стоять-де уже не вытерпел. Этого жирному коту только и нужно было. Теперь он мог мурыжить людей уже за нарушение ими дисциплины — никакие выкрики в строю не разрешаются. Вот и сейчас, когда кто-то прохрипел из скрытых в темноте рядов: «Сколько можно ждать, гражданин дежурный?» — гражданин дежурный выглянул с вахты и сказал, что сам он может ждать хоть до двенадцати ночи, когда ему надо будет сменяться. Что же касается нас, то мы будем ждать столько времени, сколько он найдет нужным. Не к теще в гости приехали! А если кому скучно, пусть слушает музыку, благо она вон как хорошо слышна на морозе...

Из зоны, со стороны барака КВЧ, возле которого на специально врытом столбе был установлен громкоговоритель, действительно, отчетливо доносилась музыка. Магаданская радиостанция передавала в грамзаписи ежевечерний концерт. Включение радиорепродуктора на столбе составляло одну из несложных обязанностей дневального нашей культурно-воспитательной части. По прошлой профессии это был художник-

мазилка, схвативший небольшой срок за продажу неприличных картинок. Теперь незадачливый торговец растлевающим товаром должен был, по идее, прямо и косвенно содействовать нравственному исправлению людей, соскользнувших на стезю преступности. Он топил в бараке КВЧ печку, мыл полы, смахивал пыль с висящих на стене почти безо всякого употребления музыкальных инструментов и изредка рисовал плакаты, восхваляющие доблестный труд заключенных-стахановцев и клеймящие позором нерадивость и лень. Ее начальник, бывший «затейник» какого-то санатория на Материке, быстро смекнул, что он нужен здесь только для заполнения соответствующей графы штатного расписания ОЛПа. В таких лагерях как этот ОЛП, обычно даже не пытались организовать из заключенных самодеятельные кружки. Истина, что на голодный желудок не запоешь, принадлежит к числу самых старых и общепонятных.

Сегодня подборка грамзаписей для концерта была сделана из популярных оперных арий, и притом весьма неплохо. Бывший протодьякон Михайлов пропел свой коронный номер, арию Сусанина «Ты взойди, моя заря»; прозвучало сопрано Обуховой, спевшей арию Марфы из «Хованщины». Затем мягкий, торжественно-слащавый баритон запел «эпиталаму» из «Нерона». Пел он хорошо, и хвала богу супружеской любви и семейного очага красиво звучала на лютном холоде, отражаясь от невидимого сейчас склона угрюмой сопки, почти вплотную подступившей к лагерному ограждению.

Нечего и говорить, что обычно почти никто из голодных и до костей промерзших людей, стоявших перед воротами, этой музыки не слушал. Да и мало здесь было таких, которые при всей ее популярности были к такой музыке приучены. Массовое зимнее вымирание ээков в нашем лагере шло уже полным ходом, а начиналось оно всегда с самых интеллигентных и образованных заключенных. И тем не менее, нашелся один, который, видимо, слушал очень внимательно. Вообще, слушавший эпиталаму молодой арестант производил впечатление куда более подтянутого и аккуратного человека, чем большинство его товарищей. Кроме самодельного воротничка его лицо защищало еще плотно обмотанное вокруг рта и носа

«кашне» — оторванная от старого лагерного одеяла полоса байки. На самых красивых нотах хвалы Гименею парень в кашне произвольно водил в воздухе руками в рукавицах и слегка поворачивался всем корпусом. Странное впечатление производил этот с ног до головы заледеневший любитель музыки на своих соседей по ряду.

— И охота тебе, Локшин, слушать эту тягомотину! — сказал ему один из них, тоже молодой заключенный, покрепче остальных. — И чего это вам, музыкантам, нравится то, чего другим и слушать-то неохота? — Локшин сделал умоляющий жест: не мешай...

На последних нотах эпиталамы пожилой заключенный, стоявший крайним в одном из рядов со странной на таком морозе неподвижностью, покачнулся, сделал слабую попытку ухватиться за плечо впереди стоящего и свалился на утоптаный снег. Упавшего пытались поставить на ноги, но он только елозил по снегу своими деревянными подметками, невнятно мыча, и тяжело свисал с рук поддерживавших его людей.

— Переохлаждение! — уверенно поставил диагноз кто-то из окружающих, — уже третий сегодня...

Теряющего сознание человека положили на снег. Он продолжал негромко мычать, стараясь, видимо, произнести какое-то слово, слабо сучил ногами и руками в драных рукавицах — не то скреб, не то поглаживал плотный снег. Глаза старика были полуоткрыты, и в них светился тоскливый страх. Тот, который только что определил переохлаждение, сделал и прогноз:

— Хана пахану.. Освободился, видать, досрочно...

Категоричность приговора имела под собой достаточные основания. Из пораженных «низкотемпературным шоком» выживали только очень немногие, хотя большинство из них агонизировало по нескольку дней.

То, что один из ожидавших впуска в зону свалился с переохлаждением, давало нам право напомнить вохровцам на вахте, что мы ожидаем благоволения. Кто-то постучал в ее дверь:

— У нас тут один дуба режет!

На крыльце показался ефрейтор в расстегнутой телогрейке и заломленной на затылок кроличьей шапке — вот как надо противостоять здешнему морозу! Вразвалку, с засунутыми в

карманы руками он подошел к лежавшему на снегу старику и зачем-то потрогал его ногой. Затем сделал знак своему помощнику открывать ворота и, подумав, приказал:

— Волоки его в санчасть! — Нетяжелую ношу с трудом подняли четыре человека и на подкашивающихся ногах потащили к воротам. Вместе с заболевшим они составили ту пятерку, которая вне очереди будет пропущена в вожделенную зону.

— Первая! — отметил дежурный и тут же скомандовал: — Вторая... — «тянуть резину» с приемкой заключенных и дальше он уже не собирался, так как явно переоценил свои возможности наплевательски относиться к сегодняшнему морозу. Уже в первой шеренге какой-то из зеков поскользнулся на своих деревяшках и упал перед самыми воротами. Остальные четверо прошли в зону, а он все никак не мог подняться на негнущихся ногах, скользил и падал. Пятерка очередного ряда — шары у них повылезали, что ли? — обошла барахтавшегося на снегу человека и заслонила его от приемщика. Пришлось кулаками проделать в ней брешь, а отставшему пинком в зад помочь пересечь линию ворот.

— Шестая... Седьмая... — Дальше, как обычно, дело со счетом пятерок пошло еще хуже. В одной из них двое под руки вели третьего. Он еще не потерял сознания, как тот, которого отнесли в санчасть, но был, видимо, близок к подобному состоянию. Немногим крепче его были и те, кто попытался помочь ему добраться до ворот, троица доходяг «потеряла разгон» и замешкалась как раз тогда, когда мороз, как волк зубами, впился в правое ухо дежурного.левой рукой он слегка двинул по загривку ближайшего к нему доходягу. Упали, однако, все трое. И даже не пытаясь подняться на ноги, на локтях и коленях ползли в зону.

— Эх, мать вашу... — досадливо поморщился ефрейтор, хватаясь руками уже за оба уха. Из репродуктора в это время насмешливый бас Мефистофеля пел свою знаменитую арию про золотого тельца. «Люди гибнут за металл!» — провозгласил он торжествующе, когда обессиленные дистрофики свалились на землю, напоминая собой неустойчиво поставленные кегли. «Гибнут, гибнут, гибнут, гибнут...» — подхватил этот возглас хор, которому визгливо вторили скрипки и флейты.

«Сатана там правит бал!» — и снова хохотал дьявольский хор:  
«Правит, правит, правит, правит...»

— Никак это про нашу Колыму? — изумился тот, который назвал тягомотиной рубинштейновскую эпиталаму. — А ты, Локшин, мог бы эту песню спеть, а? — Локшин нетерпеливо отмахнулся, он опять слушал.

— Чего спрашиваешь? — сказал кто-то из того же ряда. — Не слышишь что ли, что это не для его голоса...

— Разговоры! — крикнул дежурный

Для человека, незнакомого с обычаями и нравами мест заключения, фраза «Люди-Гибнут-за-Металл» в качестве прозвища покажется, наверно, весьма странной. Но в лагерях, особенно среди уголовников, встречаются клички и почуднее. В лагере, где он умер, для места, в котором смерть является правилом, а выживание — исключением, этого заключенного помнили необычно долго. Такой чести Люди-гибнут был обязан своему голосу, редкостному по силе и красоте, которым он владел с высоким профессиональным мастерством. Что касается его посмертного прозвища, то оно не могло быть связано просто с тем, что певец умер на Колыме. В те годы почти все, кто складывал в этом краю свои кости, так или иначе «гибли за металл». Нужны были еще какие-то дополнительные, пусть и незначительные сами по себе, обстоятельства. Читатель уже догадывается, конечно, что обыденный эпизод лагерного быта, взятый к этому небольшому рассказу в качестве как бы пролога, и явился одним из таковых обстоятельств.

Валерий Локшин, бывший студент консерватории, был мобилизован на фронт с выпускного курса в суматохе первых дней войны. И вместе с целым корпусом таких же необстрелков почти сразу же угодил в один из коварных немецких «котлов». Из плена его освободили наступающие части Советской армии весной 1944 года. Тогда же он был отдан под суд как изменник и предатель Родины и одним из последних пароходов навигации доставлен на Колыму.

Корпус Локшина маленькими группами и поодиночке почти полностью сдался в плен еще до издания знаменитого сталинского указа, приравнивавшего такую сдачу к воинской измене. Возможно, что бывший военнопленный и проскочил

бы сквозь плотный фильтр комиссий Особого отдела, таких военнопленных проверявшего. Но тут выяснились некоторые особенности поведения Локшина в плену, отодвинувшие на второй план такие формальные обстоятельства, как вопрос о точной дате его пленения. Несложное дознание показало, что это было поведение беспринципного приспособленца, для которого собственная шкура дороже национального и воинского достоинства. Без пяти минут выпускник высшей музыкальной школы использовал свой талант и образование для развлечения немецкой охраны лагеря военнопленных. В лагерной кордегардии и доме коменданта он давал целые концерты русской музыки, получая за это хлеб, сало и даже шнапс. Недаром Локшин оказался в числе тех немногих русских, которые не только выжили в немецком плену, но имели куда менее истощенный вид, чем их товарищи.

Говорили, что Локшин был учеником знаменитого профессора пения, сулившего ему будущность «советского Карузо», и что для этого профессора его откопал среди участников колхозной самодеятельности в каком-то селе один из энтузиастов поиска самородных талантов. И то и другое очень походило на правду. Голос Локшина и его умение владеть им говорили сами за себя. Крестьянское же происхождение несостоявшегося Карузо подтверждалось его приспособленностью к физическому труду, примитивным условиям жизни и той простотой взгляда на вещи, которая почти не встречается у интеллигентов, особенно потомственных. Отсюда же, несомненно, и готовность, с которой Локшин пользовался своим голосом для увеличения шансов выжить. Так было в немецком концлагере, так повторилось и в отечественном.

Многие люди, особенно из числа тех, перед которыми жизнь никогда не ставила подобных вопросов, склонны судить об этом с высоты чистого принципа. Конечно же, пленный советский солдат не имел морального права ублажать врагов своей родины исполнением перед ними «Меж крутых бережков» и «Вдоль по улице метелица метет», даже если дело шло о спасении его жизни. Быть столь принципиальным в условиях сытости и комфорта нормальной жизни, конечно, не трудно.

Но даже осудивший Локшина свирепый фронтовой трибунал вряд ли усмотрел бы состав преступления в том, что он повторял эти песни перед товарищами по заключению в Колымском лагере. Таким способом он тоже «сшибал» тут «куски», то есть, попросту говоря, выпрашивал пением подавания. Устав лагерей обычного режима не то чтобы разрешал такие пения, но он их и не запрещал, особенно в промежутке между вечерней поверкой и отбоем. Тем более что на того, кто пел, нельзя было цыкнуть, что тут для этого не место, и отослать в КВЧ. Она у нас, как уже говорилось, бездействовала.

Недаром бывший студент консерватории пел и с эстрады сельского клуба, и в оперной студии. Репертуар у него был широчайший — от колхозных частушек до труднейших арий из классических опер. Пользовался этим репертуаром он весьма умело, точно учитывая уровень музыкального развития слушателей, их вкусы и настроение. В общих бараках, в которых Локшин выступал поначалу, такими слушателями являлись люди, душевному состоянию которых всего ближе была тема разлуки с любимой женщиной, семьей и родными местами. Все эти песни входили в репертуар певца, почти ежевечерне обходившего бараки работяг после ужина, хотя в течение всего дня он наравне с ними работал на приисковом полигоне.

У Локшина был сильный лирический тенор с теми особенностями звучания, которые всегда поражали людей своим таинственным действием на сознание. И не морской прибой, как в мифе об Орфее, а барачный галдеж неизменно стихал, как только от порога доносился его голос. Смолкали даже спорившие из-за места у печки или очереди получать вечернюю пайку с горбушкой. Неказистый с виду парень, казавшийся чуть приземистым в своем ватном одеянии, незаметно входил в барак, делал два-три шага вперед, разматывал одеяльный шарф, которым было тщательно укутано его горло, и сразу же, безо всяких усилий брал нужную ноту. В больших бараках ни в какие разговоры со слушателями по поводу того, что им спеть, он не вступал и песню исполнял только одну, повторяясь не чаще, чем один раз в несколько дней. Выслушивали эту песню всегда с тем вниманием, с которым слушают только то, что проникает в самое сердце. И всегда находился кто-нибудь, кто

на грустных словах о женственной рябине, обреченной весь свой век качаться в разлуке с могучим, но таким же одиноким дубом, украдкой смахивал заскорузлой рукой слезы с обветренных щек. А потом такие же руки тянулись к певцу с остатками паек, нередко сэкономленных специально для него: «Спасибо... Возьми вот...» Локшин принимал их с равнодушно вежливым видом, как будто это были не куски хлеба, а букеты цветов от поклонников его таланта. И складывал эти куски в огромный карман из мешковины, собственноручно нашитый им на бушлат. К своему романтическому дару он относился с прозаическим реализмом крестьянина.

Но относительно обильным подавание было только в первые недели его появления здесь. Вскоре наступила зима, с ее не только холодом, но и голодом. Зимой хлеба требуется намного больше, а заработать его заключенным становится намного труднее. Даже самые сильные и выносливые из подневольных работяг «садились» едва ли не на штрафной паек. Подавать певцу стало почти нечего. Он тоже начал голодать, а это, как известно, весьма вредно отражается на голосовых связках. Еще хуже действовал на них морозный воздух. Голос Локшина стал сипнуть, а на многих нотах он нередко «пускал петуха». Теперь, когда, кивнув на прощание своим слушателям, старавшимся на него не смотреть, он уходил от них с достойным видом, но пустым карманом, это была всего лишь хорошая мина при совсем плохой игре.

Надо было что-то предпринимать. Но недаром в обвинительном заключении по делу Локшина было записано, что он — изворотливый приспособленец, позорящий честь воина, советского человека и представителя артистического мира. Уразумев за месяц своего пребывания в лагере, от кого в громадной степени зависит тут жизнь рядового заключенного, он переключился на обслуживание своим пением сильных лагерного мира. Теперь его голос всё чаще слышался то из «сучьего закута» — так называлось здесь помещение для главных лагерных придурков, то из санчасти, где он пел перед лекпомом, то из лагерной кухни. Но всего чаще Локшин пел в закуте. Это было отделение, в котором жили староста, нарядчик, старший повар и старший хлеборез. Здесь было просторно, светло, теп-



ло и чисто. А главное, старания певца никогда не оставались неоплаченными. В хлеборезке ему почти каждый день выдавали мешочек хлебных крошек, накапливающихся при разрезке буханок на мелкие пайки, в столовой он подкармливался остатками баланды и каши. Локшин быстро и заметно поправился, а его голос приобрел почти прежнюю силу и чистоту.

Переориентация на старшую лагобслужбу имела для него еще одно благоприятное последствие. Теперь певец довольно часто оставался в зоне, отставленный от развода то нарядчиком, то старостой, то лекпомом, которому освободить заключенного от работы было легче всего. Повысилась-де температура, или возникло «подозрение на дизентерию». Но больше всех благоволил к Локшину здешний нарядчик, большой любитель музыки, правда, самого невысокого разряда. Он бы охотно, несмотря на изменническую статью и первую категорию трудоспособности, перевел его на работу полегче, чтобы сделать чем-то вроде постоянного придворного певца «закута». Этому мешало, однако, враждебное отношение к Локшину здешнего начальника лагеря, занудливого и злобного бурбона, каких нечасто можно встретить даже среди колымских лагерных прохиндеев. Поэтому нарядчик своей властью только изредка мог оставить певца в зоне, и то когда начлага в лагере не было.

Общеизвестно, что кто платит за музыку, тот выбирает и песню. Поэтому у придурков Локшин пел «У самовара» и «Гоп со смыком», «Валенки» «под Русланову» и очень часто еще песню про какого-то Хасана. Она исполнялась с искажением русских слов на кавказский манер и, насколько можно было понять из этих слов, была про жадного мироеда из горного аула. Этот мироед обирал и эксплуатировал своих односельчан, пока те его не раскулачили и не отправили на дальний север «пилить дрова». Вряд ли нарядчик, который обычно заказывал эту песню, любил ее за идеологическую направленность. Но он долго жил на Кавказе и, пока не загремел сюда, в довольно большом масштабе спекулировал фруктами. Лагерное прозвище нарядчика было поэтому «Почем-кишмиш». Песня с кавказским акцентом напоминала Почем-кишмишу не родной, но милый его сердцу край.

Совсем другим был репертуар Локшина, когда он пел в санчасти лагеря. «Лекарским помощником» – архаическое словосочетание, заменившее в первые годы советской власти чем-то неуютное слово «фельдшер», – в нашем лагере работал старый, опытный врач из Ленинграда, арестованный еще при Ежове. Доктор был культурным человеком, очень любившим оперную музыку. Поэтому чаще всего из санчасти слышались такие вещи, как песня индийского гостя из «Садко», песенка герцога из «Риголетто», ария Надира из «Искателей жемчуга».

Почти всякий сколько-нибудь заметный человек в лагере получает обычно прозвище. Пробовали изобрести такое прозвище и для Локшина, но при его жизни это так и не удалось, во всяком случае, если говорить о прозвище общепринятом. Быть может потому, что если не считать его удивительного голоса, Локшин как личность был, если хотите, сер. Притом отсутствием не положительных качеств, а именно отрицательных. Во всем, что не касалось искусства петь, это был рядовой, здравомыслящий, работающий и в то же время «себе на уме», штымп.

Отсутствие установившейся клички никак, конечно, не отражалось на существовании заключенного, в котором артистический талант спасительным образом сочетался с практической жизнестойкостью. Существование же это, если учесть, что Локшин продолжал оставаться на «общих», с которых к весне в нашем лагере списывали в «архив» едва ли не половину работяг, было относительно сносным. Неизменное покровительство обитателей «закута» и лагерного доктора обеспечивало ему достаточное число шансов пережить свою первую колымскую зиму. Однако само понятие «шанса» включает в себе не уверенность в исходе события, а всего лишь некоторую его вероятность.

К заключенному Локшину, как уже было сказано, питал неприязнь начальник нашего лагеря. Эта неприязнь вначале не была особенно конкретной, и начальник и сам вряд ли бы смог ее толком объяснить. Но именно беспричинная нелюбовь к человеку имеет склонность к такому же беспричинному возрастанию. Особенно у таких людей, каким был наш

начала. Начать с того, что ему не нравилось это шатание заключенного по баракам с откровенной целью подрабатывать пением себе на пропитание. Только шарманки ему не достает! Впрочем, нормы на производстве певец выполнял, и придраться было не к чему.

Но это пока. Судя по делу Локшина, он был потенциальный темнила. Только похитрее тех, кто отлынивает от работы, забиваясь под нары и обливая себе ноги кипятком. Будущее подтвердило подозрение начальника. Бывший немецкий подлипала вскоре и здесь стал «вась-вась» со всей лагобслужбой и подозрительно часто спал в рабочее время, если только не распевал перед этой самой службой. Это был подозрительный альянс, поймать участников которого с поличным постепенно стало целью начальника лагеря. До поры это не удавалось, так как и Локшин, и его покровители были достаточно хитры. Особенно, как думал начлаг, сам этот «шарманщик». Однако ничего. Один неверный шаг — и он ответит за свое пение, столько месяцев раздражающее начальника, за дни подозрительного освобождения от работы по болезни и за то, что имеет почти законченное высшее образование, пусть даже какое-то певческое. Это-то и было главной причиной злобы старого тюремщика к исполнителю всяких там арий, хотя даже самому себе он вряд ли бы в этом признался. Начлаг сильно не любил образованных, к которым причислял всех, кто заканчивал хотя бы среднюю школу. Именно из-за их конкуренции, он, имеющий всего четыре класса образования, в сорок с лишним лет остался младшим лейтенантом и всего начальником упрямого ОЛПа где-то на краю света. Так, по крайней мере, он думал. Но если посчитаться со своими конкурентами по службе наш начальник не мог, то ничто не мешало ему отыграться на интеллигентах, имевших несчастье попасть к нему в лагерь. Кроме неизбежных здесь, общих для всех бед, над ними постоянно довлела еще его злоба.

Однажды к начлагу была вызвана для обычного разноса за хроническое невыполнение производственных норм группа доходяг. Делался вид, что единственной причиной невыполнения этих норм является нежелание заключенных работать. В кабинет начальника незадолго до вечерней повер-

ки один за другим входили на подкашивающихся от слабости ногах скелетообразные фигуры, обвешанные рваным тряпьем.

— Фамилия? — спрашивал начальник, заглянув в лежащую перед ним бумажку. Получив ответ, он задавал следующий стандартный вопрос: — Почему плана не выполняешь?

В ответ раздавалось невнятное бормотание о том, что нормы-де невыполнимы, на штрафной четырехсотке сил не хватает даже на то, чтобы поднять кайло или лом, а руки без рукавиц примерзают к этому самом лому...

— Ленинградские рабочие в сорок втором на ста двадцати пяти граммах производственный план выполняли! — оборвал это бормотание хозяин кабинета. — Будешь и дальше так филонить — в карцер посажу с выводом... Гони сюда следующего! — и начальник ставил напротив фамилии вызванного «галочку».

К этой галочке и сводилось, собственно говоря, всё мероприятие. Даже самые прожженные лагерные прохиндеи вроде нашего начальника понимали, что нравоучениями и угрозами острой нехватки питания не возместишь. Всякие пропесочки за «филонство» заключенных, которым до кладбищенской бирки оставались считанные недели, были всего лишь лицемерным ритуалом.

Но один раз на свой вопрос о плане начальник получил неожиданный ответ:

— На одно лишь противостояние нашему холоду, — ответил спрошенный, — требуется не менее четырех тысяч калорий в день. Я же получаю едва одну тысячу калорий...

Начальник удивленно поднял глаза и увидел доходягу в обычном рванье. Но взгляд у него был не тусклым, как почти всегда у дистрофиков, а раздражающе осмысленным и ясным. В рыбьих глазах начальника вспыхнула злоба.

— Ты кто такой? — спросил он у срывщика плана, пытающегося подвести под массовое невыполнение плана теоретическую базу.

— Шурфовщик из бригады Лазарева, — ответил спрошенный.

— Я спрашиваю: по воле ты кто?

— Преподаватель физики в институте... — с некоторым удивлением ответил невыполняющий на не идущий к делу вопрос.

— Выходит, у Вас высшее образование, — перешел начальник на «Вы», что не предвещало ничего хорошего. Бывший преподаватель пожал плечами, а начлаг, пристукнув кулаком по столу, крикнул: — А у меня низшее... Пять суток изолятора за злостное невыполнение плана! — В этом злобном выпаде и произвольном, несправедливом приговоре был наш начальник едва ли не весь.

Его лагерное прозвище было «Тащи-и-не-пушай». Получил он его главным образом за исключительное усердие в преследовании темнил. Если он не был болен и не уезжал по делам в соседний поселок, где находилось здешнее горнорудное управление, Тащи-и-не-пушай почти непременно возглавлял ежедневный утренний обход лагеря, производившийся вскоре после развода. Это, собственно, была облава на тех, кто путем обмана, невеселой игры в прятки, притворства или даже членовредительства пытался уклониться от выхода на работу. В облаве принимали участие надзиратели, почти вся лагерная обслуга, дневальные барачков и даже санитары из санчасти. Этого требовал начальник. К обнаруженным темнилам он был беспощаден. В то время как вся страна напрягает силы для борьбы с врагом, они, вместо того чтобы честным трудом искупать свою вину перед ней, пытаются даром есть свой хлеб! Речь в этом роде Тащи-и-не-пушай мог произнести не только перед «мастырщиком», вызвавшим у себя флегмону мышечной ткани путем протаскивания через нее зараженной нитки, но и перед стонущим «съявкой» — подростком, сброшенным с крыши барака прямо на камни двора. И неизвестно, чего в этих речах было больше, инквизиторского фарисейства или искренней убежденности в правоте выполняемого им дела. Ведь что касается ненависти к тем, кому мы причиняем зло, то она вытекает из самого этого зла, эта истина четко сформулирована Л. Толстым.

А потом темнил, ковыляющих на разъеденных каустиком ногах, едва видящих из-за укола глаза острием химического карандаша, с собственноручно отрубленными или раздроблен-

ными пальцами на руках и ногах, избитых при обнаружении где-нибудь в подполье или на чердаке, гнали в «довод». Так назывался дополнительный развод для тех, кто не хотел честно выходить на работу вместе со всеми. Их, конечно, тоже выводили «не к теще блины есть». Места для работы «доводных» выбирали с таким расчетом, чтобы темникам была мука, а другим неповадно. Летом довод без конца чинил гать на дороге через болотистый распадок, благо она также без конца тонула в холодной жиже. Главным бичом тут был таежный гнус. Накомарников же выводимым на довод не выдавали. Зимой темнил и мастырщиков под предлогом борьбы с заносами ежедневно держали на недалеком перевале. Здесь дуло в любую погоду, и даже в самые сильные морозы абсолютно негде было укрыться. Было, конечно, вполне логичным создавать для работы довода такие условия, что по сравнению с ними даже обстановка на полигоне, например, показалась бы комфортабельной.

К весне даже в самых «застойных» районах Колымского края морозы нередко сменяются снегопадом и пургой. Так произошло и в тот день конца мая, когда начальник нашего лагеря в «виллисе» начальника рудника отправился в управление лагобъединения, в которое входил наш ОЛП. Находилось оно, как и все управления лагерей обычного типа, при местном горнорудном управлении. Дело было срочное. Надо было утрясти вопрос о финплане лагеря на текущий месяц. Он явно горел, а вместе с ним и премия по надзирательскому и управленческому персоналу ОЛПа. Горел же финансовый план потому, что был нереален. Составлялся он крайне просто — сумма двадцать два рубля тридцать копеек, которую прииск начислял лагерю за каждого выставленного на работу зэка в день, перемножалась на число этих дней. Количество и качество произведенной заключенными работы при расчетах никак не учитывалось. Для лагеря это было весьма удобно, и выполнять финплан было бы совсем не трудно, если бы заключенные не мерли, особенно к весне. Нельзя сказать, что плановиками из управления это не учитывалось. Однако как всегда, реальная смертность превысила запланированную. Начальник должен был доказать бюрократам-управлен-

цам, что на это были объективные причины, за которые ни он, ни его подчиненные отвечать своей премией не должны.

Он выехал рано, еще до развода. Пурга казалась тогда не очень сильной. Но ветер быстро усиливался, и, когда виллис подъехал к перевалу, тот оказался забитым снегом. Некоторую помощь мог бы тут оказать довод, проторчавший на этом перевале почти всю зиму. Но его уже несколько дней выводили на реку долбить лунки для подрыва льда. Без взрывных работ на излучине река во время ледохода непременно снесла бы небольшие сооружения здешней пристани.

Пришлось вернуться, что удалось тоже с трудом. Метель успела во многих местах перемести и обратную дорогу и бушевала уже там, где, несмотря на солнце, светившее где-то над снежными вихрями, в какой-нибудь полусотне метров почти ничего не было видно. От работы эсков на полигоне в такую пургу не было, конечно, никакого проку, и сегодняшний день, по-настоящему, надлежало бы активировать. Но, во-первых, 22 рубля 30 копеек на текущий счет лагеря в банке шли и за тех, кто, согнувшись в три погибели, весь этот день простоит под каким-нибудь отвалом. А во-вторых, не жирно ли будет для заключенных получать из-за погоды выходные дни? Не предоставляют же таких выходных бойцам на фронте! Такие рассуждения казались Тащи-и-не-пушай весьма убедительными, и он не видел никакого противоречия между своим недалеким меркантилизмом работарговца и человеконенавистнической философией палача.

Продрогший и злой, пробирался начальник по сугробам, которые намело уже и на плацу зоны. Теперь в управление не пробьешься, по крайней мере, с неделю. По телефону с ними ни о чем не договоришься, и майская премия наверняка плакала. Поднимаясь на крыльцо барака, в котором находился его кабинет, начлаг услышал из отделения старшей лагослуги, жившей в другом конце этого барака, голос Локшина. Чей еще голос мог преодолеть толстые бревенчатые стены и свист ветра за ними? В списке освобожденных по болезни на вечернем приеме вчера его не было. Значит, от развода под каким-нибудь предлогом отставил «шарманщика» нарядчик, благо начальник уехал. Вот когда, кажется, они попались!

В отношении своего «зава рабской силой», как называли в лагере нарядчика некоторые из заключенных, Тащи-и-не-пушай собирался ограничиться хорошим разносом с предупреждением, что при втором подобном случае он слетит на общие работы — начальник ценил бывшего спекулянта за толковость и расторопность. Зато уж его подопечного он шадить не намеревался, хотя формально Шарманщик виноват, наверное, меньше своего покровителя. Практически бесконтрольная власть имеет то преимущество, что соблюдение формальных норм для нее необязательно. Тащи-и-не-пушай, как кот, пробирался к крыльцу с другой стороны правленческого барака.

За то, что Хасан отобрал вся деньга,  
Мы взяли сослали его в Соловка.  
Пускай он работает, пилит дрова,  
Пускай привыкает он жить без деньга...

Песня оборвалась на полуслове, когда дверь в отделение придурков рывком отворилась и на пороге показался начальник в тулупе, густо запорошенном снегом. В горнице со свежевывытым полом жарко топилась печка. Из ее постоянных обитателей сейчас тут не было только старшего повара. Остальные возлежали на застеленных койках, слушая соловьем заливающегося Локшина, певшего стоя спиной к двери.

Нарядчик, староста и хлеборез вскочили на ноги с вытянутыми по швам руками. Обернулся и смолк с открытым ртом Шарманщик.

— Та-ак... — протянул начальник, не снимая шапки и шурясь на всех своим тусклым взглядом. Затем, ткнув в сторону Локшина меховой рукавицей с широким, как у перчаток мушкетеров, раструбом, резко спросил, обращаясь к нарядчику: — Этот почему не на работе?

— Оставлен для засыпки опилками чердака на третьем бараке, гражданин начальник!

— А я разве не приказывал для работ в зоне использовать только инвалидов и выздоравливающих?

— Совсем уж слабосиловка, гражданин начальник!

Начальник знал, что по способности героически врать в свое оправдание, даже когда невозможность оправдаться



была очевидной, бывших спекулянтов превосходят разве что только мелкие воры-рецидивисты. Будет врать до полнейшего логического тупика и Почем-кишмиш, явно погоревший на злоупотреблении своей кажущейся бесконтрольностью.

Тащи-и-не-пушай не сомневался, что сейчас он загонит его в этот тупик, и не собирался отказывать себе в таком удовольствии.

— Ну, а напарник же его где? — Вопрос был вполне резонным, так как опилки на чердаки поднимали в больших деревянных ящиках с ручками спереди и сзади.

— Подобрал тут одного в санчасти, да назад отослал. Ветер вон какой, все равно все опилки с носилок сдует...

— А разве когда этого певуна от развода отставлял, ветра не было? — сощурился начальник еще больше. Почем-кишмиш лихорадочно подыскивал ответ, но с Тащи-и-не-пушай было уже довольно. — В другой раз сам заменишь его на полигоне! — гавкнул он, хлопнув снятой рукавицей по надежной. — А сейчас, чтобы через четверть часа духу его в зоне не было! Вызвать дежурного бойца из дивизиона и препроводить в довод! — начальник вышел, не затворив за собой двери.

Конвоировавший Локшина вохровский солдат всю дорогу до места понукал его, а иногда и пинал прикладом в спину. Он злился на своего подконвойного за то, что из-за этого невесть откуда взявшегося темнили ему пришлось оторваться от печки в казарме и черт-те куда брести с ним по пурге и сугробам.

Выражение «довод работал» следует считать весьма условным. Почти никто и никогда из выведенного с дополнительным взводом не работал как следует уже потому, что было почти все равно, делаешь ли ты тут что-нибудь или не делаешь решительно ничего. За проведенный в доводе день во всех случаях полагалась штрафная пайка и ночевка в холодном карцере. Тащи-и-не-пушай не раз пытался, правда, воздействовать на доводных «внеэкономическими» методами принуждения вроде угрозы круглосуточно держать их на работе или заморозить особо злостных филонов в карцере, но из этого ничего не выходило.

В такую же пургу, как сегодня, работать не смогли даже самые рогатые из «рогатиков». Поэтому человек двадцать обрванцев-подконвойников сбились в тесную кучку на льду реки под обрывистым берегом — здесь меньше дуло. Издали, при некотором воображении, их можно было принять за отряд древних викингов, изнемогших в походе и уснувших в снегу стоя, опираясь на свои копья. Копья темнили и мастырщикам заменяли очень походившие на них пешни с длинными, чуть ли не в три метра драками. Предполагалось, что этими пешнями они будут и сегодня проделывать в полутораметровом льду сквозные лунки, через которые под него подводят взрывчатку. При норме десять таких лунок в день самые работающие из штрафников делали их две-три. Но сегодня бригаду даже не повели на место работ. Конвоиры тоже были людьми и, несмотря на свои тулупы и валенки, не хотели торчать на юру, открытом всем ветрам.

Вручили пешню и Локшину и он картинно, как все, тут же на нее оперся. От остальных он отличался пока тем, что не был, как они, чуть ли не по пояс заметен снегом. Снег старались не стряхивать, так было теплее.

По сторонам бригады, на некотором расстоянии от нее, так же неподвижно стояли конвойные. У этих «копий» не было, и со своими винтовками они напоминали скорее замерзших часовых из серии иллюстраций к событиям на Балканах во время русско-турецкой войны, которая называлась «На Шипке всё спокойно».

Нельзя было сказать, чтобы тут было особенно весело. Но вряд ли и существенно хуже, чем на полигоне сегодня. Не все ли равно, где откатывать «солнце вручную», судя о времени только по сменам часовых, сменявшихся каждые четыре часа. Локшин особенно не унывал. Гнев Тащи-и-не-пушай на своего нарядчика закрывал ему в дальнейшем путь к этому источнику «кантовок». Но их было не так уж и много. А в остальном всё оставалось по-прежнему. Ему не приходится, как Почемкишмишу, бояться за свое теплое местечко в лагере. Дальше общих работ на полигоне неугодного ему заключенного не может угнать даже начальник ОЛПа. А было очень похоже, что и на этих общих Локшин не пропадет. Крестьянский сын, он

умел работать и не боялся трудностей. А опыт показывал, что там, где есть люди, его голос всегда его прокормит. К тому же работу певцу немало облегчало благоволение к нему — всё за тот же голос — производственных бригадиров и нарядчиков: другой подход по части оценок выполнения, да нередко другая и работа. Война уже окончилась, можно ожидать амнистии и, во всяком случае, смягчения режима для таких, как он, липовых изменников и предателей. А если Локшин сумеет попасть в одну из здешних агитбригад, то вряд ли ему будет закрыт путь даже к знаменитому крепостному театру в Магадане. И это были не радужные мечтания, а вполне реалистические надежды человека, знающего себе цену и умеющего эту цену получить.

Человек только предполагает, располагает же, чаще всего, черт. Причем обычно черт мелкий, егозливый и вздорный, вроде нашего начальника лагеря. Во второй половине дня, несмотря на непрекращающуюся и даже усилившуюся пургу, злобная энергия Тащи-и-не-пушай принесла его на место, где эта пурга замела «викингов» почти уже по самые плечи. Проваливаясь в сугробах, начлаг подошел к начальнику конвоя и закричал ему почти в ухо:

— Почему у вас люди не работают? — Тот хотел что-то ответить насчет ветра, но Тащи-и-не-пушай продолжал кричать, показывая рукой в сторону, где река делала довольно крутой поворот: — Немедленно отвести их на рабочие места... Пока каждый не сделает по три лунки, с работы не снимать! Ясно?

Из всех этих криков было ясно только, что Тащи-и-не-пушай — вредный дурак. Рабочие места по долблению лунок находились посредине реки за поворотом, где ветер дул точно вдоль русла и с такой силой, что, присев на корточки, тут можно было катиться по гладкому как паркет льду без паруса и лыж, удержаться же на месте было почти невозможно. Но даже глупый приказ — есть приказ. Бойцы зашевелились, начался хриплый мат и шелканье винтовочных затворов. С непременным «сдвигом по фазе» зашевелились и их подконвойные. Взвалив на плечи свои «копья» и роняя с себя толстые пласты снега, «викинги» гуськом потянулись к по-

вороту реки. Здесь в лицо им ударил лютующий на свободе ветер. Он гнал по широкой ледяной глади слегка волнующийся белый поток, дымящийся метелками сухого снега на местах даже небольших препятствий. Снежный поток почти скрывал поверхность льда, на протяжении целого километра довольно густо пробуравленную лунками. Этот участок реки надо было перейти, так как фронт работ по долблению лунок находился на другом его конце.

Сами лунки для идущих по льду особой опасности не представляли, хотя они снова затянулись толстым, пусть и не таким как прежде, слоем льда. Разве что можно было, угодив ногой в лунку, где уровень нового льда был значительно ниже уровня общего ледяного покрова, вывихнуть себе ступню. Другое дело довольно широкие разводья, образовавшиеся после произведенных только вчера пробных взрывов. Они были разбросаны там и сям и затянуты опасно тонким льдом. Предупредить новичка об опасности ходить тут не глядя под ноги никто просто не догадался, каждый был сам по себе. И Локшин провалился, когда, спасая лицо от жгучего ветра, пятился задом наперед. От немедленной гибели его спас длинный «карандаш» — пешня, которую он нес, держа под мышкой. Шедшие следом видели, как человек впереди стал вдруг так мал ростом, что его голова и плечи почти скрылись в куреве поземки. Но остановились они не сразу. И это не было проявлением какого-то исключительного эгоизма или равнодушия. Так уж люди почти всегда ведут себя по отношению к близким, когда им самим очень плохо. Прошла добрая минута, пока кто-то подошел к провалившемуся и протянул ему конец древка своей пешни. Усилиями нескольких человек Локшина вытащили на лед и тут же отскочили от него подальше. С его ставшей почти черной ватной одежды потоками стекала вода, белыми оставались только воротник, кашне и шапка. Впрочем, бушлат и штаны быстро покрывались серой изморозью. Мороз был хотя и не так жесток, как в зимние месяцы, но, помноженный на сбивающий с ног ветер, он стоил пятидесятиградусной стужи. К Локшину подошел начальник конвоя и, посмотрев на него, махнул рукой в сторону лагеря: «Беги в зону!» И Локшин побежал, насколько применимо это выра-

жение к человеку, волочащему на себе доброе ведро воды и чуть ли не по пояс утопающему в снегу. Ветер, правда, был теперь попутным. Но уже через несколько минут он так заледенил промокший бушлат Локшина, что тот превратился в гремящий при каждом шаге, мешающий движению короб. Еще больше мешали этому движению пропитанные водой утильные лагерные бурки. К ступням этих бурок примерз снег, через который из пропитанных водой ватных голенищ и таких же ватных штанов поступала вода. Через несколько минут нижние части бурок превратились в полупудовые ледяные глыбы, идти на которых было почти невозможно. Локшин снял их и в одних портянках добрался до места, где, как он помнил, из толстого слоя снега торчала огромная глыба камня. Ударами об этот камень он сбил с бурок намерзший на них лед, но теперь они заледенели уже насквозь, и надеть их оказалось невозможно. Так, держа в руках свою нелепую обувь, он добрался, наконец, до лагерной вахты. Ефрейтор, тот самый, в дежурство которого как-то передавали по радио арию из «Фауста», при виде заледенелого, почти босого заключенного пришел в веселое настроение:

— Вот это, я понимаю, исправный ээка бережет казенное имущество! — но потом он посерьезнел: — Может, ты нарочно себя водой из проруби облил, чтоб с работ отпустили?

Когда он пропускал Локшина через проходную, у того насквозь заледенели даже ватные штаны и снять их в бараке удалось только с помощью дневального. Тут было холодно, ветер сквозь тонкие, неплотные стены выдувал всё тепло, даваемое печкой, которую к тому же приходилось топить экономно, дров в лагерь в такую пургу не привозили. Печку же в сушилке вообще топили только на ночь. Словом, к вечеру, когда дежурный надзиратель пришел за Локшиным, чтобы отвести его ночевать в неотапливаемый кондей, его промокшее обмундирование успело только оттаять. Мокрым оно оставалось и весь следующий день, в течение которого опять крутила пурга и Локшин «откатывал солнце» уже со всей своей обычной бригадой на полигоне. Он очень боялся, что простудил горло. С этой стороны, однако, всё обошлось благополучно, он не схватил даже насморка. Происшествие на льду начало уже оборачиваться в его па-

мяти своей юмористической стороной, когда через несколько дней Локшин к концу рабочего дня на полигоне почувствовал озноб. Озноб быстро усиливался, и когда заболевший добрался, наконец, до санчасти, температура у него оказалась перевалившей за сорок градусов. Быстрый взлет этой температуры, продолжавшей нарастать, и глухие тона в обеих половинах легких не оставляли у врача ни малейшего сомнения — двустороннее крупозное воспаление легких.

При лагерной санчасти существовал «стационар» — примитивная больничка на несколько коек. Тяжело заболевшие и получившие серьезные травмы на производстве ждали здесь отправления в «отделенческую» больницу при лагерном управлении. Исключение составляли заболевшие дистрофией и пневмонией. Первых, после нескольких вливаний глюкозы, отправляли в недалекий инвалидный лагерь, вторых оставляли на месте до выздоровления или «летального исхода». Все равно, и в отделенческой больнице лечить воспаление легких было, собственно говоря, нечем. В распоряжении лагерной медицины арсенал лекарственных средств оставался таким же, как и во времена доктора Чехова. Ни пенициллин, ни даже сульфопрепараты в достаточном количестве сюда не доходили. Здешний доктор, поместивший Локшина в свою больничку, надеялся только на его крепкий, молодой организм. Болезнь протекала в бурной и тяжелой форме. Больной почти сразу же впал в бессознательное состояние и находился в нем уже несколько дней. Всё должен был решить кризис, которого врач ждал с тревогой. Он не хотел, чтобы из жизни ушел этот славный малый, так хорошо певший популярные оперные арии.

В небольшой палате, дверь которой выходила в переднюю-ожидалку лагерной амбулатории, ее единственное оконце розово рдело, а это значило, что солнце за сопкой, подступавшей едва ли не вплотную к строению санчасти, уже взошло. Впрочем, в распадке, где расположился лагерь, оно покамест не показывалось даже в полдень. Рельс у недалекой вахты прозвонил подъем, но розового света из окна было еще так мало, что он не мог полностью подавить желтый свет от стоящей на тумбочке коптилки, уж очень толстым был на-

мерзший на окне за зиму слой льда. Жалкий светильник, оправдывая свое название, пускал в потолок затейливо вьющуюся струйку сизого дыма — единственную на всю санчасть стосвечовую лампочку берегли, включая ее только во время приемов в амбулатории. Дежурный старик-санитар похрапывал рядом на незастеленном топчане. Он умаялся, провозившись едва ли не всю ночь с беспокойным, горячечным больным, вот уже несколько дней находившимся в беспамятстве. Этот больной не только кричал и пел в бреде, что было бы еще полбеды, но и все время порывался куда-то бежать. Доктор же строго наказал не давать ему петь, чтобы он не напрягал больные легкие. Но больной никого не слушал, рвался и шумел, хотя вообще он был парень спокойный и рассудительный. Но так в жизни бывает часто: вполне приличные люди в пьянстве или беспамятстве становятся скандальными и буйными.

Сегодня Локшин уgomонился только под утро, забывшись беспокойным, тяжелым сном. С глубоко провалившимися глазами на исхудалом, заросшем лице он лежал на сбитой в ком сенной подушке, сильно закинув голову назад и тяжело, со свистом, дыша. Большую часть суток он метался в жару, сбить который не удавалось даже усиленными дозами аспирина, и бредил, перемежая невнятное бормотание с вполне внятным и правильным пением. Как правило, это были теноровые партии, соответствующие голосу певца. Но иногда он пел в регистрах, совсем как будто чуждых его голосовому диапазону. Привычка владеть своим голосом и те возможности, которые таит в себе больная воля, помогали Локшину преодолевать даже самые большие регистровые несоответствия. Происходило это, однако, только в сравнительно редких случаях, когда певец насиловал свой голос под влиянием каких-то ассоциаций, возникавших в его воспаленном мозгу. Цепь таких ассоциаций, которая привела больного к совсем уж безумным поступкам, стоившим ему жизни, удалось восстановить по рассказам очевидцев, находившихся в то утро рядом с Локшиным.

Когда от вахты донесся сигнал сбора на развод, он открыл глаза. Сознания в них, однако, не было. Приподнявшись на

локтях и обведя палату блуждающим взглядом, больной бормотал:

— Переохлаждение... Переохлаждение... Уже третий сегодня... — Он вспоминал, видимо, эпизод, произошедший этой зимой перед воротами лагеря. Локшин перевел диковатый взгляд с одного соседа на другого, откинулся на подушку и с вполне осмысленной, казалось бы, убежденностью, произнес: — Сатана там правит бал... — Затем пропел эту фразу с уже оперными интонациями и вполголоса, как будто настраиваясь на нужный тон.

Полежав еще немного, больной откинул одеяло и сел на своем топчане, спустив ноги на пол. Потом сделал руками дирижерский жест и почти в правильной тональности запел:

— На земле весь род людской чтит один кумир священный... — К нему бросился проснувшийся санитар, но Локшин с силой оттолкнул его: — он один во всей Вселенной, сей кумир — телец золотой... — На помощь санитару подбежали двое ходячих больных, но и втроем они не могли справиться с неугомонным больным. Вырвавшись от них, он выскочил в переднюю и через нее во двор зоны.

Стояло яркое морозное утро. Снег на сопках из розового становился уже по-дневному оранжевым. Через открытые ворота лагеря начали выходить первые пятерки подневольных работяг, отправлявшихся добывать трудное колымское золото. Только тут кто-то заметил, что со стороны санчасти бежит в одном белье босой человек, а за ним гонится больничный санитар в сером халате. Локшина узнали только тогда, когда, вскочив на пожарную бочку, стоявшую возле каптерки, он запел, продолжая начатую в палате арию Мефистофеля:

— Прославляя истукана, люди разных рас и стран пляшут в круге бесконечном...

Увидев бегущих на помощь сильно отставшему санитару дежурного надзирателя и лагерного старосту, больной соскочил со своей бочки, и, подбежав к совсем близкой отсюда лагерной ограде, перепрыгнул через невысокий барьер, отмечающий границу запретной зоны. По человеку, появившемуся в этой узкой полосе земли, часовые на вышках, согласно уставу, обязаны были открыть огонь без предупреждения. Но ближай-



ший к нарушителю запретной зоны часовой не был, видимо, кровожадным человеком, так как ограничился выстрелом в воздух. Впрочем, было совершенно очевидно, что этот нарушитель не в своем уме. Преследователи Локшина остановились в нерешительности, а он, как будто поддразнивая их своей недосыгаемостью, продолжал петь: «...угождая богу злата, край на край встает волной...». Снова раздался выстрел, но уже с другой вышки в дальнем углу зоны. Дежуривший на ней часовой отличался, видимо, большим служебным рвением, чем первый, и более буквально понимал устав караульной службы. Вероятно, он принадлежал к тому достаточно распространенному типу «наемных солдат», которые не преминут совершить узаконенное убийство, даже когда его моральная преступность очевидна. Врожденную жестокость и нравственную неполноценность тут так легко скрыть за казенной буквой Устава!

Исполнительный солдат стрелял прицельно. Щепкой, отбитой его пулей от столба колючей ограды, нарушителю слегка оцарапало лицо. Было еще не поздно, сделав всего один шаг в сторону, выйти на безопасное место. Но больной вместо этого шагнул по направлению к вышке, с которой только что чуть не был застрелен, и пошел по запретной зоне медленно и картинно, как по оперной сцене. Возможно, он и воображал себя на такой сцене. Заканчивая арию Мефистофеля, певец вложил в нее весь свой талант исполнителя и весь сарказм, которым великий Гёте наделил мудрого и насмешливого врага человеческого рода. «...И людская кровь рекой по клинку течет булата...» Часовой почему-то не стрелял. Видимо, любопытство — не каждый день увидишь такое представление! — превозмогло в нем жажду безнаказанного убийства. И только когда сумасшедший зэк дважды повторил: «Люди гибнут за металл...» — он потянул за спуск. На заключительной фразе своей последней арии, успев произнести только: «Сатана там...» — певец упал ничком в снег, выбросив вперед руку с воображаемой дирижерской палочкой.

И хотя смерть в нашем лагере была явлением самым заурядным, смотреть следы трагедии, разыгравшейся утром,

бегали почти все, кто не оказался ее свидетелем, даже едва передвигавшие ноги доходяги.

Так, сам собой, решился вопрос о лагерном прозвище для певца, способного в другое время и при других обстоятельствах стать одним из лучших вокалистов страны.

Впоследствии ходил слух, что за недостаток политического чутья при подборе музыкальных пьес для вещания на Особый район руководство Магаданской радиостанции получило от политуправления Дальстроя внушение. Осталось, однако, неизвестным, было ли это внушение связано с обстоятельствами, при которых в далеком лагере был застрелен какой-то зэк, нарушивший запретную зону. Вряд ли. Да и какое это имеет значение?

1973

## Эхо Колымы

К 100-летию Георгия Демидова

В учебнике следует, безусловно, оценить *масштаб репрессий* в годы «большого террора». Однако для этого следует четко определить, кого мы имеем в виду, говоря о репрессированных. Думается, было бы правильно, если бы здесь появилась формула, в которую будут включены лишь осужденные к смертной казни и расстрелянные лица. Это поможет уйти от спекуляции на этой теме...

*А.А. Данилов, доктор исторических наук,  
автор новейшей (2008 г.) концепции учебника  
«История России. 1900–1945», предназначенного  
с нового учебного года для всех российских школ*

### 1

«...Пожилой заключенный, стоявший крайним в одном из рядов со странной на таком морозе неподвижностью, покачнулся, сделал слабую попытку ухватиться за плечо впереди стоящего и свалился на утоптаный снег. Упавшего пытались поставить на ноги, но он только елозил по снегу своими деревянными подметками, невнятно мыча, и тяжело свисал с рук поддерживавших его людей.

– Переохлаждение! – уверенно поставил диагноз кто-то из окружающих, – уже третий сегодня...

Теряющего сознание человека положили на снег. Он продолжал негромко мычать, стараясь, видимо, произнести какое-то слово, слабо сучил ногами и руками в драных рукавицах – не то скреб, не то поглаживал плотный снег. Глаза старика были полуоткрыты, и в них светился тоскливый страх. Тот, который только что определил переохлаждение, сделал и прогноз:

– Хана пахану.. Освободился, видать, досрочно...

Категоричность приговора имела под собой достаточные основания. Из пораженных “низкотемпературным шоком” выжива-

ли только очень немногие, хотя большинство из них агонизировало по нескольку дней» («Люди гибнут за металл», 1973).

Если заглянуть в эпиграф к нашей статье — эти умиравшие на морозе не были, с той точки зрения доктора исторических наук, которую правительство собирается сегодня транслировать всем школьникам России, репрессированы. Так — поехали на Колыму самоходкой, почему-то без теплой одежды, стояли зачем-то часами у ворот лагеря, заоченели и померли.

А Леонид Бородин, тоже доктор исторических наук, но сохранивший совесть, один из авторов и редакторов книги «Гулаг. Экономика принудительного труда», рассказывает слушателям «Эха Москвы» о результатах своих изучений документов ГУЛАГа. Один из документов «относится к эпизоду, когда конвой вел полторы сотни заключенных в лагере в Читинской области. Они их вели на строительство дороги. Дело было в ноябре, температура была ниже 20°... И когда они добрались до финальной точки, то из этих 150 человек было обмороженных заключенных 124, 12 человек подвергнуто ампутации, из них 5 остались инвалидами, 1 умер, остальные выведены из строя на длительное время». А незадолго до того, в октябре, в пути на прииск умерло по дороге трое, еще трое — по прибытии на прииск. И каким же путем? Да без всяких репрессий, как готовятся объяснять нашим школьникам, — просто трое убито охраной, а трое умерли от истощения и болезней. А шли «неодетые, почти босиком, по морозу 200 км».

...Хотя бы потому только, что задумано — причем не самодеятельно, а на сегодняшний день санкционируется властью — переучивание новых поколений на живодерский лад, уже поэтому книга сочинений Георгия Демидова оказывается сегодня неожиданно актуальной. Лет десять назад я этого не думала — ведь тогда казалось, что всем уже всё ясно. В то время я стала бы писать, пожалуй, исключительно о литературной стороне творчества замечательного писателя. И вот опять случилось в нашей стране так, что подымается ээк, зажав пачку исписанных листов в руке, чтоб сказать или прохрипеть нам всем:

— Что вы! Опомнитесь! Не забывайте о нашей безвинной гибели! Ведь мы — были!..

## 2

В воспоминаниях дочери Г. Демидова рассказана мрачная история последней репрессии, учиненной над ее отцом, проводшим в

самых страшных колымских лагерях 14 лет (а затем — около пяти лет в ссылке).

Репрессию проводили как раз тем летом 1980 года, когда советская власть принимала в Москве участников Олимпиады, предварительно убрав из столицы всех несознательных и полусознательных, которые могли ей, власти, испортить праздник. Он жил тогда в Калуге. В то лето власть решила, что хотя у гениального инженера Демидова и отняли всю сердцевину творческой жизни, продержав его с тридцати до сорока четырех лет вместо письменного стола с настольной лампой при пятидесяти-шестидесятиградусном морозе на добыче золота (которое нигде в мире больше не добывают в таких условиях — из человеколюбия), но еще ему не всё додано.

И на обыске в его доме следователь, юрист II класса О.Б. Каштанов (помнит ли он, если жив, тот обыск?) объяснял ему при понятых Ямщикове и Якунине, приведенных из соседних домов (не они ли и стукнули на Демидова, заметив, как унтер Пришибеев, что он ночами свет жжет?), что обыск у него проводится

*«с целью отыскания и изъятия материалов и документов, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй...».*

Демидову было предложено «выдать указанные в постановлении на обыск предметы и документы, на что Демидов заявил, что таковых у него не имеется».

Можно, пожалуй, уточнить его заявление. В сочинениях Демидова никто из тех, кому не понаслышке была известна не попадавшая на страницы газет и книг жизнь и смерть зэка на своей советской родине, не нашел бы — как не найдет и сегодня в этом томе — ни грана *ложных измышлений*. Но каждая их строка, несомненно, заслуженно *порочила* государственный и общественный строй страны. Да и могло ли не порочить большевистскую власть всё то, что она творила и сотворила в течение десятилетий с миллионами своих сограждан?

Демидов и не скрывал своей задачи. В отличие от многих и многих, он, прошедший ад, не утратил уверенности в том, что жизнь требует о п р а в д а н и я (об этом — и в стихах прошедшего те же круги С. Виленского: «...И оправданья жизни всей»). И для себя Демидов видел его не в последнюю очередь в том счете, который предъявит повинным в мучениях и гибели людей.

В первой половине 60-х годов, ведя одинокое аскетическое существование, сосредоточенное на одной цели, он не раз к ней возвращается в дружеской переписке с женой и дочерью: «Я не хочу

думать, что я совершил всё, что мог. Я всё еще питаю надежду, что главное, что может еще как-то оправдать прожитую жизнь, я еще сделаю. Мне трудно судить, насколько реальна эта моя надежда, но живу я все-таки этим». Он надеялся, что ему «удастся, хоть частично, рассчитаться со сталинским режимом...». И в другом письме: «Я хочу внести свою лепту в дело заколачивания осинового кола в душу и память сталинского режима и его трижды проклятых приспешников. Я хочу донести будущему на проклятое прошлое, вернее участвовать в написании такого доноса». И хоть знает, что эти приспешники «вряд ли получают при жизни то, что заслужили, меня хоть немного утешает обеспечение им проклятой памяти».

Сегодня появляются охотники вновь водрузить на место, залитое кровью, памятник Дзержинскому — под лукавым лозунгом: «Это — наша история!»

...А те, чья кровь вопиет из расстрельных подвалов под его подножием?.. А сотни тысяч и миллионы забытых, которые, проявляя безмерную силу духа, выкладывались как могли в рабском труде? Это — не наша история? Чья же она тогда?

### 3

Демидов не думал быть писателем. Он был гениальным инженером, — вытолкнутым после 14 лет советской каторги в литературу — и занявшим в ней, как очевидно сегодня, единственное в своем роде место.

Такой способ рождения замечательного писателя — это феномен сугубо наш, советской историей порожденный. В русской литературе появился в середине 50-х годов XX века совершенно новый тип писателя — человек, которого толкает в литературу только и исключительно его материал. Потому что в российской жизни середины 1930-х — первой половины 1950-х годов образовался жизненный материал такой силы, что он сам собой стал порождать писателей — с того момента, разумеется, когда тех, кто остался в живых, после смерти серийного убийцы грандиозного масштаба выпустили из лагерей.

В середине 40-х годов XX века в России начиналась новая поэзия и была погребена (как стихи Заболоцкого 1946 года) на десятилетие. В середине 50-х начиналась новая проза — и осталась скрытой от читателей на тридцать с лишним лет, не войдя в те годы в отечественный литературный процесс.

А проза эта была во многих отношениях новой — передавала вечные чувства и неизбежные отношения людей в неестественных

условиях. Рождались новые яркие писатели, которых не коснулась порча приспособления к печати. Это – фрагменты той литературы, которая *могла бы у нас быть* в XX веке.

Не на страницах литературных журналов, а в переписке эзков шла жаркая дискуссия о путях современной русской литературы. О том, каким именно образом должен входить в нее новый материал. Писателей такой силы, взявшихся за то, мимо чего отечественная литература полностью прошла, но пройти не имела права, было едва ли не четверо – Домбровский, Солженицын, Шаламов и Демидов. (Сегодня стараниями главным образом их сотоварищей – бывших сталинских эзков – мы узнаем и, возможно, будем еще узнавать и совсем новые имена, которым не суждено было увидеть своих свидетельств в печати.) Из всех четверых в самых суровых, несовместимых с жизнью условиях отбывал каторгу Демидов. И именно у него при этом – поразительная вереница светлых личностей, невиданной душевной красоты и силы духа персонажей. Здесь – естественная для Демидова внутренняя полемика с суровым и безапелляционным в своих оценках каторжного люда Шаламовым. Но это – тема большая и особая.

К 1953–1954 годам реальный материал в печатной литературе полностью аннигилирован и заменен квазиматериалом. Литература перестала иметь какое-либо отношение к жизни – вплоть до того момента, когда в нее стали пытаться вступить освободившиеся эзки.

В существовавшей на тот момент литературе не только была заранее предписана идеология любого романа и рассказа, но были хорошо известны, во-первых, неизменные **места действия** прозаических жанров: *завод, колхоз и школа*. Даже *университетские аудитории* в качества такого места были неожиданностью, новацией (что и определило, видимо, в какой-то степени в 1952 году успех первого романа Ю. Трифонова «Студенты»). Особой темой была *война* с не менее жестким регламентом.

Во-вторых, имелся узкий набор **тем**, фабульных поворотов. В-третьих, строго ограниченный **отбор героев** и даже их расположения в поле повествования. Так, в советское время отрицательный герой не мог появиться в центре печатного произведения большого жанра<sup>1</sup> – поскольку по законам большого жанра к центральному герою автоматически привлечено сочувствие читателя. Равным об-

---

<sup>1</sup> Так, *дезертир* мог появиться в советское время в печатном произведении ровно на то время, пока его ведут к стенке. Поэтому появление такого персонажа – впервые спустя тридцатилетие после войны – в центре романа В. Распутина «Живи и помни» (1974) было новацией в литературе тех лет – и отодвигало в сторону чисто художественные вопросы.

разом в центре не мог также оказаться умственно неполноценный персонаж — как в «Шуме и ярости» Фолкнера или «Школе для дураков» Саши Соколова. Тем более полностью выпадающим из советского литературно-печатного контекста — вплоть до ноября 62-го, до появления рассказа Солженицына, было изображение в виде центральной фигуры *заклоченного* и советского концлагеря как места действия.

И, в-четвертых — произошло поразительное в своем роде вымывание предметного, осязаемого описания реальности.

Когда-то русская литература имела вкус к дотошному описанию жизненной конкретики. Здесь многим придет на память прежде всего густота бунинской изобразительности. К. Чуковский писал еще в 1914 году: «Читая Бунина, мы действительно словно видим, слышим, обоняем, осязаем — всеми органами чувств воспринимаем изображаемую им материю». Но к середине 30-х годов литературно-социальные условия уже не давали возможности побунински *въедаться* в какой бы то ни было предмет со всеми его подробностями, осязаемыми и видимыми. Что именно подробно описывал Бунин? Крестьянина, его одежду, его движения, его дом, его утварь, поле, луг, лес. Но к рубежу 20—30-х всё это могло быть описано лишь сквозь призму «колхозной» жизни. А для этого совсем не нужна была живая и дотошная наблюдательность<sup>1</sup>. Напротив — нужен был полет фантазии (как позднее в фильме «Кубанские казаки»), как можно более далекая дистанция от реальности. От той, что описывал, например, в 1933 году Шолохов — но только не на страницах печати, в литературном произведении (например, в «Поднятой целине»), а в письме к Сталину, то есть в тексте, предназначенном одному адресату. «В Грачевском колхозе уполномоченный РК [районного комитета ВКП(б)] при допросе [добываясь ответа — где прячут для своих детей зерно, не добранное до «спущенной» району нереальной цифры] подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрашивать. <...> Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе <...> ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов [те, кто «недосдал» хлеб до нужной цифры], жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали

<sup>1</sup> Подробней об этом в статье «Разведенный пожиже: Бабель в русской литературе советского времени» в нашей книге «Новые работы: 2003—2006» (М., 2007).



на оттаявшую от огня землю». Рассказывая, как один грудной ребенок замерз на руках у матери (никто не мог пустить людей в дом под угрозой выселения), Шолохов вопрошал адресата: «Да разве же можно так издеваться над людьми?»

Таких подробностей, равно как и вообще любой конкретики тогдашней деревенской жизни, уже не найти в литературе советского времени. Победивший материализм не принял слишком тесного приближения литературы к материи как к реальности.

Проза Демидова уже одной конкретностью описания повседневной жизни миллионов была совершенно новой для литературы тех лет – то есть для печатных страниц, до которых при жизни автора его проза так и не дошла. Сама эта конкретность была освежающим глотком *правды* посреди безбрежной печатной иссушающей лжи.

## 4

В. Шаламов писал в одном из писем 1965 года: «Приехав через 20 лет в Москву (1937–1956), я удивился улучшению газетного языка – газеты стали грамотнее, язык культурнее – и резкому ухудшению языка романов и повестей»<sup>1</sup>. Наблюдение, появившееся в результате невольного эксперимента (выпадение наблюдателя на двадцать лет из текущей речевой практики), указало на новые и связанные между собою явления.

Советский язык в течение 1940–1950-х годов стабилизировался. При этом газетные тексты – главное место его презентации – приобрели нормализованный характер. Политическая «иностранная» лексика, потоком вливавшаяся в него в 20-е годы, постепенно распределилась более равномерно, в годы же «борьбы с космополитизмом» (1948–1952) была и вовсе потеснена. Начало «оттепели» несомненно оживило язык газетных статей и особенно очерков.

В литературе же процессы были более сложными. Послевоенное семилетие, когда все «эксперименты» (20-е годы) были давно прерваны, а исключения из правил остались главным образом в 1945–1946 годах («В окопах Сталинграда», «Звезда» и особенно «Спутники»), стали единственным за всё советское время периодом, когда литературная эволюция вообще остановилась – возобладал повторяющийся канон. Практически – за исключением «пейзажа» – язык романов 1946–1952 годов уже не был языком литературы.

---

<sup>1</sup> Шаламов В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. Письма. М., 2005. С. 380 (Письмо Н.И. Столяровой).

«Родина-мать! Вот они обширнейшие поля чернозема. Эти поля когда-то были порезаны полосками... И сколько вражды, сколько слез было пролито на этих полосках. Это ведь мы, первые в мире, свели полоски в обширные поля и навсегда стерли вражду между собой. А разве можно забыть, какие песни распевались? Ведь ты слышишь? Слышишь ты — откуда-то из-за опушки несется победный напев комбайна, и где-то на бугорке урчит трактор. Ведь и трактор, и комбайн тебе прислал рабочий с одной мыслью — украсить твою жизнь... и какие длинные обозы зерна отправил ты в город рабочему...»

«Умирая, сказал:

— Ну, вот тут и умру. На русской земле и русскими руками похороненный, а не как пес, брошенный в канаву.

Его похоронили около опушки. Чебурашкин на березовой коре написал: «Лежит тут великий муж Севастьян Егорович Елкин, житель села Ливня, от рода ему семьдесят шесть лет»» (*Панферов Ф. Борьба за мир. М., 1946. С. 129–130, 137*).

«Новость: Акиндинов покидает нас. Он был вызван в Москву и вернулся с новым назначением: далеко-далеко, в краю, где растет хлопок и запросто зреют цитрусы, ему поручено некое грандиозное предприятие. <...> Ему уже мерещится пуск нового завода, мерещится городок, который он там построит, — в восточном стиле городок, с висячими галереями и крытыми дворами <...>. Всей душой он тянется туда, к задуманному, непочатому.. В то же время — грустно. Расставаться грустно. Торжественный и растроганный, обходит он цеха. Эта прекрасная сила созидалась при нем, под ревнивым и требовательным его руководством. Из каждого уголка на Акиндинова глядят его счастливые и трудные годы» (*Панова В. Времена года: Из летописей города Энска // Ленинградский альманах. Л., 1953. С. 208*).

«Ну, признайтесь, любопытный случай? То-то, а для меня, как для партийного руководителя, еще и поучительный. Что же еще остается добавить? Женились, для детей его она примерной матерью стала, но на производственных совещаниях режутся по-прежнему. Только теперь Егор учится понемногу признавать свои ошибки» (*Полевой Б. Любовь // Рассказы 1953 года. М., 1954. С. 399*).

Писатели-ээки, остававшиеся в стороне от этого многолетнего процесса, искали язык для выражения своего не существовавшего в литературе опыта вне поля современной печатной словесности.

Во всяком случае, у них не только сохранилось, но и обострилось чувство языка — безошибочное чутье на его *советскость* (кото-

рую во все их годы в ГУЛАГе репрезентировала только враждебная самому их существованию речь охранников всех чинов). Так, В. Шаламов в 1965 году в одном из писем Солженицыну, говоря о «подхалимаже», свойственном Алдан-Семенову, пишет: «При полном отсутствии таланта и вкуса это качество позволило “создать” (как выражаются с некоторых пор), “Барельеф на скале”»<sup>1</sup>.

Демидовым остранены, поставлены под сомнение советские языковые – совокупно с идеологическими – новшества: «“Лекарским помощником” – архаическое словосочетание, заменившее в первые годы советской власти чем-то неуютное слово “фельдшер”, – в нашем лагере работал старый, опытный врач из Ленинграда, арестованный еще при Ежове» («Люди гибнут за металл»).

Действительно, *фельдшер* попал в опалу одновременно с *сестрицей милосердия* – милосердия уже не требовалось. Почему эти слова оказались «неуютными», гадать не приходится (и для Демидова эта неопределенность – конечно, лишь художественный ход). Шло активное расподобление с царской армией – недавнего времени Первой мировой войны. И все добрые качества, проявленные в те годы, в том числе профессиональная добросовестность, абсурдным образом были поставлены под сомнение – вместе с самой ситуаций войны.

Демидов ставит под сомнение и привычные советские ярлыки, применяющиеся в описании поведения обладателя несравненного тенора в лагере для военнопленных, при этом не заменяя их своими, – в этом новизна и сила авторской позиции. «Несложное дознание показало, что это было поведение беспринципного приспособленца, для которого собственная шкура дороже национального и воинского достоинства» – бывший студент консерватории, которому прочили «будущность “советского Карузо”» использовал «свой талант и образование для развлечения немецкой охраны лагеря военнопленных», получая за это «хлеб, сало и даже шнапс». Крестьянское происхождение певца «подтверждалось его приспособленностью к физическому труду, примитивным условиям жизни и той простотой взгляда на вещи, которая почти не встречается у интеллигентов, особенно потомственных. Отсюда же, несомненно, и готовность, с которой Локшин пользовался своим голосом для увеличения шансов выжить». Так поставлен под сомнение привычный штамп – «беспринципный приспособленец». Демидов сурово напоминает нам – не торопитесь с оценками; всё сложнее.

<sup>1</sup> Шаламов В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. Письма. М., 2005. С. 303.

Напомним процитированное письмо Шаламова — «хочу донести будущему на *проклятое прошлое*». Он с юности знал этот штамп, который власть применяла только и исключительно к своей предшественнице — российской монархии<sup>1</sup>. И относя его теперь к сталинскому времени — с его концлагерями, в сравнении с которыми каторга эпохи последнего российского монарха — это санаторий, Демидов возвращал лживому советскому штампу реальное значение.

## 5

Сам подход к персонажу у Георгия Демидова — иной, чем в устоявшейся вокруг литературе, где принято было, под влиянием «учебы у классиков», *дорисовывать* «характеры», имея в виду среди прочего, что «в человеке всё должно быть прекрасно...».

Демидов фиксирует черты персонажа, не состыкующиеся с каким-либо его талантом и даже прямо противоречащие ему — если исходить из литературных стереотипов. «...Локшин как личность был, если хотите, сер. Притом отсутствием не положительных качеств, а именно отрицательных. Во всем, что не касалось искусства петь, это был рядовой, здравомыслящий, работающий и в то же время “себе на уме”, штымп» («Люди гибнут за металл»). Но именно талант, который владеет незаметно для постороннего глаза *душою* «штымпа», побеждает ослабленное болезнью *тело* — вместе с инстинктом самосохранения. И тогда вдруг разом, в предсмертном бредовом состоянии, «серая» личность становится на короткое время чистой концентрацией таланта и оперными звуками дает страшное осмысление простирающейся вокруг далекой от человеческого бытия жизни — таков высокий конец этого рассказа.

Демидов не гнушается изображать оттенки простейших человеческих чувств — нарядчик, например, любил слушать, как пел Локшин «про жадного мироеда из горного аула. Этот мироед обирал и эксплуатировал своих односельчан, пока те его не раскулачили и не отправили на дальний север “пилить дрова”. Вряд ли нарядчик, который обычно заказывал эту песню, любил ее за идеологи-

---

<sup>1</sup> Ср. язык обычной «критической» статьи: «В повести “Под старым вязом” писатель А. Митрофанов решил рассказать юным читателям о безрадостной жизни нашего народа под гнётом царизма, сопоставить *проклятое прошлое* с нашей советской действительностью» (*Карabutенко И., Викторов Т.* Когда потеряна точка опоры... // Октябрь, 1950, № 1. С. 173. — *Курсив наш*).

ческую направленность. Но он долго жил на Кавказе и, пока не загремел сюда, в довольно большом масштабе спекулировал фруктами. Лагерное прозвище нарядчика было поэтому «Почем-Кишмиш». Песня с кавказским акцентом напоминала Почем-Кишмишу не родной, но милый его сердцу край».

Лишь один писатель, возникший в те же годы, но вышедший на журнальные страницы, близок, пожалуй, к Демидову этим мягким снисхождением к человеческой мелкости, может быть даже ничтожеству (если только оно не несет в себе гибель ему подобных) — это Фазиль Искандер.

Но больней всего Демидову зрелище угасания в нечеловеческих условиях яркого интеллекта. И мы воочию видим, каких сил стоило ему самому, ежечасно наблюдавшему торжествующее зло, сохранить интеллект и дух для будущего труда.

«Главное оружие, имеющееся в распоряжении зла помимо физической силы, — писал Бродский, — это его способность поглощать наше воображение. Как предмет размышлений, зло гораздо увлекательней, чем, например, добро. Другими словами, зло — воплощенное и невоплощенное — обладает колоссальной способностью гипнотизировать ваше сознание; особенно — вашу способность оперировать абстрактными категориями»<sup>1</sup>.

Сам Демидов признается в одном из писем с болью: «Писательство в том жанре, который я выбрал, напрягает не столько ум, сколько сердце. Я часто не могу уснуть всю ночь. Возвращается пережитое. Я не обладаю мудростью Пимена-летописца и его старческой бесстрастностью. Минувшее для меня отнюдь не безмолвно и спокойно...»

## 6

И вновь вернемся к упомянутому в эпиграфе сегодняшнему историку — посмертному оппоненту Демидова, о нем, скорей всего, и не ведающему, но вступившему, однако, с ним в схватку за души молодых наших сограждан.

«...“Триумф демократии” уживался с массовыми репрессиями 1935–1938 гг., которые были связаны с особенностями политической культуры партийно-государственной элиты 1917–1930-х гг.»

---

<sup>1</sup> Бродский И. Глазами частицы [предисловие к французскому изданию] // Орлов Ю. Опасные мысли: мемуары из русской жизни. М., 2008. С. 11–12.

В чем же культура-то эта состояла? А вот в следующей же фразе и разъяснено: «В основе ужесточения давления на целые группы населения в середине 30-х гг. лежало представление большевистских руководителей о допустимости превентивной (упреждающей, устрашающей, призванной парализовать волю к сопротивлению) репрессии. Превентивная репрессия рассматривалась как средство подавления не только отдельных личностей, но и целых социальных групп, чьи интересы были чужды принципам советской власти и могли оказать ей активное противодействие».

У дедушки Крылова про эту *политическую культуру* (красивое, ободряющее выражение) было сказано давно и много короче: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»

Результат же «превентивной репрессии» — заметим: тоже красиво и деликатно звучит (не то что, скажем, «зверства» или «кровавая мясорубка» — что напрашивается при чтении Демидова) — выглядит уже не только красиво, а даже пафосно: «В 1930-е годы советскому народу удалось совершить подлинный исторический подвиг. Страна осуществила мощный рывок в развитии, качественно преобразилась ее социально-экономический и культурный облик, изменилось место в мире... Сочетая принуждение и моральные стимулы, используя страх и энтузиазм, созданная вертикаль управления...» (вот она когда завелась, спасительная вертикаль!...) «...в целом решила те задачи, которые встали перед страной в конце 20-х годов».

А Сталин — что ж: «...Важно показать (подросткам, правнукам закопанных. — М. Ч.), что Сталин действовал (как управленец) вполне рационально — как охранитель системы, как последовательный сторонник преобразования страны в индустриальное государство...»

«...“Большой террор” прекратился сразу, как только Сталину стало ясно, что монолитная модель общества реализована. Это произошло к лету 1938 года».

Почему-то, правда, это прекращение осталось не замеченным ни Демидовым, ни его героями — они продолжали вкалывать и умирать в лагерях. Ну, это уж факт их злосчастных биографий. Вот и рисует писатель послевоенные картинки отстраивания новых и новых лагерей — «каркасно-засыпного» типа, когда между горбылями обшивки «пустота засыпается опилками», а стены, «чтоб из них не выдуло опилки ветром, густо обмазываются с обеих сторон глиной». Вот вам и монолит преобразованной в индустриальное государство страны. «Но вот что озадачило строителей. В подслеповатые оконца

[этих барачков] им было приказано встраивать толстенные решетки, а на двери навешивать снаружи тяжелые амбарные запоры. Это было бы смешно — стену такого барака можно было разломать в любом месте с помощью обыкновенного кола или кочерги, — если бы люди не понимали, что назначение этих решеток и запоров вовсе не в том, чтобы укрепить барак. Оно заключалось, несомненно, в угнетающем действии на его будущих жителей. <...>

Но самое тягостное впечатление произвели на строителей нового лагеря невысокие, но довольно широкие отверстия, которые плотникам велено было проделать на уровне пола в стенах “скворечников” — будок для часовых, поднятых на толстых ногах-раскоряках. Отверстия были обращены внутрь зоны и закрывались откидывающимися на петлях деревянными щитами. Не сразу догадались, что это амбразуры для станковых пулеметов. Если такие пулеметы установить только на двух угловых вышках, то в лагере не останется ни одного угла, в котором можно было бы укрыться от их огня. Лагерные бараки не представляли от пуль почти никакой защиты».

Все это делалось, конечно, для блага страны. Для выстраивания сегодняшней монолитной модели общества автором-историком подготовлено такое объяснение прошлых событий: «С приходом к руководству НКВД Л.П. Берия, пусть и не в прежних масштабах, террор был поставлен на службу задачам индустриального развития: по разнарядкам НКВД обеспечивались плановые аресты инженеров и специалистов, *необходимых* (подчеркнем это слово — надо же со школьных лет понимать, что такое государственная необходимость! — М.Ч.) для решения оборонных и иных задач на Дальнем Востоке, в Сибири. Террор превращался в прагматичный инструмент решения народнохозяйственных задач. Оправдания и объяснения этому, конечно, нет. (Это — не более, чем отговорка: ясно видим и оправдания, и объяснения. — М.Ч.). Однако репрессии выполняли и функцию устрашения для тех, кто нерадиво работал».

Выделенное нами «однако» здесь самое значимое, пожалуй, слово. В томе Демидова едва ли не на каждой странице видит читатель, как поступают в Стране Советов с теми гражданами, кто проявляет нерадивость на ветру при пятидесятиградусном морозе в полураздетом виде.

Вы поняли теперь, зачем и почему они все умерли, герои Демидова — и редкостной красоты и силы тенор, и оперное сопрано, и прекрасный художник, и народные артисты, и ученые, зачем был загублен талант изобретателя Демидова? Чтобы решать задачи и совершать мощный рывок. Это всё сообщается нам сегодня в феде-

ральном масштабе, чтоб они, закопанные без гробов с биркой на большом пальце ноги, могли спать в своей вечной мерзлоте спокойно.

Приходится констатировать: вбить спасительный осиновый кол — единственное, что, по народным поверьям, гарантирует от восставания упря из могилы, — пока не удалось.

Но автора сегодняшней концепции российской истории XX века для школьников, как и его единомышленников, я присудила бы к прочтению (под страхом тюрьмы!) от первой до последней страницы тома сочинений Георгия Демидова. Если же и это чтение не поможет ни ему, ни миллионам сограждан, заново поверившим в мудрость Сталина и правильность советской власти, — тогда уж и не знаю. Придется, пожалуй, признать, что болезнь неизлечима.

\* \* \*

Но все же не хочется заканчивать разговор о Демидове мрачным прогнозом. Сам он, мнится мне, вряд ли бы это одобрил. Сантиментов у Демидова не найти; он умел жестко писать даже о красотах природы: «Выше — чистое бледно-розовое небо через неуловимые цветовые переходы постепенно становилось светло-синим. Только здесь, в этих неприютных северных краях, оно бывает таким нежным, таким чистым и таким равнодушным к человеку».

В той литературе, в которую он не вступил в 60-е годы — годы его самого напряженного, пожалуй, творчества, — философия и не ночевала. Самое большее, что можно было в ней встретить, — тривиальное философствование. И любое, самое скромное внимание какого-либо автора тех лет к проблемам бытия заставляло критиков с ходу объявлять сочинение «философским».

Но те мысли «о противостоянии живой и мертвой материи», которые охватывают героя «Дубаря», только что похоронившего в мерзлой земле ребенка, не прожившего в лагере и нескольких часов, — они прямым образом прикосновенны к высокой философии. Крест, сооруженный «убежденным атеистом» из подручных средств над могилой безымянного и не принадлежавшего ни к какой религии ребенка, не был «логически» оправдан и «не был также просто сентиментальной данью традиции, знакомой с далекого детства». И «милосердие смерти в этом случае было слишком очевидно», чтобы проливать слезы. А между тем герой рассказа охвачен тем состоянием «возвышенного и умиленного экстаза, которое знакомо по-настоящему только искренне верующим людям». Он пытается



определить это «высокое чувство» — и находит, что ближе всего оно, заставшее его посреди снегов, недалеко от «замерзшего моря, до самого горизонта покрытого торосами», — «к чувству благодарности».

...Нам ли, русским читателям, не вспомнить после этих слов строки Пастернака?..

...И белому мертвому царству,  
Бросавшему мысленно в дрожь,  
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,  
Ты больше, чем просят, даешь».

И с Варламом Шаламовым почти в том же самом году, когда был написан «Дубарь», Георгия Демидова разделила — вполне в русском духе! — в конечном счете разнота философская — при общем жизненном опыте, что для нас, их читателей и почитателей, важно и поучительно.

Демидов писал Шаламову, что тот, видно, считает его «сюсюкающим слюнтяем, не способным понять, что не абстрактные моральные категории движут миром, а реальные, физические в основе, если хотите, факторы». Не потому ли, писал он, что в одном письме «я, кажется, употребил фразу, смысл которой в том, что хочется верить в конечную победу Правды. Я имел в виду не “Правду-справедливость”, а “Правду-истину”, т. е. неизбежное восстановление точной информации, несмотря на все попытки дезавуировать ее с помощью самых могущественных средств».

Он сделал для ее восстановления всё, что мог.

Будем вслед за ним по мере сил своих этому служить.

*Мариэтта Чудакова*

Краткий словарь  
некоторых используемых в книге  
малоупотребительных слов,  
лагерных выражений и аббревиатур

**Амок** – немотивированный приступ слепого агрессивного возбуждения; психическое заболевание, проявляющееся в виде приступов неконтролируемого бешенства. Больной начинает метаться, бессмысленно уничтожая всё вокруг.

**Архив-три** – архив № 3. Архив – список заключенных, выбывших из лагеря: архив-один – список законно освободившихся, архив-два – список беглецов, архив-три – реестр лиц, умерших в заключении.

**АСА** – антисоветская агитация.

**Бандерша** – содержательница публичного дома.

**Барыга** – спекулянт, перекупщик.

**Бесконвойник** – заключенный, выходящий из лагеря на работу по пропуску.

**Бирка** – дощечка, которая привязывается к большому пальцу ноги умершего заключенного.

**Бобер** – заключенный с богатыми пожитками, объект для вымогательства и грабежа.

**Бугор** – бригадир.

**БУР** – барак усиленного режима.

**Бура** – карточная игра, распространенная среди блатных.

**Бурки** – самодельная ватная обувь с подошвами из старых шин.

**Вольняшка, вольник** – человек, работающий по вольному найму.

**ВОХР** – сокращение от «вооруженная охрана»; **вохровец** – вооруженный охранник.

**Гарантийка, гарантпаек** – основной дневной рацион хлеба, выдаваемый заключенным; **сидеть на гарантийке** – получать питание без всяких добавок.

**ГУЛАГ** – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения – подразделение НКВД (МВД) СССР, осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ).

**Дегтяр** – пулемет Дегтярева.

**Диамат** – диалектический материализм, обязательная дисциплина в советских вузах.

**Дикон** – десять копеек.

**Довод** – вывод на работу в штрафном порядке опоздавших или не явившихся на развод. Довод все время находится под конвоем, а после работы отводится в штрафной изолятор.

**Домушник** – вор, занимающийся домашними кражами.

**Доходить** – терять силы от истощения и непосильной работы.

**Дубарь** – покойник, труп; **врезать дуба** – умереть.

**Дудорга** – винтовка.

**Законник** – вор в законе.

**Запретка** – запретная зона.

**Игра на рояле** – снятие отпечатков пальцев.

**ИТЛ** – исправительно-трудовой лагерь.

**Кавэчиха** – начальница культурно-воспитательной части (**КВЧ**).

**Кантоваться** – увиливать от тяжелой работы; **кант** – время, которое проводят не работая.

**Карзубый** – кличка, которую дают обычно людям с недостатком зубов.

**Клифт** – пиджак.

**Колеса** – обувь: обычно сапоги.

**Командировка** – небольшое лагерное подразделение.

**Кондей** – карцер.

**Контрик** – осужденный за контрреволюционную деятельность (**КРД**).

**Косить** – отлынивать от работы, обманывать, выкручиваться.

**КР** – контрреволюционер.

**КРА** – контрреволюционная агитация.

**СВЭ** – социально-вредный элемент.

**Краснушка, краснуха** – товарный вагон для перевозки заключенных.

**КРД** – контрреволюционная деятельность.

**Ксива** – письмо, записка.

**КТР** – каторжные работы, осужденный на каторжные работы.

**Кунгас** – деревянное рыболовное или грузовое парусно-гребное судно, распространенное на Дальнем Востоке.

**Кухраб** – кухонный работник.

**Лекном** – сокращение от «лекарский помощник», обычно заключенный, исполняющий обязанности врача.

**Лендлиз (lendlease)** – поставка союзниками (в основном США) продовольствия и других товаров в СССР во время Второй мировой войны.

**Литерники** – заключенные, осужденные по литературным статьям.

**Литерные статьи** – статьи, обозначавшиеся аббревиатурой, напр.: **АСА** (антисоветская агитация), **КРД** (контрреволюционная деятельность), **КРА** (контрреволюционная агитация), **КРТД** (контрреволюционная террористическая деятельность), **ПШД** (подозрение в шпионской деятельности), **СВЭ** – социально-вредный элемент.

**Мазила** – художник.

**Малинница** – содержательница воровского притона.

**Мамка** – заключенная, находящаяся на последней стадии беременности или кормящая.

**Маруха** – молодая любовница из преступной среды.

**Мастырщик** – членовредитель.

**Начлаг** – начальник лагеря.

**Начреж** – начальник по режиму.

**ОЛП** – отдельный лагерный пункт.

**ОСО** – Особое совещание, внесудебный орган. Обладал правом заочного вынесения приговора, а в некоторые периоды и правом расстрела.

**Отказчик** – заключенный, отказывающийся от работы.

**Отб́рва** – шлюха, проститутка.

**Пайка** – паек, суточная порция хлеба.

**Панькаться** – возиться, выказывать знаки уважения.

**Подзайти** – попасться.

**Придурок** – заключенный, выполняющий легкую работу.

- Припухнуть** – попасть в карцер.
- Прокаженный** – мелкий жулик.
- Прохорья (прóхори)** – сапоги.
- Птюха** – пайка хлеба.
- Пульман** – миска, применяемая для кухонных нужд.
- Развод** – выпуск за ворота зоны подконвойных бригад заключенных.
- Рогатик** – безотказный работяга.
- Руль** – нос.
- Понт** – напускной вид, притворство. *С понтом* – прикидываясь, для отвода глаз.
- Саморуб** – заключенный, отрубивший себе пальцы рук, чтобы не работать.
- СВИТЛ** – северо-восточные исправительно-трудовые лагеря.
- Скокарь** – вор, совершающий квартирные кражи со взломом.
- Скорбут** – цинга, заболевание, вызванное недостатком витамина С.
- СОЭ** – социально опасный элемент.
- Стукач** – доносчик.
- Сявка** – вор-подросток.
- Темнила** – обманщик, лжец.
- Тискать** – рассказывать нечто фантастическое, *тискать романа* – пересказывать романы, повести и пр., *тискáла* – рассказчик, развлекающий воров историями.
- Тошиловка** – столовая.
- Трехсотка** – 300 г хлеба, штрафная пайка.
- Тусоваться** – волноваться, беспокоиться.
- Туфта** – халтура, обман начальства.
- Урка** – преступник-рецидивист.
- Филон** – симулянт, лодырь.
- Фитиль** – прозвище, которым обычно награждают за худобу.
- Фраер** – человек, не принадлежащий к воровскому сообществу.
- Фрей** – то же что фраер.
- Хэвра** – сплоченная группа воров.
- Хитрый домик** – контора оперуполномоченного.
- ЧСВН** – член семьи врага народа.

**ЧТЗ** – (сокращение от «Челябинский тракторный завод»), или **тракторá** – лагерная обувь, на подошвах из старых автомобильных покрышек.

**Чугрей** – глупый, недалекий человек; ничтожество.

**Чуни** – веревочные лапти к ватным чулкам, выдаваемые вместо валенок.

**Шакалить** – попрошайничать.

**Шестерить** – прислуживать, подхалимничать, **шестерка** – прислужник.

**ШИЗО** – штрафной изолятор.

**Ширмачить** – воровать из карманов.

**Шмара, маруся** – лагерная проститутка.

**Шмон** – обыск.

**Шмутки, шмотки** – личные вещи.

**Штымп** – то же, что и фраер, но с оттенком презрительности; обычно – малоразвитый, не бывший в переделках человек.

**Щипач** – вор-карманник.

**Этап** – перемещение заключенных под конвоем.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Валентина Демидова. Воспоминания об отце* ..... 5

### ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА

*Вместо предисловия* ..... 15

Дубарь ..... 17

Амок ..... 45

Интеллектуал (Признак Коши) ..... 101

Без бирки ..... 115

Начальник ..... 177

Дуэт ..... 224

Художник Бацилла и его шедевр ..... 258

Классики литературы и лагерная самодеятельность ..... 283

Люди гибнут за металл ..... 311

*Мариэтта Чудакова. Эхо Колымы*  
(К 100-летию Георгия Демидова) ..... 339

Краткий словарь  
некоторых используемых в книге  
малоупотребительных слов,  
лагерных выражений и аббревиатур ..... 354

Георгий Демидов

Чудная планета

Рассказы.

Редактор *Т.И. Балаховская*  
Художник *Р.М. Сайфулин*  
Корректор *М.М. Уразова*  
Верстка *Л.А. Шелковой*

Подписано в печать 5.11.2008. Формат 60x90<sup>1/16</sup>  
Бумага офсетная. Гарнитура «Newton». Печ. л. 22,5  
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 3004

Издательство «Возвращение»  
Тел.: 196-02-26. Факс: 455-30-11  
E-mail: [vozvrashchenie@mtu-net.ru](mailto:vozvrashchenie@mtu-net.ru)

ISBN 978-5-7157-0219-7



9 785715 702197 >



ia